

НОВЫЙ Журнал

150

THE NEW
REVIEW

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Сорок второй год издания

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ И Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. MARCH 1983

Quarterly No. 150
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price \$24 — for one year
Publisher New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Ю. Кашкар</i> — Исаакий и Евдокия	5
<i>Д. Бобышев</i> — Стихи	47
<i>В. Писарев</i> — Кизилковое дерево	51
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	77
<i>М. Дубинин</i> — Над собою смеетесь!..	79
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	88
<i>Ю. Иваск</i> — Похвала российской поэзии	90
<i>М. Волкова</i> — Стихи	105
<i>В. Крейд</i> — Георгий Иванов	106
<i>Б. Нарциссов</i> — Две поэтессы Зарубежья	115
<i>И. Иваск</i> — Стихи	129

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

<i>Л. Иванова</i> — Воспоминания о Вяч. Иванове	130
Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым	159
<i>С. Крыжицкий</i> — Разговоры с Б. К. Зайцевым	191
Письма Б. Зайцева И. и В. Буниным	202
<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь	225

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>А. Солженицын</i> — Как коммунизм калечит народы	249
<i>А. Федосеев</i> — Народ, вожди, элита, демократия	262
<i>Д. Скалон</i> — А. Ф. Лосев	282

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Письма в редакцию	293
-------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

- Т. Фесенко* — Библиография Б. Зайцева . Составитель Ренэ Герра 295
Ю. Иваск — Три юбилея Андрея Седых. Альманах301
Е. Валин — В. С. Варшавский. "Родословная большевизма"303

ИСААКИЙ И ЕВДОКИЯ

*Се мы оставихом вся
И вслед тебе идехом.*

В июне солнце начало застывать. Евдокия справила годовщину по мужу и ушла от свекора со свекровью в Торóпец. Городок был малюсенький, над озером, за тыном, при посадке и женском, с деревянной церковкой монастыре.

Была Евдокия прежде сирота, жившая на дворе у купеческой вдовы, — смешливая, босоногая, толковая, услужливая. С годами вытянулась, похорошела, а все же росточком так и осталась мала. В светлые летние вечера, когда все дела переделаны, любила сидеть одна на лавочке перед крепким купеческим домом, смотреть на дорогу, как она вилась под гору, пропадала там, а потом, видимая среди гречишного поля, окончательно пряталась в лесу. Иногда проходили мимо странники, подсаживались. Евдокия выносила им теплого хлеба, холодного молока в крынке, слушала.

Ей будто открывалось что-то в странничестве, в дороге, — мечта и дрёма — добрести до Алтынного царства, до отшельника, сидящего в келье близ Египта. А он чтобы в это самое время размышлял о погибели земли, и как ее спасти. И Евдокия сказала бы отшельнику: "Хорошо бы изжить скорбь людскую. Жития немятежного достигнуть!". Тогда отшельник бы ей ответил: "Вот, по повелению Божию сотворю чудеса, в ответ на ропот людской и твое далекое похождение". И точно бы, сотворил.

Придremывался Евдокии и самый Египет, и Дева Мария, спасающаяся с Младенцем на ослиати, среди кудрявых раски-

дистых дубов, голубых уютных холмов. Тут же, рядом, бредет целомудренный Иосиф-Плотник, а вокруг — пещеры, пещеры, там другие пустыnnики ходят друг к другу в гости, толкуют о смиренномудрии, о плаче сердца, вспоминают, как некогда продавали Прекрасного Иосифа по зависти людской в те же египетские пределы.

Подъехал как-то ввечеру к дому сын вдовы, Иван, а прозвище ему было Чернь. Вернулся он из Киева, с удачного торгога, на новой белой лошади и с подарками. Не был дома мало что с год и удивился, как похорошела Евдокия. Подарил ей тут же, у ворот, заморское кружевце и сердоликовые бусы. Были они будто гроздьа запекшейся крови, или темной рябины. А потом видела его Евдокия на озере. Над водой вился туман. Месяц светил, а закат дотлевал. Купал Иван свою белую лошадь, нагой. Волос у него был черный, воронова крыла, с синью, глаза же неожиданно голубые.

Купеческая вдова, женщина хотя и добрая, но крикливая, решила, что самое теперь время выдать Евдокию замуж. И отдала ее за лесника из дальней сторожки за озером, — он им мед носил, дичину, а то и меха. Лесник был старше Евдокии лет на двадцать, с лихой бородой, по вере совсем язычник, а по душевной склонности пьяница. Варил медовуху и сыту и был всякий день пьян. Лесника задавил прошлой весной медведь. А летом тот же медведь разрушил пропитание Евдокии — пчельник. Пчелы разлетелись по дуплам, да высоко, — не собрать. В августе домик ее лесной сожгло молнией. Перун, наверное, мстил.

Пришлось Евдокии идти к свекору со свекровью, в слободу. Добрых людей в слободе не жило никого, одни князеы псари-озорники, еще две старухи-ведуньи мужского обличья, еще черные клобуки к местным своим женам приходили зимовать с юга, ну и Евдокия с мужниными родителями. Свекровь была ничего, тиха. А свекор — лют. Бил старуху, бил молодую и за косу таскал, у черных клобучих кур воровал, был ими за это бит и оттого много раз озлоблен. Приходил к Евдокии на огороды, когда она полола, открывал свой старый срам на соблазн, принуждал к нехорошему. Евдокии жизнь такая показалась невтерпез, оттого и ушла. Свекровь Евдокию на прощанье пожалела,

дала хлеба, дала шерстяную ветошку на будущие зимы, — “Нет у ней ничего своего, вся она тут”.

Евдокия шла в Торопец вдоль озера, по теплым травам, босоногая. Птицы в высоте пели на разные голоса. Где-то под ногами перебрашивались перепела. Над торопешкими башнями и колоколенками вились стрижи. На заливных лугах уже наметали копны. И колокола гудели.

Она постучала в купеческие ворота раз, постучала другой, — никто не отозвался. Толкнула калитку — не заперта. Вошла во двор, он зарос лебедой и крапивой. Бочки стояли без воды, рассохшиеся, а какие и погнили. Конура собачья уцелела, а пса Разбоя там не было, — валялась кучка желтых старых костей от его прежнего пропитания.

Купеческая вдова лежала на высоких перинах совсем седая. Лицо млажавое, глаза же открыты, а не видят ничего. Евдокия подошла, встала на колени, поцеловала руку.

— Вот и ты, Евдокия, пришла, Слава Богу, — сказала вдова. Губы шевелились, а голоса почти не слышно.

— Такое уж течение воздуха было, что я мимо не прошла, — ответила Евдокия и почему-то заплакала.

— Я тебя ждала, Евдокия, — сказала тихо вдова. — Мне пришло время умирать, а я одна... Ты меня, пожалуйста, за все прости.

— Бог простит, а я никакого зла не держу.

Вдова благодарно сжала руку Евдокии, завздыхала.

— Поживете еще, Олексевна, порадуетесь, — сказала Евдокия. — Воротится Ваня с товаром, с рассказами. А то приведет молодую жену из Киевских пределов, богатую, красивую, всем нам на радость.

— Не воротится больше Ваня, — заплакала вдова. — Он теперь в Киеве, в пещерах постригся, посхимился. И имя взял себе не мирское — Исаакий. Весь товар, какой с ним был, в Киеве на Торгу даром роздал, а мне велел его забыть. Купцы мне об этом сказали в церкви, на Троицу. Воротились они из Киева, а я Ваню ждала с ними. “Ты, — говорят, — Олексевна, будь отныне спокойна и Ваню своего обратно не жди. Нет больше Вани, а есть мних Исаакий”. Я при этих словах там же, в церкви, среди березового духа, пошла кружиться зря. И упала

без чувств, — сказали потом, — под Богородичной иконой. Нас ведь с Ваней только двое на белом свете и было. Еще, правда, кот с нами жил, да дворовый пес Разбой, — а я его не любила никогда, — он теперь и сбежал, некормленный.

Кот сидел тут же, в углу, мрачный, худой, насупившийся. Евдокия только теперь его заметила — он мяукнул на знакомый человеческий дух. — А как же я? — подумала Евдокия. Только вслух не сказала. Вслух же ответила: "А до Бога везде недалеко, Олексевна. И здесь. И в Киеве. А там уж все вместе мы будем, куда денемся. Вот о коте я не скажу, потому что не знаю".

Евдокия осталась в вдовы. Ходила за нею как за маленькой. Полы в доме все чисто вымыла, а воду в бочки слила, чтобы вдову вместе с грязной водой не выплеснуть за ворота. Двор очистила от лебеды и крапивы, кота кормила, и он к ней опять привык, даже иногда терся у ног. Никто к ним на купеческий двор не хаживал — кругом почти что язычники жили, а ближний поп Михей бывал много по хозяйству занят, иногда и пьян.

Вдова же день ото дня все более уходила от житейских печалей, желтела лицом и часто впадала в забытье. Раз ввечеру дверь отворилась и пришел к ним колдун, волхв — незванный, непрощенный, страшный. Был он в овчине, на седой голове высокий меховой колпак, а вниз от пояса весь обвешан черными коровьими хвостами. Подошел прямо к одру, склонился над купеческой вдовой; что он с ней делал, Евдокия от страха не видела. А разглядела вдруг мелких зеленых лягушек: они прыгали с кровати на пол, потом на подоконник, а там — за окно и пропадали из виду. Много их было, этих лягушек, сущее шествие. Кот ошетинился, зафырчал. Но тут все и кончилось.

Колдун отошел от постели, сел за стол, потребовал закуски и водки. Молча ел, молча пил, и напоследок сказал Евдокии: — Хозяйку твою я в небесные мытарства отправил. Может, и доберется до нового Бога. А наши боги ей больше ни в чем не помеха. Ты же, милая, отсель собирайся сама в путь. Ты нам всем тут чужая. А мне, смотри, нигде не попадайся.

И ушел, кошун халдейский, даже двери в петлях не скрипнули.

Купеческая вдова, и вправду, умерла. И с минуты на минуту, а там уже часы пошли, пока Евдокия грела воду, чтобы

покойницу помыть и собрать в гроб, лицо ее приобретало выражение строгое и торжественное, углы губ опустились, и залегла там нелегкая складка — растерянность, и даже страх. Тело, расставшись с благодатной теплотой души, стало быстро окостеневать, и Евдокия спешила одеть его в лучшее, в чем помнила Олексевну в прежние праздничные дни.

Пришел поп Михай с кадилом и дьячком. К вечеру отпели и в церкви. А ночью похоронили у Михайлы Архангела, рядом с осевшим холмиком мужниной могилы.

Вернулась Евдокия в пустой дом одна. Все полы, лавки, столы выскребла, вымыла, постель покойницы убрала. Сварила киселя, пареной капусты, приготовила тесто на блины, а к утру прикорнула, сидя на лавке.

День пришел тихий, хрустальный. Слетал жухлый лист. Дело двигалось к осени. Евдокия вышла на крыльцо. Та же дорога за забором. Высоко в небе летела журавлиная стая, не спеша и курлыча. Кот обиженно терся около Евдокии. Она его накормила самым вкусным, что было — помянуть покойницу, — а себе сказала: "Осень нынче будет хорошая. Пора и тебе, Евдокия, собираться в дорогу".

Пришли поп с дьячком и дьячихой, сосед бобыль. Попели, помолились, съели блинков и киселя, выпили меду. Дом, все при нем, и кота впридачу Евдокия попросила дьячка взять на попечение. Себе же выговорила, если вернется одна, сараюшко, почти омет соломенный, в дальнем углу купеческого двора.

Последнюю ночь в пустом доме Евдокия спала беспокойно. Наверное, кикиморы приходили над нею потешаться, — ленивые, одноглазые, насмешницы, жившие всегда на задах. Евдокия просыпалась и слышала их праздный смех под веником. А домовый ходил вокруг дома, двора, тяжело вздыхал, как сирота. Кот убежал куда-то, без него было легче. Евдокия снова забывалась сном; видела разное, путанное, а больше — Ваню на белом коне среди алой брусники, и как ползут к нему со всех сторон гады; брусники уже под ними нигде не видно, одна чернота. И будто слышала, сказано ей было: "Пойди, раба, от гордости его предупреди". Во сне собирала Евдокия свой мешочек, спешила. Утром проснулась, опять пришло на ум: "А как же я?". И за хлопотами забыла.

День стоял подстать вчерашнему, прозрачный. Воздух был пустым, а небо синим. Евдокия положила в котомку хлеба, лишние лапти, свекровнину ветошку. Обошла и перекрестила всё владение, коту налила в миску молока, оставила прошлых киселя и каши, мысленно попросила у него прощенья. Зашла на кладбище, на погост, накрошила просфоры муравьям на вдовьей могиле, вздохнула — "Оставайся с миром, Олексевна" — и пошла на юг, той самой дорогой, которой издавна завидовала. И чем дальше она шла, тем больше освобождалась от страха и тревоги, бывшего у нее всегда, и со всякими людьми, и добрыми и злыми, а других не знала. Будто крылья в дороге вырастали, а душа искала какого-то возношения. Хотелось враз очутиться за тем вон леском, увидеть, на чем кончается то вон поле, и что там дальше, за теми пустынями и дебрями, за горами и пещерами, за земными пропастями.

В первую ночь Евдокия человеческого жилья не искала, спала в стогу, на краю озимого поля. Утром в ясный день поднялась. По полям летает паутина пряжа Богородицы. Оглянулась кругом; время в душе словно остановилось, поселилась там одна дорожная вечность. К закату добрела до перепутья. За ним деревня виднелась, невелика, колодец с журавлем, а на самом перепутьи — кладбище: темные столбы, на них домики устроены и поставлены горшки с человеческими костями. "Язычники, видно, тут живут", — подумала Евдокия и свой крестик спрятала под одежду. Набрала воды из колодца, — и бадейка нашлась, — выпила. Вкус печальный такой. Вдруг услышала вздох из колодца, тоже печальный. Наклонилась, пригляделась к темноте, а внизу русалка сидит, увядшая, бледная.

— Что же ты, душа, до сих пор на земле задержалась? — спросила Евдокия. А ответа не получила, одни только еще более печальные вздохи.

Обошла всю деревню. Темно. Ни огня, ни дыма, ни человеческого духа нигде нет. Последняя в лесу изба была отперта, дверь от ветра болталась. Заглянула — на столе лежит старик в деревянной колоде, лицом, впрочем, свеж, а рядом — чарка водки и закуска — миска с рыбьими хвостами. Евдокия пригляделась к старику и узнала того колдуна, что к купеческой вдове перед смертью приходил. "Вот, ведь, всем свой черед", — поду-

мала Евдокия... Спихватилась — "Да полно, умер ли ты точно, или в упыря обратился?". Нехорошо ей стало, жутко. Бросилась вон из деревни, а дальше через поле. А в поле нет никого, даже хозарина. Заяц одинокий прочь прыснул, змея тропу перелезла и под кочку схоронилась. Прошла Евдокия через бор, и все бегом.

Солнце между тем совсем закатилось, птицы смолкли, опять пошло поле. Позади, в бору, филин ухает; луна вылезла и повисла надо всем охряного цвета; а впереди, в мелочах, уже такие звери стали выть, что просто ужас. Тут Евдокии всякого человека рядом захотелось, доброго, злого — все равно, только бы живого, словесного. Звук ей странный послышался, будто кто-то голыми костяшками дробь на барабане отбивает. Оглянулась, а это давешний колдун за нею мчится, перемахивает кочки одним духом. Видом же, да еще при луне — страшнее прежнего.

Увидел ее страх, да как закричит: "Вот уже погоди, после твоей хозяйки и с тобою сейчас разберусь!" Не помня под собой дороги, Евдокия бросилась в мелочи. Бежала с криком — "Кто в поле жив человек, отзовись!". И услышала в ответ будто эхо, или голос: — О-ххо, здесь я! — Споткнулась о бревно, упала, успела прошептать: "Варварушка! Не дай мне смерти прежде покаяния!". И больше ничего не помнила.

Когда очнулась, а сколько времени прошло, не знает, небо на востоке стало светлеть; луна еще светила свое, да уже не так страшно. Увидела Евдокия себя на поляне; никакого упыря нигде нет, тихо, по утреннему зябко. На колоде сидит благообразный старичок, седой, как лунь, ковыряет лапоть, а лицо у него молодое, гладкое.

— Это ты меня, что ли, от упыря спас? — спросила Евдокия. Я за тебя молиться буду.

Старик засмеялся, да так, что опять кругом пошло эхо:

— Ты за меня не молись. Я невинный, до ваших земных дел был устроен и ни в чем не замешан.

— Бог с тобой, кто ты ни есть, — совсем успокоилась Евдокия. — Я за тебя все равно помолюсь. Только как же это так, — до всего, говоришь, был устроен, а личиком такой свеженький? Разве что волос твой и вправду — седой.

Старик снова засмеялся. Видно, веселый был, простой.

— Оттого я и сед, что чертов дед! Да ты не дрожи, я тебе

зла не сделаю. Лесной я дедушка, вот кто. А братья мои — водяной дедушка, и дедушка полевой. Живу ягодами, грибами, иное медком побалуюсь, а скоромного ничего, ни-ни.

— Как же ты с упырем справился? — любопытствовала Евдокия.

— А я его хворостиной прочь отогнал. Провалился куда-то. Больно много он о себе думает последнее время. Бегаёт где ни попадёт, всех только пугает.

Луна совсем побледнела. Старик, кряхтя, слез с колоды, ростом оказался невелик, меньше Евдокии. Заткнул за пояс лапоть, сказал: — Ты теперь prospись хорошенько, никто тебя не тронет. А когда проснешься, иди отселева чем далее, тем благонадеее. Мне за всем не уследить, днем же тебя здесь никто не тронет. Зевнул сладко: "Прощай, мне самому теперь спать хочется". И пошел в лес.

Проснулась Евдокия оттого, что солнце стало сильно припекать. Села на пенёк, на пожарище, среди запекшихся бурых листов земляники. Лиса ей в утешение пришла, рыжая, прехитрая, ласковая. Покружила, покружила, потом подошла ближе, уткнулась мордой в Евдокиины опорки, будто собака, а холка у нее совсем линиялая, и там глубокая рана. Евдокия отыскала подорожник, посплюнула, привязала к лисицыной шее тесемкой из своих запасов. Но вот говорящий олень, о котором вспоминали калики, ей не являлся. Евдокия поделилась с лисой хлебом и отправилась в путь.

Подходя к лесу, она наткнулась на озеро, омут почти, в камышах, осоке и кустах орешника. Наклонилась ополоснуть лицо, видит — невдалеке борода торчком вверх плавает и глаза открытые, а ничего в них нет, одно стекло. Провалился колдун, видно, в глубокий этот омут. Над ним стрекозы вились, и пауки кусты заткали. Страх совсем Евдокию отпустил. Все же перекрестилась и пошла. Стало ей вдруг колдуна жаль. И опять она любила свою дорогу, и неожиданность, и спасение, и страх, и как шумел лес, шелестели жухлые травы, лист покойно слетал в сумеречную прелеь.

Днем полакомилась брусникой, набрала в тряпицу грибов. А к вечеру стала держаться ближе к дороге, ожидая человеческого жилья. Совсем уже в сумерки дошла она до одинокой избы. За

избою стоял большой сеновал; оконца тепло светились, и из трубы шел густой дым. Над крыльцом вырезана Берегиня с рыбьим хвостом. Лицо скуластое и в куриных сумерках как бы улыбочное.

Дверь ей открыла приветливая, угодливая женщина, не молодая, да и не старая. Отдала ей Евдокия свои грибы жарить, сели вместе чистить. Печь была огромная, и на ней стояли жбаны, мясо что ли в них прело. Воздух в избе сладковатый, немного тяжелый. Евдокия откровенно рассказала хозяйке свою нехитрую жизнь, короткую еще, а хозяйка, в очередь, поделилась своей: держит постоянный двор на этой дороге, что идет на север аж до Новгорода, а на юг — до Киева. Прибыли от путников мало, но и расход невелик. Муж умер, тому уже несколько лет, а дочь отдана замуж, под Смоленск.

Чисто везде было в избе. "Вот, — подумала Евдокия, — у доброй жены все в порядке, все по чину, — как в рай войти, как гостя утешить". Порадовалась, а себя попеняла, что нету у нее привычки к хорошему дому.

Поели они грибок со сметаной, выпили квасу. Жбаны на печи все уваривались. Евдокия почувствовала, что слегка хмельна, а спать не хотелось. Веки странно отяжелели и трудно было их разомкнуть. Хозяйка нет-нет да замолчит, и смотрит на нее пристально. По спине у Евдокии пробежал холодок, а отчего, по какой причине, сказать себе не могла. Дальше, к полуночи, хозяйка впала словно в беспокойство, — то сядет, то вскочит, то к печи подойдет, а крышек со жбанов не открывает. Только поцокает около них языком: "Завтра на дорожку мяса отведаешь, хотя, может, покажется жестковато".

Тут еще вдруг пёс, то ли волк, совсем близко завыл. Хозяйка облизнула губы, — язык длинный, — да нехорошо, плотски, а ведь они уже поели, и говорит Евдокии: — Схожу на сеновал, соберу тебе постель. Спать там тепло и запах свежий.

Только она ушла, Евдокия кинулась к печке. Подняла крышку и видит — человеческий палец плавает. Подняла другую, а там полно человеческих глаз, будто студня. Оглянулась на чужое дыхание — стоит позади нее хозяйка, изменилась лицом, глаза как уголья, где прошлая ласковость, — тревожная, страшная. Подняла к ней полные, холеные руки, а ногти с вершок, когда

только успели вырасти.

— Не буду тебя ни бить, ни отравлять. На ведовство ты, гляжу, неподатлива, так я тебя сейчас придушу легонько.

Евдокия схватила кочергу и ударила ведьму по лбу, промеж глаз. Ведьма охнула и села на пол. Евдокия через нее мигом перескочила и в дверь. Видит, на дороге вчерашний дедушка со здоровенным черным псом дерется. Леший ей кричит:

— Беги, Евдокия, не оглядывайся. Я их здесь задержу... Ох ты, горе мое, опять я с тобою, легковерной, связался. Да замечай-то хорошенько, когда идешь куда.

Всю ночь Евдокия бежала по лунной дороге, откуда только силы взялись. И вроде никто за нею больше не гнался. А страх был. На рассвете выбилась из сил, устроилась тут же при дороге под кустиками и заснула. Снился ей старик с длинной седой бородой, ветхий деньми, — то ли Бог Отец, то ли лесной дедушка, похожи они были. На одной руке держал он Евдокию, на другой Ваню, маленьких, меньше младенца, и в чем-то утешал, а в чем — Евдокия не запомнила. А дальше сказал: "В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Помните, Сын мой победил мир". Утром Евдокия проснулась, глаза протерла, помолилась, громко, вслух, попросила: "Спаси, Нерукотворный Царь, избавь от этих плотоядцев". И пошла, всё дальше, на юг.

К вечеру похолодало, заморосил мелкий дождичек. Ветошку свою со всею котомкой Евдокия оставила на ведьмином дворе. А стало зябко. Увидела чуть в стороне от дороги костер, вокруг костра люди греются. Однако, сразу подойти теперь не решилась, спряталась за деревом — послушать, присмотреться.

Там, на полянке вокруг костра сидели странники: молодая в платке по самые брови, а глаз нет, вытекли, — одни запавшие глазницы; безбородый парень — волос у него кудрявый, светлый, одна ручка сухонькая, черная рубашка застегнута под самый подбородок; старик, тоже почти слепец, на вид мирный, в языке слегка свиблив, косноязычен; баба с круглыми щеками, носик востренький и глаз любопытный. Баба выводила тихо, тоненьким голосом:

— Мои тела во гроб кладут, ой!

А душу мою на страшный суд ведут, ой!

Старик продолжал давешний рассказ: — У нас в Новгороде народ торговый. Жадный, бережливый. Церкви — что твои амбары. Закон чтут, себя любят, Господу тоже кое-что перепадает, и нам, грешным, остается.

Парень сказал с неодобрением: — Богу молимся, а думаем не знаю о чем! Один царь Богу молился до полобедни. А потом думает: как-то я дом построю, плотники какие подберутся?! Помер он, ну, Бог его на небе и спросил, среди прочего: "Царь, ты был-то у обедни?" — "Ну, был!" — "Полобедни ты был, а другие полобедни дом строил. Вот где ты был...". Да и о чем мы все думаем? О суете. О зле думаем.

— Слышала я, — вступила в разговор баба, — что у вас в Новгороде Перун на мысу вопил чужим голосом, на всю Русь.

— Оттого и вопил, что его костры вечные загасили, а его потом и самого в реку сбросили, — объяснил старик.

— А еще я слышала, что река эта от такого падения вспять пошла. Еще люди говорят, не знаю, верить или не верить, будто поп некий, новгородский, на бесе верхом в Ерусалим съездил и в одну ночь домой вернулся.

— В Киеве святости больше, — сказал парень. — Везде я был, пророческого глаголения ведь душа требует, а в Киеве святости больше. Был я и в городах, и в слободках, и в монастырях, и в тех скитах, в которых грех со спасеньем по-соседски живут...

Баба опять запела свое:

— А я, душа, за ангела схоронилася, ой!

Тебе, тело белое, червям на съядение оставляется, ой!

Вам, костям, упокой в земле предлагается, ой!

А мне, душе, мука вечная.

— Тебе бы, Моря, в монастырь пойти, посхимиться, сказал старик. — Чего волокитничать по земле? Вона и ручка у тебя сухонькая, что с ней в миру делать?

— Я и сам об том мечтаю. Однако, страдаю унынием, а иногда вдруг веселость накинется беспричинно, прыгать хочется, скакать.

— Веселость не грех, а хуже уныния ничего нет, — заметил старик.

Робость у Евдокии прошла. Она объявилась каликам, попро-

силась в товарищи — "А вы бы, меня, люди, не брезговали, а я никем не брезгаю". Старик согласился за всех: — Мы тебя возьмем в товарищи, отчего же. Негоже человеку быть одному.

Парень было заикнулся: — Как же так ты одна вышла в прелестный мир?

— Так вот я и вышла. По людям соскучилась, хотя и боюсь их тоже. А еще, человек у меня есть один в Киеве, повидаться надо. — Евдокия присела к костру. Угостили ее печеной репой, дали и хлеба. Парень предложил меду из заветного запаса. Евдокия кланялась, отказалась — "Я не больно сластунья".

Наутро они вышли впятером. Евдокии стало весело, и она себе попеняла, что не дожидалась никого в Торопше, — ни купцов, ни божьих людей, — вместе ватажиться.

Молодая была сиротой со Старой Ладоги. Моря, обходя тамошние пределы, уговорил ее пойти с ним в Киев, постричься в каком-нибудь из тамошних женских монастырей, да и воздух в Киеве для сирот теплее. Сам Моря мечтал о монастырской жизни, но и монастыря боялся. Все свои сомнения выговаривал вслух: — Келья инока — пещь Вавилонская, в ней же трое отроки Сына Божия обретоша... Однако же, поднебесные духи злобы, они и в монастыре не дремлют. А еще подумать: бегаем в монастырь от людей, а все — одного естества...

— Не от людей бегают, Моря, в монастырь, а от пороков людских, — отвечал ему старик.

Он и сам как будто прежде жил монахом, а может, послушником, в лесном монастырьке под Псковом. Монастырек разорила и сожгла белоглазая чужь. Он же с тех пор пристрастился к бродяжничанью, часто ходил в Киев, как сказал, "по чужому обещанию и своему желанию". Хотя и слепенький был, дорогу знал хорошо и часто пререкался с сухоруком, какой путь правильнее.

Места, через которые шли, были больше дикие, безлюдные пустыни. Днем они заходили в слободы и деревни — собрать милостыню, справиться о дороге, — правильно ли идут, не сбились ли, и что на белом свете творится. Да и тепло пока было, хорошо. Вечерами разжигали в невидном и сухом месте костер. Больше других у костра любила поговорить востроносая баба. Что у нее за жизнь прежде была, и какая, Евдокия так толком и не узнала. Старик эту бабу не жаловал, иногда ей выговаривал:

— Пустая ты странница. Сидела бы дома да оладьи пекла! Странствия твои и не столь уж благочестивы, одно бабье любопытство!

Баба ему бойко отвечала: — Вот, говорят, и Христос ходил с апостолами как калика переходя, волокитная. Волочились они и городами и пригородками. Значит, и мне в этом никакого греха нет.

От нее Евдокия узнала много праведных историй. И про Федора Тырина, как его мамушку унес змей, а Федор за нею отправился. Шел весь мясоед, с Рождества, и вызволил, за что Господь дал ему праздновать Масляницу, — и нам с ним вместе. И про Егория, убившего другого змея. Выходил этот змей из моря, давали ему человека — откупиться. А то он всех враз перекусает, всех передушит. Подошел черед княжне того места, смотрит она на небеса, молится: "Господи, иду на съедение лютому зверю!". А Бог ей, невидим, говорит: "Не бойся, раба, не будешь съедена!". Тут Егорий объявился, он змея копьем и саблею, — и кончено дело.

"В Ерусалиме, говорят, другой змей, или тот же самый, точно не скажу, выпил все колодцы, так что люди пришли в сильную нужду. А тамошний царь, его Соломоном зовут, вот ведь какую хитрость сделал — в колодцы, уж там на самом доньшке оставалось, добавил вина и меду, опоил змея. Связал и к ответу потребовал".

Евдокия слушала, трепетала, плакала.

— Жалко мне, — говорила, — жалко мне иудеев, хозар, печенегов, половцев, удушенных. Бывает так, что и дьявола жаль. И змеев твоих окаянных жаль бывает очень. Вот ведь какая судьба им от роду дана! А чем они виноваты?

— Говорят люди, — не унималась востроносая баба, — а сама не была, не видела, у греков, от города Ефеса вблизи, стоит пещера. Там тела семи отроков положены, что спали триста шестьдесят лет, а потом проснулись: при Декии царе уснули, а при Феодосии царе явились. Там же триста святых отцов лежат. И гроб Марии Магдалины и голова ее. И Тимофей в очень ветхом гробе тут же. Еще видели странники в Ефесе, а мне рассказывали, баню. Там Иван Богослов работал с Прохором, учеником своим. Те же странники видели место, где Авимилех спал

шестьдесят лет. А также то городище, откуда слали орла в Вавилон с грамотой к пророку Еремею.

Евдокии и в Ерусалим, и к грекам хотелось, чтобы всей этой святости поклониться, а то вдруг и самого Егория в тех краях увидеть, — как стоит он посреди огня, поет песни-стихи херувимские. Делилась она с сухоруким Морей: — А я иду, всё мечтаю, как бы мне в Ердани-реке искупаться. И нетленной ризой потом утереться. И сама себе отвечаю на эти мечты: "Суета все это, Евдокия, суета. До Бога везде близко".

В Смоленске отстояли обедню, ночевали на монастырском подворьи и, не мешкая, пошли дальше. Начались дожди, а к ночи подмерзало. Стали стеклянуть лужи, и птицы во множестве потянулись на юг. У Чернигова природа оказалась кудрявая, совсем ласковая, чистая. На курганах стояли молодые дубы и березки, уже желтые. Правил там Святослав, князь великодушный и веселый, любил он строить. Подивились на Спасову церковь, на тамошние мраморы, а остановились в простоте, на Болдиных горах, в деревянной клетке при новом монастыре. Да и не монастырь еще был, а так, церквушка одна; тыном место кое-где обнесено, поп при церкви и три послушника.

Отдыхали день, другой. Сидела как-то Евдокия на пригорке. Впереди, за рекой, уже голубелось Дикое Поле, — лесу мало, больше травы. Вдруг около нее зашевелилась земля, и вылезла голова в черной скуфейке.

— Ты кто же такой? — удивилась Евдокия.

— Пешерник я. По обету затворился. Обещался до трубного гласа сидеть в подземных пропастях.

— А ты бы по земле ходил до трубного-то гласа. Смотри, какая благодать, — птицы, небо голубое, пахнет благоуханно. В пещере темно, небось, сыро.

— В пещере удобнее отложить житейскую печаль. Меня прежде великий Антоний в подвиге укреплял. А теперь он ушел обратно в Киев. Я один остался. Никто сюда не идет, все в Киев устремляются, или вовсе в дикую пустыню, глуше уединиться.

— Отчего ж ты не пошел за Антонием?

— Да ведь это место тоже своего прославления требует. Когда пришел сюда Антоний от киевских гонений, всё было, как случается в строении таких мест, я тому свидетель: огненный

столп от неба до земли и благовест в безлюдном бору. А еще был мне и личный сон, — вижу на здешней горе необыкновенный храм, вдоль стен мощи святых положены, лики же их на стенах, в изображениях; и, среди прочих, себя, убогого, признал.

— Что же, — сказала Евдокия, — ты уж теперь здесь потерпи за радость такую, за будущую красоту, за нас грешных. Сам ведь выбрал эдакое послушание.

— Вот я и терплю, — отвечал монах. — Только бесы очень донимать стали. Всю прошлую ночь мучили. А ноги у бесов петушинные, ты это, пожалуйста, заметь. Были со мною два инока-пещерника, товарищи в подвиге. Теперь ушли на Десну, на другие горы. Один, говорят, по старой привычке, выкопал себе пещерку, а другой обретается в дупле. Несогласны были в них обычаи. А ты им от меня кланяйся, проси благословения.

Евдокия поделилась с пещерником, что держит путь в Киев.

— Там святости много, так что порадуешься этому изобию. Слышал я, что Феодосий, и Антоний, и Никон все еще в пещерах сидят, а другим, какие духом послабже, велели выйти на Божий свет. Прибыли туда благообразные скопцы из Царьграда, над пещерами строят церковь по греческому рассказу. Сам покойный Ярослав ров копал, трудился. Дали строителям мощи мучеников Полиевкта, Акакии, Арефы и других прочих, уж не помню кого, и обещание им было от Царицы Небесной, Влахернской, посмотреть церковь и там жить.

Из Чернигова странники поплелись в обозе Седислава и Городислава, мирских киевских людей Яна Вышатича. Старик был против — "Маленькой ватагой, оно как-то незаметнее лихим людям" — но под конец уступил обществу. Дошли до переправы, а на горушке, не очень чтобы высокой, стоит развесистый старый дуб. Указал на него перевозчик, по виду новокрещеный печенег: — Вона, на дубу черниговский инок в святости упражняется. Года два тому назад подошли два инока к моему перевозу и вдруг заспорили. Один тесное и жестокое хотел житие, а другой — гладкое и просторное. Тот, кому хотелось гладкого, здесь остался, а другого я перевез через реку. Вырыл он себе пещерку на том берегу, у самого Дикого Поля и успокоился, не видать его.

Евдокии почудилось — перевозчик недобро улыбался при

своем рассказе. Он перевёз весь обоз только к сумеркам. Перевёз, отъехал прочь, на середину реки, да вдруг и свистнул разбойничим крепким свистом. Со всех сторон посыпались на путников стрелы. Кинулись они было назад, к реке, стали звать перевозчика, глядят, а на плоту никого нет, крутит пустой плот посередине реки, а на другом берегу кобылка какая-то бесовская прыгает по мелководью и камышам, прыгает и ржёт — громко, радостно, мерзко.

Все разбежались, кто куда. Каждый спасался по умению. Иные залегли в травы, иные спрятались в воду, да там сами и утонули. Евдокия подняла из травы голову и увидела трепетный, маленький огонёк, зажегшийся на дубу. Пустынник, стало быть, на том берегу молился об их спасении. Евдокия тоже, как умела, попросила Бога присмотреть за пустынником. А о себе попросить забыла. Или не успела. Совсем близко проехал печенег, то ли бродник, кто их знает. Евдокия спряталась, припала к земле, слышит, из-под травы раздаётся пение. Это там, внизу, другой пустынник в своем особом подвиге подвизался. Она и ему посочувствовала. Надоело ей, наконец, лежать на сырой земле, холодно стало, мошки ползли, шекотали. Поднялась и пошла прочь от реки в Дикое Поле, одна. Травы были выше пояса, и почти темно. И вдруг встретил Евдокию на ее пути конный печенег, да так это было внезапно, Евдокия опомниться не успела, не то что спрятаться. Хотел он было ее убить по привычке, уже замахнулся копьем, но вдруг чему-то в ней умилился, простоте ее, что ли, или покорности. Бросил лепешку, пестренькую шапочку со своей лохматой головы, а сам ускакал прочь, в темень, иша, кого бы погубить.

К рассвету в поле нашлись старик и баба-говорунья. Прочих всех, наверное, поубивали — и киевлян, и слуг их, и сухорукого Морю, и слепую девицу. Шли они и кричали — "Кто в поле жив человек, отзовись!" А в поле нет никого, ни даже печенег-хазарина. Одни зайцы через головы в лошину перекувыркнутся, далеко где-то завоет волк, захрюкает в облетелой бузине вепрь, в поднебесьи птицы к теплым местам тянут, кто — с гомоном, а кто — молча.

II

Воздух в Киеве показался прозрачней, тоньше, чем на Севере. А небо — выше. Осенью больше паутины летало, дубы стояли все в красном пламени. Над Днепром, на горах, под нежарким солнышком догревались мелкие змеи. В Берестове, на княжеском дворе, благовестили, красиво, — странники услышали издали. В Печерах уже поставили тын, и ворота, а своих, монастырских колоколов не было, дорого, да и некуда воздвигать, все только еще строилось. Вечерня в монастыре уже отошла, оттого их туда не пустили. Евдокия постояла у палисада, — колья тына успело вымыть дождем, торчали они сизые, сиротские, — и пошла за товарищами ночевать в амбар к княжеским поварихам. Накормили их повариhi щедро. Были они все женщины дородные, добрые, говорливые. Востроносая баба отвела с ними душу.

Слышали за трапезой разное, и все недоброе. Ребенка утопленного вытащили из Сетомли, на лице у него росли срамные части. Перед их приходом солнце целую неделю было тускло, говорили — объедено оно. Следовало ждать волнений, набегов и прочих бедствий.

Монахов-соседей повариhi очень хвалили: "Работники и молитвенники, нам с такими соседушками и рая не надо". О братии рассказывали удивительные истории:

"Марк-могильщик, это который вас в ворота не пропустил, — мертвыми телами повелевает — по-хорошему. Кому не успеет ископать могилку — у него тоже ведь других послушаний много, — того просит подождать, пожить еще. Сами видели одного такого покойника: ходил он по двору и проливал последние земные слезы, терпеливо ожидая, когда трудолюбивый Марк подготовит ему пристанище.

Есть еще у них старец Аммон, редко его видят, но все же иногда бывает видим. Этот, до чего же благодный старец: идет, ветхий, плачет, а и смеется заодно. По слухам, он от mnogой благодности уже и не ведает о существовании зла. Великий Антоний это нам подтвердил, а он точно знает. Антоний с виду суров, держится особняком, к людям почти не выходит. Вечерами видят его на горе над Днепром, круто там очень. Стоит, смотрит на другой берег, наверное, во что-то всматривается, молится.

Отец Феодосий, он у них — труженик и простота, силы необыкновенной. Лицом красив, но и очень стыдлив, всем мирским смущается. Идучи, голову держит низко. Стало быть, сердце — высоко. Но сам от мира не бежит — каждую субботу запрягает подводу, везет узникам в острог печеного хлеба.

Есть там Моисей Угрин, в чужих краях лишенный уд похотливой женой от завистливой любви. В нем дар прорицания необыкновенный и много кротости. Еще есть у них Никон, а был прежде наш митрополит, да греки выжили. На язык остер, а так ничего, хороший старичок.

Инок же Елизар достиг разнообразными подвигами неперестанного благодатного умиления и тоже дара слез. У него от этого глаза сияют необыкновенно.

Был там черноризец Арефа. В этом гнездилась память сребролюбия, такая вот голодная страсть. Всё боялся — состарится, не прокормится в монастыре на чечевице и репе. А какой он, черный день, если Господь сказал: "Оставь каждому дню свои заботы?". Арефа вдруг внезапно разболелся. Перед смертью открылся о кладе. Игумена со слезами просил: "Повергните тело мое в пустыню, да изыдят его звери и птицы!". Однако, не повергли, положили со всеми в дальних пещерах. Начал он во всю куролесить — пугает, воеет. Чувствовал, что ли, место это по грехам ему неподобно. Игумен со старцами стояли много часов и молитв, отбили-таки душу брата Арефы у воздушного губителя. В дальних пещерах теперь стало тихо.

Бес, до чего же он пронырлив и бывает вреден. Иногда бесы озорничают у монахов в пекарне. Да и нас жалуют, творят мелкие пакости — то лягушек, мышей в сусек подкинут, то песку речного; или муку по всему полу рассыпят и с грязью смешают, а то закваску прольют, — всего не упомнишь. Старец Аммон, это который не помнит о существовании зла, как-то на проскомидии вынул частицу, — мы все тогда в храме на службе стояли, — со словами: "Помилуй, Господи, всех земных и преисподних!". Что тут началось! Ветер по храму пошел, мы едва на ногах удержались. Слышим, бесы кричат, в страшной обиде: "Не молишь за нас, старик!". Видно, не понравилось им очень, аж до рыдания".

Об Исаакии повариhi ничего сказать не могли: — "Есть там

один, так он из пещер никогда и не выходит, к святости, говорят, приближается. Тут как-то старец Никон по двору ходил, руки за спиной сцепил, выставил вперед бородавку, и сам с собою рассуждал, но вслух. "Опасно, — говорил, — Исаакий к святости приближается, опасно".

Евдокия задумалась, но не поняла. Старик, ее товарищ, знающе заметил: "Это со многими, кто в пустыне, или в пещерах, или в затворах, часто случается, что живущих уединенно Бог попускает быть рабами бесов".

Рано утром, когда все еще спали, Евдокия пошла в монастырь. Кругом стояли овражки, холмы, поросшие лесом в осеннем багрене. Вода в Днепре сверху виделась стальной, холодной. Евдокия спустилась в лошину, умылась у ключа, выпила из ладоней вкусной воды. Нарвала пижмы, золотарника, сломала веточки у молодых березы и клена, желтую и красную, поднялась в гору к монастырским воротам. Сидел там Маркмогильщик, еще молодой, кудрявый. Глаз у него голубой и с внимательным прищуром. Евдокия ему низко поклонилась, рассказала о своей нужде.

— Исаакий у нас равно что светило, разгоняющее бесовскую тьму, — сказал Марк. — Затворил себя в пещере о четыре локтя. И там молит Бога со слезами.

Говоря, Марк на Евдокию не смотрел, а глядел в сторону, в землю, даже чуть покраснел, словно ему в чем-то было неловко. Он проводил Евдокию в церковь, нашел горшок для ее нехитрых цветов — поставить перед Богородичной иконой, — а сам ушел просить Исаакия выйти. Был он похож — обличьем и хватками — на прежнего Ваню, только масть другая, глаз же такой же, нестерпимо голубой.

Евдокия отстояла заутреню. Мирских никого, кроме нее, в церкви не было, одни монашеские выцветшие спины. Вышла во двор и видит — сидит на отесанных камнях Ваня, худой, бледный. Как Евдокия ни была растеряна, а все же подошла с улыбкой. Его черный, воронова крыла волос сильно тронуло седinou, а лицо с полными, прежними, пухлыми губами было ни старо, ни молодо, знакомое Евдокии с детства лицо. Только глаза ушли куда-то глубоко. Евдокия не знала, радоваться ей или горевать, повторяла в душе: "Спасибо, Господи, за все".

Я ради тебя свой обет нарушил, — сказал Исаакий, будто недовольно, а на Евдокию не взглянул. Была на нем власяница, — наверное, колючая, — а из-под нее у шеи и ниже колен выглядывал козий мех, давно прилипший к живому телу. В руках Исаакий держал сырую, полуистлевшую тряпицу, а в ней было тяжелое что-то. Он протянул узелок Евдокии.

— Гривен тут несколько. Для тебя берег, в случае, если придешь.

— Вот я и пришла, — сказала Евдокия опустело. — Только вести мои недобрые. — Сердце ее сильно заколотилось, но все же она решилась признаться:

— Матушка твоя умерла, Ваня. Я перед своим походом на могилке твоих родителей посидела, накрошила просвирки муравьям.

— Я это знал, — сказал Исаакий. — Видел сердечными очами. Приходила она ко мне, в духе уже. Слышал ее шаги, подошла, положила мне руку на плечо. Ее рука была, горячая, тяжелая. А въяве никого не было. Не хотела она меня лишним огорчать. Залился я слезами, за все громко просил прощения, на том мы и помирились.

Евдокия села на землю, там, где стояла, и сама заплакала. Жалко ей стало очень Исаакия и его мать. Что же это за встреча такая, невозможно печальная! А еще была в ней благодарность за давнее кружевцо, за доброту — Исаакий, наверное, и не запомнил. За мечту какую-то смутную, которой теперь уже, точно, никак не быть. В голове у Евдокии стучало, в ушах был шум. Будто издалека, слушала она Исаакиев рассказ.

— Только что маменька моя замуж тебя выдала, поехал я в Новгород по торговым делам. Отпросился. Грустно мне чего-то стало, напало неясное томление. До беспамятства я тебя, конечно, не любил, но привык ужасно. Гордости моей оскорбительно было, что с другим ты. И на мать тоже гневался. Оттого погулял я в Новгороде на славу, забылся. Обратный путь совершил благополучно. Оставались мне перед Торопцом считанные версты. Ночевать хотел успеть в отеческом доме, хотя и держал на него в сердце ненужную обиду. Впереди елочки стояли, недалеко, будто две подружки, а между ними шла моя дорога. Вдруг вижу, за елками что-то белеется. Конь мой упира-

ется, ржет. Подъехал через силу ближе. А вместо елочек стоят две смерти с косами, улыбаются, не помню чем, и каждая смерть манит к себе. Я испугался, зажмурился. Открываю, однако, глаза, чуть первый страх прошел, гляжу, — не смерти это стоят, а стоишь ты и маменька моя в черных, длинных хламидах. Протянули мне навстречу руки. Вижу, под хламидами вашими ничего нет, один стыд женский, да жаркий такой. Я, обращаясь к маменьке, говорю: "Маменька, так шутить нехорошо. Вы ведь почтенная вдова". А сам, знаю, посмотрел на мать нехорошо, плотски. Как на тебя посмотрел, уже и не скажу. Только не вы это были. Тут хохот раздался, глумливый, страшный. И опять нет ни тебя, ни маменьки — стоят два пустых скелета, и у каждого по косе в левой руке. Лишь теперь вспомнил я перекреститься, и разом все исчезло. Ничего я тогда мамаше не сказал. Но поселился во мне страх смерти, и я впервые ощутил дьявола злодейство. Мимолетности мимотекущего бытия испугался. И непрестанно с той поры стал думать о том часе, когда душа с телом будет разлучаться. Где тогда встанут ангелы? Где — демоны? Кому душа достанется? Где безопасно успокоится? Я ведь в торговых дорогах своих всяко грешил, чего тебе тоже не скажу... Вот я и ужаснулся вдруг. Вижу — побеждают меня страсти, и порабошен ими.

Исаакий закрыл глаза, стал раскачиваться из стороны в сторону. Сказал протяжно, почти пропел: — Се, удалился, бегая, и водворился в пустыне Господа Бога, спасающего меня от малодушия и бури.

Он замолчал, а лицо оставалось напряжено, будто хотел еще что-то прибавить, но слова не складывались. Он видел Евдокию далеко, словно в тумане. Она плыла в жирном воздухе неким бесплотным духом. И вдруг проступили в ней земные кости, как в том призраке. Исаакий закрыл глаза, прочел про себя молитву. Ему нестерпимо захотелось в покой, в сырость, в тишину пещеры. Кругом показалось шумно, тревожно, угрожающе. Он открыл глаза, перед ним сидела прежняя Евдокия. Но он давно был другой, ждали его подвиг и тьма.

— Это, конечно, — задумчиво сказала Евдокия. — Чтобы не погубить своей мзды...

И оба они опять замолчали.

— Давай помолимся Богу, — сказал Исаакий, — Он ведь отец наш.

Голос его был чужой, нестерпимо далекий.

И Евдокия поняла, что сейчас ему больше не нужна.

Марк-могильщик проводил ее до ворот. Поцеловал братским поцелуем в уста. И, возвращаясь к своим работам, сказал громко, вслух: — Всякая простая душа свята. Нет в ней ни лукавства, ни лести. — Заплакал чему-то.

Киев Евдокии понравился — многолюдством, восточными неслыханными людьми на Торгу. Все ей было весело, все дружелюбно, даже мирные печенег на своих маленьких лошаденках, пахнувшие кислым молоком, полевыми мышами, соленым потом. Она старалась обходить стороной только местных старух — юрких, пронырливых, крючконосых, когтистых, костистых, со змеиной ниточкой губ в проваленных ртах и крикливыми, высокими голосами.

— Уу, бабы-яги какие, — отрешивалась Евдокия. Она была на них непохожа: личико печеной луной, нос круглой луковицей, губы полные, удивленные всему миру.

У Десятинной церкви видела квадригу бронзовых, с тронутыми зеленью крутыми боками, коней. Высоко задирала голову — рассмотреть церковь Богородицы Благовещение, что стояла на Золотых Воротах, будто на воздухе. Радовалась совершенству и сладости Божьего мира. И за все благодарила.

В Софии встала, онемев, в пахнушем краской приделе. Там, на стене, был Архангел Михаил с хрупкими павлиньими перьями, в киноварном плаще. И плясала с платочком в руке Саломея, гибкая и страшная, мягкостью своей и злобой глаз похожая на ту ведьму, что варила в жбанах человечину на постоялом дворе. Евдокия умилилась перед молением Анны о неплодстве, в саду, у птичьего гнезда, среди бледно-зеленой, только еще проступающей весенней листвы и выпцветшего северного неба. Не все было закончено в этом приделе. Живописец наметил углем, а местами уже раскрасил Рафаила с кадилом, Уриила — скорбного Ангела Смерти, Варахиила — Райского Вертоградаря. Кто они такие, эти боговидные юноши, живописец-скопеец объяснил Евдокии на ломаном своем языке. А был он царьградский грек. Сама Евдокия не узнала бы ни имен их, ни

чинов. Была она всему признательна и во всем любопытна.

На дворе прошумел короткий ливень, и вдруг выглянуло солнце. В алтаре заблистала мозаика: золотое небо за омофором Богородицы, ряд бородатых святых в белых одеждах, сомкнувшийся у ее ног. А за высокими узкими окнами стояло синее киевское небо, бежали стремительные осенние облака.

Евдокия отдала на украшение храма исаакиевы гривны. Себе оставила одну — от суетности, на бабьи безделушки. И очень себя стыдилась, земного своего притяжения. Бедный еврей у Жидовских Ворот остановил ее, выведя из толпы, отвел в сторону, оглянулся кругом тревожно, зашептал на ухо: — Ашмедай, царь бесов, теперь с другом твоим. — А потом вдруг громко закричал: — Вай! О горе! — Сел в грязь, в пыль и стал рвать на себе волосы. Евдокия смутилась, но восточные люди вокруг ее утешили: — Он у нас всегда такой, беспокойный.

Все же поселилась в душе Евдокии тревога, защемило сердце. Захотелось еще раз пойти в Пещеры, взглянуть на Исаакия.

Весь день Евдокия бродила по Киеву, а к сумеркам добрела до Подола, потерялась среди маленьких извилистых улиц вокруг Торга. Влезла на крутой холм — поглядеть на город, отыскать дорогу в Берестово. Присела на плоской вершине в кустах, под кривой ивой — перевести дух. Солнце село за днепровские леса. И вдруг она увидела близко, в соседних кустах, двух киевских ведьм. Днем на торгу веселыми горшками торговали, а сейчас прилаживали метлы — лететь к бесам на сообщенье. Были они в одних сорочках, будто только поднялись впопыхах с постелей, языком дерзки и, по обыкновению, костлявы. Чему-то громко смеялись. Евдокия заползла глубоко в кусты и притаилась в страхе. В воздухе что-то засвистело, будто большой камень упал: прилетела третья ведьма, не на помеле, а в деревянном жбане. Была она гладкая и даже красивая, лишь на лбу был замечен свежий шрам. Евдокия тотчас признала в ней давешнюю свою хозяйку, и перепугалась еще пуще.

— Князь наш скоро будет с ним. И мы тогда вместе посмеемся над гордостью его и страхом, — сказала новоприбывшая ведьма. Ошерилась в смехе. — Подруга его от меня убежала, не успела познакомиться с нашим князем, а ему уж в пещере никуда

не деться!

Другие две ведьмы смеялись избыточно, натирая свои костлявые груди и зады какой-то вонью.

Не помня себя, Евдокия сползла на животе в овраг, в засохший болиголов и конский навоз, боясь хрустнуть былинкой, зашуметь, цепляясь за кусты. Сердце у ней шемило больше прежнего, и была нужда бежать в монастырь.

Она шла туда и час, и два, обходя стороной княжеский город. Ныли ноги после целого дня, в лесах протяжно выли осенние волки, на стенах, наверху, перекликалась ночная стража. Ветра нигде не было, лист не шелестел даже. Всё словно замерло перед грядущим неясным испытанием.

Над монастырскими воротами мерцала лампада перед ликом Спасителя. Только достучаться было невозможно. Никто не выходил. Евдокия подняла глаза к надвратному образу, — попросить. И увидела не Спасителей лик, а злобное лицо демона. И он улыбался. Но страха в Евдокии вдруг не оказалось. Она повернулась, и ушла в темноту, в Берестово.

III

В пещере у Исаакия было тесно. Не пещера, а проход малый в четыре локтя с оконцем — только что руку просунуть. Пахло там воском, донником, старой кожей. После встречи с Евдокией Исаакий долго не мог успокоиться. Не переставая читал и пел псалмы, а духом искомым не проникался. Пророческого глаголения душа давала мало, голова пребывала в смятении и суете. То еще больше хотелось, чтобы все тебя забыли в спасительной темноте. То — чтобы весь мир собрался вокруг, дивясь добровольному подвигу. Еще хотелось пасть ниц на лицо свое, поплакать всласть о себе, о мамыньке, о смолянном бору у торопецкого озера с комарами и плеском плотвы, о Евдокии, о хрупкости и простоте житейской, о нетвердости в божественных мыслях, и чтобы избавиться от самооправдания. Ссохшийся на его теле козий мех сегодня особенно мешал и зудел; пить хотелось вопреки положенному для себя пределу; одиночество тяготило, но и без него было нельзя; услышать хотелось хотя бы высокий голос отца Силуяна из соседней пещеры, часто распе-

вавшего Богородичный акафист — "Ангел предстатель с небесе послан был реши...". И тогда бы Исаакий запел свое излюбленное, покаянный канон, опять искренно жалея, что поработился злобами безмерных помышлений.

Отца Силуяна в келье не было, ушел ловить рыбу. Отец Силуян вообще-то затворялся умеренно, только когда чувствовал, что была в этом особенная нужда. Он во всем был легок, быстр — в послушании, на кухне, в плотничестве. Не ходил — летал. Говорил Исаакию: — Если хочешь быть монахом, до дурноты не молись. Будь весь — как огонь. Если не будешь пламенеть — изойдешь теплотой в ничто. Тут тебя бес и сцапает.

Исаакий так не мог. Выйди он в мир — опьянел бы сразу от звуков и трав, от запахов и соблазнов, нехотя позабыв свой подвиг. А потом опять бы пришли страх смерти, встреча, рассеяние, бегство, и храмина временного согласия пошатнулась.

На заре или вечерами отец Силуян уходил на Днепр. Ловил в выдолбленной своими руками плоскодонке у берега, под печерскими горами, рыбу для братской трапезы. Возвращаясь, пах тиной, задерживался у Исаакиева окна, просил благословения, весело спрашивал: — Ну, рассказывай, как живешь тут, Исаакий, каково храмину свою душевную воздвигаешь? — И, не дожидаясь ответа, уходил к себе.

По утрам пищу Исаакию приносил сам Антоний. Пища была — просфора, да небольшая крынка воды. Исаакий удивлял Антония своим упорством, и перед подвигом его он во многом благоговел. "Небо — инокам, мирянам — мир", — говорил себе Антоний и глубоко вздыхал в длинную бороду. Он здесь всех их собрал — и Феодосия, и старца Аммона, и отца Силуяна, и Исаакия, и Марка-могильщика, и инок Елезара, и черноризца Арефу. Уговорил Никона с ними жить. Собрал, радовался этому собору, а сам ушел в дальние пещеры. На горе монастырь процвел, а Антоний так и оставался в уединении, внизу. Он не любил ссор, не любил близости людской. Все равно, житейских волнений море часто подступало. То надо было бежать впопыхах в Чернигов от княжеской неправды. То примирять чужие ссоры, судить и рядить. И — главное — надо было побеждать непрестанно в себе эту иронию, эту кичливость, которую он давно за собой заметил. Антоний никому не признавался в своих

слабостях, в поползновениях космической суеты, но самому себе. Открыв врага, надолго запирался в дальних пещерах, никого не видел, говоря себе недоуменно: "Вот, бес с другого конца подступил!".

Вечерами он любил взойти на гору над Днепром, постоять, посмотреть на реку. Звезды были теплые. Напротив, на плесе, бывало, кричало какое-то диво. А вот русалок, нет, не видел. Иначе его бес смущал. Порою далеко, на лесных полянах, зажигались огни языческих капиш. Кругом все еще жили эти старые боги — и вечные страсти. Случалось, к нему приходило сомнение: отчего собираются пустыnnики в укрытых местах — в гробах, в горах, в лесах, в пещерах, в земных пропастях, оставляя мир на поток и хищение наилютейшим страстям? Вслух Антоний говорил: "Бог создал и благословил человека животна, плодна, словесна, разумна, смертна". А внутренне, про себя, часто божественному образу в человеке не верил, зная его обычаи и невзгоды. Даже бессловесная тварь, порой, теплее соболезнает и совоздыхает. Потому что тварь, она неумышленней, проще.

Антоний отдал монастырь в управление Феодосию за любовь ко всему живому, за смирение и непрестанный труд. Феодосий телом был силен, а душою хрупок ужасно. Где со страстями труднее бороться — в монастыре, в пещере, — или в миру? Антоний знал, что Бог предстает Феодосию темный, тихий, смиренный в своей силе. А его, Антония, Бог был всегда в сиянии, и в гневе, и в молниях.

Неподалеку от Антония в дальних пещерах жил Никон. Он с годами все более усыхал, был большой книжник, а душою так и остался строптив с митрополичьих времен. Неустанно, неистово переписывал книги. Переписав одну, показывал свой труд Антонию. Бережно поглаживая иссохшими пальцами новый переплет, говорил: — Книга мудрая и удобная. Прочти.

Никон скрывал в себе сокровище великих дарований, но сдерживал частый соблазн велеречия. Чаше всего он разговаривал с Феодосием, и тогда вспоминал прежнего себя.

— Сей, Феодосий, всюду данную тебе пшеницу, — говорил Никон, заложив за спину руки и наблюдая, как Феодосий нагружает или сгружает подводу на хозяйственном дворе, — сей и

на белой земле, сей и на пашне, сей на камени. Всё где-нибудь да прозябнет, и взрастет, и даст плод.

Об Исаакии Никон отзывался благосклонно, хотя и смутно: — Яко в огне искушается золото, человецы приятны в пеши смирения. — Однако, сам к нему никогда не ходил и не разговаривал.

До полуночи Исаакий пел псалмы и клал поклоны. Среди псалмов был один — "Ты испытал меня и знаешь". Исаакий всегда приступал к нему с колебанием, с трепетом, со страхом, а сегодня этого вдруг не было, словно Господь, наконец, до последнего его испытал, и оставил счастливым. В душе прояснело, сошло почти спокойствие. Вот, он заплатил Евдокии, а с нею и всем другим, мирскую свою лепту и останется отныне нерастрезоженным. Недавние мирские страсти, вернувшаяся было сожалеющая острая память о том, что осталось там, наверху, снова уступили привычному распорядку знакомых трудов и мыслей. Даже радость была — пришедшего, наконец, освобождения от утомительных земных печалей.

Он задремал, по обыкновению, сидя. Вдруг вспомнил, открыл глаза — погасить свечу, — "но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет". Исаакий привык к своей темноте, к шорохам — червей, улиток, корней, лягушек, полевых мышей. Отец Силуян так и не прошел сегодня мимо его кельи — или Исаакий не слышал, — и акафиста не пел.

И было что-то незнакомое в сегодняшней тишине, какое-то ожидание, томление. Будто где-то играла музыка, — далеко, глухо, — бубны и сопели. Место вдруг показалось ему странно просторно. Пахло лесом, травами, незнакомыми цветами. Исаакий порадовался милости Божьей, незримому утешению своей тесной кельи.

Он уже совсем было задремал, как вдруг в глаза ударил сильный свет. Такой сильный, будто засияло множество солнц. Стало больно не глазам даже, а векам. А музыка звучала еще громче, обволакивающе, слаше. Исаакий оглянулся вокруг себя в удивлении. Пещера оказалась огромной, и из непонятно дальнего ее конца шли к нему двое юношей в голубых одеждах. Красивые их лица, обрамленные тонкими бородами, светились радостью, в голубых глазах была ласка, но и печаль, словно над

его, Исаакия, добровольно выбранным жребием. Они подошли к нему, как подплыли, встали не близко, но и не далеко, сказали кротко: — Исаакий, мы — ангелы. А вот грядет к тебе сам Христос с прочим воинством небесным.

И точно, Исаакий увидел вдали приближающуюся к нему великолепную толпу. В середине шел некто, сиявший свьше других, с длинными волосами и в белой мантии. Лицо его было неслыханно прекрасно, только губы чуть кривы и немного толсты. Толпа шла к Исаакию, крича и указывая на человека в белых одеждах: — Исаакий, вот Христос, пади и поклонись ему! Пади и поклонись ему!

Пади и поклонись! — Отдавался этот крик в пещере многогласым эхом.

И Исаакий в этот миг ничего не вспомнил. Вдруг поднялась во всем его теле небывалая радость. Голова пошла кругом, будто он мгновенно опьянел, телу оказалось легко упасть на стертые колени, поклониться до земли, ликуя и благодаря за посещение Небесного Царя. А перекреститься забыл.

Только что пал он ниц, нестерпимый свет разом прекратился. Вокруг стало серо, тускло, но и не темно, а так, как бывает в самый хмурый, пасмурный день. Отовсюду потянуло холодом, пошли сквозняки, запахло паленой шерстью и противной трупной сладостью. Подняв голову с земли, Исаакий увидел себя окруженным сонмищем бесов. Все они тут были, какие ни на есть — и бесы огненные, и бесы воздушные — полуденные, и бесы земные, ставящие силки на охотников; и бесы водные, больше схожие с женщинами — из их числа были те двое юношей, что первыми приблизились к нему; и бесы подземные, самые гнусные видом, и иные бесчисленные из мадианитян, нечестивых духов блуда, лжи и студодояния, миродержателей сего века. А тот, кто явился обманно в белых одеждах, предстал теперь Исаакию в огненном, жарких цветов кафтане. Лицо его не переменилось, оставалось все так же прекрасно, лишь кривился рот в злорадном торжестве и презрении, и губы вдруг стали непомерно толсты.

А бесы, толпившиеся вокруг него и Исаакия, многие с заурядными человеческими лицами, но волчьими глазами, подняли великий крик, хлопая в поросшие даже изнутри

шерстью ладони: — Ты победил его, о Велиал, Князь Добродетелей! Ты победил его, о великолепный Вельзевул!

Исаакий как стоял, так и заплакал бессильно:

— Ты победил меня, отец лжи!

Бесы подхватили Исаакия подмышки, потому что от горя он мог вот-вот упасть, и повели безвольного, пустого к нише, которую он себе выдолбил для ночного дремотного бдения. Руки их были шершавы, холодны, мокры и цепки, а дыхание зловонно. И они приговаривали почти что ласково, высокими, блеющими голосами, будто нянчились с дитятей:

— Наш ты теперь, Исаакий! Вот ты теперь и наш!

— Он всегда был наш, — высокомерно засмеялся Вельзевул-Велиал. Бесы услужливо ему подхихикивали. Они посадили Исаакия, нахлобучили ему на голову шутовской колпак, расселись вокруг, вереща, готовясь к веселому действию. Тогда Вельзевул-Велиал повелительно сказал: — Возьмите сопели, бубны, гусли и тимпаны, сыграйте-ка дружно, как вы умеете, пусть нам Исаакий спляшет! А мы поглядим на его искусство! — И сел зрителем на притащенный из ниоткуда трон.

Бесы грянули в сопели, и в бубны, и в гусли, и в тимпаны, а те, что были к Исаакию ближе других, стали им забавляться: тянули с сиденья, приглашая пуститься в пляс, шекотали, пихали, портили воздух, мерзко обнимали, слюня и говоря всякий стыд.

Исаакий, и правда, вдруг пошел в пляс, ужасаясь себе, будто со стороны глядя на свое покорное чужой воле тело, на свои руки и ноги, дергавшиеся в гнусном, чужом, подневольном, издевательском танце. А вокруг скакали бесы в самозабвении и веселых трудах. И вдруг все смолкло, остановилось. Он упал на землю. Кругом оказалась тьма. И все глуше и глуше, теряясь в пустоте, звучал вдали презрительный смех.

К Покрову, к первой пороше, Евдокия вернулась домой, в Торжок, с обозом новгородских купцов. Выпал первый снег, мягкий и теплый. Нехотя начали вставать реки. Посветлели зайцы и белки, барсуки натаскали в свои норы сушеных лягушек, грибы, и все еще ворочались с боку на бок, часто просыпаясь и ворча. На голых ветках покраснели кисти рябины, а над ними хозяйничали снегири и свиристели.

В купеческом доме поселился дьячок со своим большим

семейством. Евдокия ничуть не возражала, по обыкновению, кланялась: — Ваше теперь все, добрые люди. Владейте на здоровье. Место это вымороченное, и моего тут ничего нет..

Сарайчик в дальнем углу двора, в котором попросила разрешения жить, она заткнула, как могла, мхом; леденеющими руками замазала растрескавшуюся печку. Дьячиха дала ей кое-какого тряпья на постель.

И жизнь началась снова. Дьячиха и попадья, по женскому любопытству, приступили было к Евдокии с расспросами об Исаакии, о Киеве. Но толкового ответа не встретили. Только и слышали от нее: — Все слава Богу, все хорошо. Он теперь Спасителю за нас молится. Киев же город истинно чудный. Всякой святыни и диковин в нем много, преизбыточно. Только я ничего этого не запомнила по бабьей глупости.

С тем ее и оставили в покое.

Набивались к Евдокии в мужья некоторые торопешкие бобыли. Она со всеми была вежлива, только всем одно твердила, глядя в сторону: — Недостойна я. Да и нечего за мной взять. Проживу сама со своими грехами, тихо.

Кот к ней знакомый пришел, что был у купеческой вдовы в небрежении. Она его не прогнала. У нее в сараюшке он старость свою прожил и смерть встретил. Ходила по людям, помогала, в чем просили, а ее благодарили всякой мелочью и хлебом. Лапти в дороге развалились, выходила Евдокия эту зиму в снег босая. Приезжали мирные черные клобуки, смеялись над ней, звали прокатиться, а она отказывалась. К весне разжилась цыплятами, развела огород, поставила по старой памяти два улья. И побежали годы один за другим — быстрые, частые, незаметные.

IV

Евдокия стала худенькая, совсем маленькая. В рваной каше-вейке, со сморщенным личиком; голова седая и покрыта шапочкой, той самой, что была ей подарена в Диком Поле недоуменным печенегом.

Об Исаакии Евдокия наяву вспоминала редко. В нехитрых своих молитвах просила о нем по-своему, как умела, а жила каждым днем и к нему довлеющими заботами. Однако, в первые

годы Исаакий часто являлся ей во сне, на что-то жаловался, нельзя было разобрать — на что. Вид имел хрупкий и запавшие глаза. После таких снов Евдокия во всякую погоду отправлялась на могилу его матери, просила: — Ты уж, Олексевна, за свое дитя там походатайствуй, чтоб ему со всем своим справиться. Я сама тоже молюсь, да кто меня, дуру, послушает.

Со временем эти сны прошли, а других не было, или Евдокия не помнила. И только через много лет был ей сон, будто въяве. И тогда Евдокия решила пойти в Киев. Видела она, как Марк-могильщик копает глубоко в пещере могилу, а сам постарел, пегий стал, голубые глаза затянуло белесой мутью. По двору же, а двор не монастырский, а материнский, купеческий, с крапивой и лебедой, ходит Исаакий, будто томится, через силу. А отовсюду, из-за всех углов, подглядывают за ним волчьи, настоженные глаза. И Марк говорит Исаакию: "Ты подожди, потомись еще. Тебе Евдокию повидать надо. Да и земля теперь мерзлая, твердая, быстро я не управлюсь".

Шла Евдокия в Киев одна, потому что мало чего теперь в жизни боялась. Взяла в котомку гостинцев — своего меду и сушеных прошлогодних грибов. В дороге радовалась всему: что рожь уродилась, что птички сладко поют, что лес ее ягодой балует. Проходила лугами, где стоял густой запах скошенного сена, а ночью горели костры вокруг таборов косцов. Проходя лесами и озерами, все же просила лесных дедушек и водяных старичков ее помиловать, не трогать, за нею присмотреть. Но и Заступницу тоже просила. А потом себя укоряла, что не преодолеть ей земного притяжения и страха смерти вовеки.

Она вышла на Семик, набрав одолень-траву — белую кувшинку, да еще полыни и лютика, — оберечь себя от русалочьих проказ. Но никто ее теперь не напугал — ни звери, ни люди, ни духи. Все держались как-то в стороне. Только на Купалу, уже недалеко от Киева, на заросшей иван-да-марьей опушке, где она собирала лютые коренья и злые былия от болезней и для здоровья, видела Евдокия, как начали переходить деревья с места на место, шумно вздыхая, в дубовом лесу. До того, в дневную жару, стояли они, будто в обмороке. А к полуночи вдруг стали двигаться. Однако, Евдокия не испугалась, только стала держаться ближе к воде, чтобы дубом или еще чем ее не задавило. А

река была в эту ночь подернута странным серебристым блеском. К утру Евдокия искупалась, чтобы встретить солнце во всей чистоте.

Шла Евдокия быстро. Хотя и стара стала, но на ноги по-прежнему легка. К Петрову дню, когда кукушка замолчала, Евдокия добралась до Киева. Придя в Печерск, помыкалась у пещер. Просила послушника сказать Марку-могильщику, что вот она, Евдокия, пришла, так чтобы он пожаловал, вышел; у нее с собою грибы сухие для братии и горшочек гречишного меду от своих пчел. А она его, Марка, давняя знакомая. Спросить Исаакия она не решилась, не зная ни его обстоятельств, ни жив ли он вообще.

За прошлые годы в монастыре многое переменялось. Вместо тына поставили крепкую стену, над оврагом построили монастырские кельи, подвели собор почти под крышу. Все вокруг него было в щелке и извести. Только Днепр и окрестные леса оставались прежними.

Марк вышел к ней такой, каким она его видела в своем сне. Они друг друга сразу узнали и долго кланялись. Евдокия отдала ему грибы и мед, и они сели разговаривать в тенечке у ворот. Марк справился о ее здоровье.

— Да я ничего, крепка еще, — отвечала Евдокия. — Оно, конечно, плохо, ежели пойдешь от себя в какой город, или чужое место, а смерть там накинется... Да сам-то ты как? Видела я тебя во сне, не ошиблась. — И солгала по-хорошему. — Оттого и пришла.

Марк покосился на нее недоверчиво. Но ничего не возразил. Глубоко вздохнул, расправил свои худые, теперь уже сгорбленные плечи:

— Да я ничего, волочусь покедова, общими молитвами и Божиим попущением. Мне покойный Антоний часто говаривал: "По грехам твоим давно бы пора тебе сгореть в геенне, да сердцем ты больно прост"...

— Какие же это у тебя грехи такие особенные? — удивилась Евдокия.

У нее сердце екнуло, когда услышала, что Антоний умер. А как же Исаакий? Только виду Евдокия не подала, сдержалась. Спросила:

— Ты вон, рассказывают, мертвыми повелеваешь. Ведь когда бывает много смирения, так оно тоже нехорошо, соблазнительно.

Ей хотелось спросить об Исаакии, но что-то ее удерживало. Стыд какой-то непонятный. А Марку сказала:

— Ты обратись со своей печалью к Богу, он Отец наш, все простит.

Марк заплакал: — Я ведь, тебе, Евдокия, в прошлый раз не сказал, какой страшный грех ношу на душе. Да один ли только... Убийца я, вот кто. Я жену свою за измену топором убил в молодые свои годы. А теперь живу и не знаю, — забыл — была ли то измена, или мне примерешилось сгоряча. Рубил я ее в палисаднике при церкви, она тогда от обедни только вышла. Рубил, а сам горько плакал. Потом покаялся — а меня никто не осуждал — и пришел к монахам. Сколько лет прошло, ничего этого не помнил, ни тела ее, ни крови, только свои слезы и обиду, а еще там, в палисаднике, сиреневый куст сильно цвел. Теперь вот старость настала, и как чем расстроюсь, тотчас ее вспомню. Она и не кричала совсем, так молчком и умерла, а глаза были удивленные, пока видела белый свет. Ты теперь со своим пришла, я тебе несказанно рад, а тотчас ее вспомнил. И чего я ее вспоминаю-то? Сам-то верен ей не был, спал с кем получится, а больше отроков любил, окаянный.

С Марковой бороды на холщовый подрясник капали крупные слезы. Он не смотрел на Евдокию, совсем ссутулился, стал очень старый. Евдокия не нашлась, что сказать. Жалко ей было Марка очень. Наконец, вспомнила:

— Слышал, наверное, как в церкви поют: "Кая житейская сладость пребывает непричастна печали!"? Всяк свою ношу на себе тащит. Я же думаю, что от людей ты давно прощен, да, наверное, и от Бога. Хотя этого нам теперь никак не знать.

— Я не прощения хочу, а чтобы памяти стыдной не было. — Марк еще раз-другой всхлипнул и стал успокаиваться. Посидели они, помолчали. И Евдокия начала издалека:

— А как все прочие в вашей обители? Бодрствуют?

— Все слава Богу, все ничего. Никон ушел за море. Великий Антоний умер прошлым летом, а прочие все покуда здравствуют. — Марк посмотрел на Евдокию прежним, с хитрецей,

глазом. — Ты уж больно-то не лукавствуй, сама ведь сердцем проста. Чувствую, чего ты хочешь знать. Ты ведь Исаакия пришла проводить, не меня. Что уж темнить. Вот только признает ли он тебя, он у нас с некоторых пор юродствовать начал.

Евдокия потупилась, будто ее застали в чем-то нехорошем, сквозь старую кожу проступил румянец.

— Ну, слушай, — начал Марк. — На другой день, или на третий, как ты из монастыря ушла, сейчас точно не скажу, покойный Антоний подошел к Исаакиеву оконцу — снабдить его ежедневной пищей. Позвал по обыкновению, как у нас зовут: "Благослови, отче Исаакие!". Только ответа не услышал. Опять позвал, а не было слышно из кельи ничего — ни гласа, ни послушания. Антоний заплакал и сказал себе: "Вот он уже и умер, наш Исаакий". Встретил он меня, послал наверх в монастырь за Феодосием и братией. Вернулись мы все вместе с пещеры, тоже плачем; хотели отворить дверь, а проход засыпан землей чуть не доверху. Отрыли мы все же землю, подняли Исаакия на рамена, а он холодный. Запели было: "Святый Боже, святой крепкий", но Антоний нас остановил, велел вынести Исаакия перед пещеры на Божий свет. Тут только разглядели, что он еле дышит, но еще жив. Феодосий тоже всплакнул — "Случилось это, наверное, от бесовского действия. Одолели-таки Исаакия поднебесные духи злобы". Антоний тогда, помнится, сказал: "Болезнь — честь твари, желающей оставаться при себе". Никон, который тоже среди нас был, восхитился: "Я твои слова в летопись занесу". Никон ходил вокруг Исаакия, смотрел на него и так и эдак, а Исаакий лежал, что твой покойник — борода чем-то опалена, власяница прожжена во многих местах. Некоторые из братии стали шептаться; как знать, может, и не бесов, а ангелов Исаакий сподобился видеть. Тогда Никон заметил им нравоучительно: "Блаженны те, кто непрестанно видят грех свой". Губами пожевал и добавил: "Вот что бывает тому, кто мнением мечтает высокого достигнуть". И ушел к себе. А мы все Исаакия жалели и много плакали.

Сначала Антоний держал Исаакия в своей келье и во всем ему прислуживал. А потом, когда опять ушел от княжеских гонений на Болдины горы, в Чернигов, Исаакия взял к себе Феодосий. Просто передать трудно, до чего тогда Исаакий был сильно

расслаблен и умом и телом. Не мог ни встать, ни сесть, ни даже сам повернуться с боку на бок. Лежал он кротко, ходил под себя, пролежни у него тогда завелись, черви от мочения под бедрами копошились, и смрад испускал нестерпимый. Один Феодосий терпел — сам его обмывал, обтирал, кормил кашей, день и ночь над ним молился, и никому другому не доверял.

Так Исаакий и пролежал у нас, глух и нем, года два. А на третий год встал и заговорил. Мы уже в эдакое чудо и верили, и не верили.

Только ходил он по земле, как годовалое дитя. И речь у него была такая же, ребячья, сущий лепет. В церковь идти не хотел, упирался изо всех сил — глаза у него тогда наливались кровью, а изо рта шла пена. Мы его туда силой притаскивали. Бес в нем был и кричал, сопротивлялся. Со временем, однако, стал понемногу ослабевать, и, видно, под конец совсем вышел вон. В церкви Исаакий стал всему младенчески так, лучезарно улыбаться, плакал часто. А все равно был странен.

Стал ходить он и к общей трапезе. Там Феодосий велел сажать его от братии отдельно. Поставят, бывало, перед ним хлеб или чечевицу, а он сам не берет, все ждет, когда его накормят, в руки вложат. В такой кротости Феодосий распознал еще одно бесовское пронырство. И велел — пускай сам ест. Плакал Исаакий — или бес в нем плакал — не знаю. Неделью крошки в рот не брал. А потом отпустил его бес, стал сам есть, понемногу. Сказать затрудняюсь, как мы радовались его исцелению.

Только в пещере Исаакий больше не затворялся. "Вон где, — говорил, — прельстил меня дьявол, в темной пещере, где я один сидел безвылазно. Одержу я теперь над ним победу, буду ходить по земле". Только стал он теперь какой-то чудной, — юродствует преизбыточно, иногда подумаешь, — может, и не в меру. У нас тут последнее время много ворон развелось. Летают черные, большие, пугают. У Исаакия с одними воронами дружба, а с другими вражда. Он один только их различить и может.

Был он как-то на поварне, а поварята, из послушников, стали над ним насмехаться. Прилетели тут вороны, чего поклевать из кухонных отбросов. Один поваренок возьми и скажи Исаакию шуткой: "Вон там сидит ворон, видишь? Ступай, Исаакий, возьми его и принеси сюда". И точно, взял Исаакий

ворона и принес на поварню. Посадил себе на плечо. Ворон у него на плече сидит спокойно, а Исаакий с ним разговаривает. Глаз у ворона черный, блестящий, а перья и того чернее, до синевы. Послушники на поварне очень испугались, просили Исаакия помиловать, отпустить ворона восвояси.

И еще я тебе расскажу. Была у нас избушка у пещер, ветхая такая, вроде баньки. Поздно было, проходил я мимо. Вижу, из печных щелей так и пышет пламенем. Хотел я бежать, бить в набат, но тут заметил, что пламя стало убавляться. Вошел в избушку, гляжу — стоит Исаакий на печи, на огне, босыми ногами. Увидел меня, сказал жалобно: "Прости, Марк, я по глупости своей печь разжег, а не нашел, чем заложить щели-то". Так он и простоял на огне, пока печь не прогорела. Истинно, пребывал в пламени, как в росе. Хотя Исаакий просил меня об этом случае никому не говорить, сказал я все же Феодосию. А он на это заметил: "Тех, кого постыдился огонь, как тление коснется?"

Однако, многие из братии над Исаакием смеются за его юродство. Иной раз до того он бывает несносен, что согрешешь, обругаешь. А он этому и рад. Бросается целовать ноги, благодарит. "Не желаю, говорит, человеческой славы, потому что очень ее боюсь". Когда в плотницкой работает, приказывает бесам бревна в гору таскать, а когда на мельнице несет послушание, они у него муку мелют. Сам видел и слышал, как бесы под его началом, хотя и всеми своими составами недовольно скрежещут, а бревна безропотно несут и жернова ворочают до утра. Я Исаакию открылся, сказал, что знаю про его чудеса, а он мне в ответ: "Полно, отче Марк. Господь сказал: "Не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, но радуйтесь больше, что имена ваши написаны на небесах". — А как знать, где чьи имена написаны? — А потом вдруг на меня как закричит, затопает ногами: "Примерешилось все тебе, примерешилось, вон отсюда!"

Рассказ Марка был долгий, а день жаркий. Евдокия ничему не удивилась, про себя тихо порадовалась, что Исаакий покуда жив. Ей захотелось пить, и Марк пошел на родник за водой. Тем временем на постройку вернулись мастера, застучали долотами, закопошились у ямы с известкой. Солнце ушло далеко на Запад, повсюду легли длинные прохладные тени. Евдокия вдруг услышала над собою страшный крик, воронье карканье, хлопотанье

крыльев. Она подняла голову и увидела кружащуюся над площадью стаю воронов, а в середине стаи был человек. Они его клевали на лету, а он отбивался палкой. Все, как были, спустились на площадь, сгрудились в черный, неразличимый комок над лежащим на земле человеком. А он продолжал бить воронье палкой и на земле. Наконец, вороны недовольно разлетелись, расселись, каркая, по деревьям, по крышам, по куполам. Человек поднялся с земли, отряхнулся от перьев и пыли, пригрозил им палкой: — У, проклятые, разлетелись!

Соборные строители радостно закричали:

— Вот и Исаакий к нам пожаловал! Господи благослови, отче Исаакие! Дурак Исаакий нас теперь потешит, работать будет веселее.

Исаакий задрал к лесам голову, пригрозил строителям палкой: — Чего напрасно мечетесь, люди? Душевную храмину созидать надо, а не земную! — Был он во власянице; поверх надета свита из голубой ткани, хотя день стоял жаркий, а на голове — то ли колпак, то ли шапочка, почти такая, как у Евдокии. Волос у него стал совсем седой, рот запал, а глаз Евдокия сразу не разглядела.

Она подошла к нему тихо, сгорбившись. Позвала: — Здравствуй, Исаакий! Это я, Евдокия.

Вернулся Марк с водой, но к ним не подошел, встал поодаль. Исаакий снял с головы свой колпак, опустил перед Евдокией на колени, сказал:

— Царствие тебе небесное, раба Божия!

Он поднял к ней свои голубые, безо всякой старческой мути, глаза. Не было в них ни дряхлости, ни юродства, ни безумства никакого, а были это прежние его, Вани, глаза, какими он смотрел на нее давно, в Торопецком пригородке, когда она сидела на лавочке таким же теплым летним вечером, а он подъехал на белом своем коне. Только все это теперь не нужно было, память эта, ни к чему.

— Исаакий, как ныне в Боге живешь? — спросила Евдокия, отвернувшись и тряпицей подобрала грешную слезу. — Мне Марк о тебе рассказал, какое с тобой приключилось испытание.

— Укрепился я теперь на врагов, и узнал их проницательство, — воинственно сказал Исаакий. И вдруг обратился, совсем уже в

гневе, к кому-то, видимому только ему одному: — Брысь отсюдова! Не ваш я теперь и вашим больше веки не буду! Ваш князь бесовский — Вельзевул, что значит — идол мух! Брысь! Я его не боюсь ничуть, а вменяю себе, как муху!

Строители услышали его крики, и один, гладкий, молодой, прокричал Исаакию со стены, будто шуткой, а и с угрозой: — Берегись, Исаакий! Как бы тебе опять по бесовскому действию не затужить!

— Я теперь до самой смерти веселый ходить буду! — отвечал Исаакий. — Теперь я буду настороже! Не боюсь я Вельзевула, вашего мушиного идола. А вас, его рабов, не боюсь и подавно. Вас Господь с неба сверг и на попрание своим угодникам предал!

И опять пригрозил палкой — и строителям, и воронам. Со стен смеялись озорно, чуть покорно. Исаакий, обратясь к Евдокии, строго сказал: — Часто ты тут бывать стала. Смущаешь. А какой такой перевозчик тебя сюда возит? Архангел Михайло, наверное? — И добавил, еще сердитее: — Много вас тут разных ходит. Кто святой, кто грешный, как разберешь?

Евдокия оробела ужасно, только повторяла:

— Виновата, батюшка, виновата.

Исаакий замер на месте, словно к чему-то в себе прислушиваясь, а потом закружился на площади, запел:

— И я буду общинник мудрым девам со светлою свечою души моей!

В воротах показались дети в чернецких одеждах, лет пяти-шести, не больше, но много их было, целое воинство. Шли они важно и торжественно, наверное, к вечерне, как раз начали благовестить. Исаакий подбежал к ним, волоча за собой палку: — А вот и ангелы мои пришли! Радости мои пожаловали! — Евдокии сказал: — Отойди от меня, потому что занят. Приходи завтра, коли хочешь.

— Что же ты его не образумила, не пристыдила? — спросил Евдокию Марк. — Ради него вон какой путь отмахала!

И Евдокия ему ответила: — Да надо ли человека уговаривать в разум войти? Ведь мы-то сами грешные. Исаакий, сам видишь, теперь больше с ангелами, или с детьми, или не знаю еще с кем, сообщается. Мы ему одна помеха.

Следующий день выдался серенький, дождливый, прохладный. Евдокия увидела Исаакия издали. Он сидел на корточках у монастырских ворот под навесом и напряженно глядел на дорогу. Узнал ее, замахал обеими руками:

— Окажи милость, присядь здесь со мной!

Евдокия села рядом на колоду, расправила на коленях длинную юбку, руки сложила вместе.

Ты меня прости, Евдокия, я тебя вчера плохо принял, — сказал Исаакий.

— Это ничего, — ответила Евдокия. — Это все от мнения. Мнение иной раз такое бывает у человека в голове. Я не сержусь.

Исаакий вздохнул.

— Спасибо... Ты вот попробуй, обмакни руку-то хоть по локоть в ад, почувствуй, как жжет. — Он закрыл лицо руками. — А я там был, и не день, и не два. По сей день все еще нет покоя. Днем я по земле хожу, по воле Божьей летаю иногда, а ночью в пещеру спускаюсь, в ту самую, где меня Вельзевул соблазнил. Другое имя его — Велиал. От строптивости, может быть, и чтобы в себе большей крепости достичь. Иногда всю ночь, как прежде, подремлю сидя, и ничего, спокойно. А иногда проснусь от шума. Будто рабочие какие-то пришли — с кирками, с заступами. А какие они там рабочие, я-то знаю, что они бесы! Притворяются благожелателями, говорят: "Ушел бы ты лучше отсюда, Исаакий, подобра-поздорову! Мы-то тебя любим, желаем тебе добра, а другие есть такие, они тебя хотят закопать живьем в землю". Я им в ответ кричу, никто меня не слышит, одно эхо ночное: "Если бы вы были люди, приходили бы днем, при свете. Но как вы есть тьма, вот и шныряете во тьме". Ночь пройдет, а я все с ними препираюсь. Бывает, слышу, а видеть не вижу, между собой переговариваются: "Раскопаем его пещеру!" А кто-то издали будто кричит: "Беги, Исаакий, хотят тебя засыпать!". Или еще что-нибудь похожее кричат, как вчера днем кричали. Слава Богу, ты их не видела, бесов. Образом они уж больно гнусны. А то пристают, глумливо, издевательски: "Наш ты, Исаакий! Конечно, ты наш, потому что поклонился нашему князю и нам!" Я им на это отвечаю: "Давно я не ваш. Ваш старейшина — антихрист, а вы — бесы". Им это не нравится. Днем обернутся в ворон, в строителей — сама одного вчера,

наверное, слышала. А ночью заползут, как змеи, или прискачут сквозь щели, будто они жабы или мыши. Я им говорю: "Ага, вот вы когда мне являетесь в настоящем виде!" Они стесняются, что узнаны, и ползут прочь. Те, кто работает у меня на мельнице или в плотницкой, тоже отменно хитры. Сделают вид, что покорились. А все еще пытаются соблазнить меня гордостью. Возьмутся причитать: "О, Исаакий! Ты победил нас!". Бывает, что голова закружится, ведь слаб человек на бесовскую лесть, и потеряешь над ними бдение. Глядишь, они тотчас и сотворят какую-нибудь пакость...

Исаакий теперь уже не сидел на корточках, а стоял, сгорбленный, никому не страшный, опираясь о свою палку. Дождь мелкий пошел, с Днестра сильно дуло. С Севера неслись тяжелые низкие облака. Евдокия всё ждала, что он спросит ее о Торопце, о тех, кого знал там, о родительских могилах, о ней, Евдокии, и как она все эти годы жила.

— А ты — мудрая, — вдруг сказал ей Исаакий. — Мне до тебя не дотянуться с бесовской моей мастью.

Евдокия застыдилась, потупилась:

— Какая же я мудрая? Зажилась. Захлопоталась, и бодрствовать над собой перестала.

Она было собралась с духом, чтобы ему рассказать, как жила все эти годы. Оглянулась, а Исаакия рядом не было. И вдруг услышала его голос с надвратной колокольни:

— Прощай, Евдокия! Там свидимся, ежели Ему угодно будет. А матушкиной могилке поклонись, если сама-то дойдешь! Прощай! Помолись за мою душу, когда она полетит по небесным мытарствам.

— Как же я знать-то буду? — спросила Евдокия.

— Да уж тогда узнаешь как-нибудь. Прощай!

Евдокия встала и пошла от монастыря прочь. Шла она под гору быстро. Перед тем, как монастырю совсем пропасть из виду, оглянулась и увидела Исаакия. Он так и остался сидеть на колокольне, свесив вниз худые ноги. Вокруг него вились вороны и галки, а в воротах стоял Марк-могильщик, и, как показалось Евдокии, плакал.

— Вот мы свое с тобой и наговорили, Исаакий, — сказала себе Евдокия. — Теперь будем умирать по присущим нам углам.

Готовиться.

И еще сколько-то лет прошло. Наступила для Евдокии последняя, с птицами и лужами, весна. После всех отзимок выползла она, наконец, на свет, на веселое белое солнце. Было тепло, уже шука давно на озере лед хвостом разбила. Береза закапала соком, запыхлил орешник и отцвела ольха. По привычке, как в прошлые годы, Евдокия отобрала репу на семена. Она теперь часто засыпала где придется, хотя спала помалу. В легких старых снах часто видела своих — мужа, свекра, свекровь, Олексвну, даже родителей, а прежде, в молодые годы, даже не помнила их вовсе. Значит, ее там ждали.

Перед поздней в этом году Пасхой поставила на печку тесто на куличи. А в самое Светлое Воскресенье там же, на печке, в старом малахее вывелись цыплята, запищали. Она им порадовалась, но и погоревала: "С кем-то вы останетесь?". Сил у нее с каждым днем становилось все меньше.

На Егория проснулась рано. Вышла во двор умыться — и увидела среди зазеленевших лиственниц белую лошадь, а на ней воина в багряном плаще — не близко и не далеко. По обеим сторонам шли мирные, облезлые весенние волки. "Вот и Егорий пожаловал, волчий пастырь", — порадовалась Евдокия, словно его приход давал ей отпуск на вечное лето.

Прилетел одинокий стриж, долго вился над трубой. Евдокия напугалась. Чего же он один? Стриж залетел в ее жилье, бился о стены, об низкий потолок и, наконец, замер в пучках донника и мяты. Евдокия полезла за ним — освободить и приняла на руки маленькое, еще теплое тельце. От суеты с птицей Евдокия устала, задремала. И в легком сне увидела Антония, Никона, Феодосия, Марка, — старых, плешивых, в заплатанных рясах. Они обступили кого-то, кого, за их спинами Евдокии было не увидеть, но она знала, что это Исаакий. Где-то трещали в смятении кусты и горько рыдал ад, так что всем слышно было. Евдокия встала на цыпочки за спинами монахов, ничего опять не увидела и спросила: "Где ты, Исаакий?". И он ей ответил: "Предстою суду". Евдокия засуетилась, заспешила и попросила его, вдогонку: "Ты меня маленько подожди".

И не проснулась больше. В холодных ее ладонях лежал мертвый стриж, а кругом пищали цыплята в желтом пуху.

*Юрий Кашкар*ов

СОШЕСТВИЕ ВО АД

Мир — это весть. Но весь
иссяк и вытек смысл из букв тощих...
Путь — луза мрачная — куда? Невесть.
А истина — в кровавых многоточьях.

И не сложилась жизнь.

Её Хозяин и Источник
громадно выдохнул Себя чрез толщи
заматерелые — материальной лжи.

И тут — расселся грунт.
Ткань лопнула, натянута на тябла
в соседней хранине, враспах и вдруг.
Ткни, и — насквозь: так вещество ослабло.

Когда изъята ось —
какая верть и твердь — не дрябла?

Обручено безлюбо, безобрядно,
пространство с временем в три днєви разошлось.

И рухнул Бог и Дух.

Лишь крохотный, лишь болевой росточек
под плащаницею на Сердце вспух...
Так началась работа этой ночи:

сошествие во Ад.

В ту пазуху (быть может: точку),
где вход в Ничто, что болью был проточен,
и ужасом заляпан и объят.

Туда, в голодный нуль,
в заглот, за житом бывше-человечьим

нас, гиблых, ради — Он Себя вомкнул,
а нам утраты и оплакать нечем:

всерьёз бесслёзносерд
весь этот свет. А тот — сердечен?

— Удавкой время обесконечен,
в мешке пространства коротает смерть.

Да как же смерть — терпеть?!

Всей верой, всем соборно-главым телом
В Страстную эту Пятницу, теперь,
вцепиться в Бога — вот что можно сделать!

И — нервы — не в расплёт,
и — вместе — ребряные стены,
и тернии внахлёт, и средостенья
лимф ледяных — зовут в единый сплот!

С колоколами — в сплав!

Мы храмовый народ, Ему подмога —
из наших пульсов, пущенных стремглав,
из кровавых телец воскнем Бога.

Исчезнем вольно в Нём.

Рискнём ничем — воздастся много...

Ведь Он и мёртвый: весь о нас тревога;
в трудах о нас: и в смерти Он живём.

Ужо — узнаем там,
в том свинском тупике, в мясном забое,
где дальше мрёт всечеловечий хлам,
где стон и визг, и скрежеты зубовны, —

что мирозданья срам —
весь — упряднён и обездолен,
благоразумный вознесён разбойник
с Христом — туда — в пасхальный Первохрам...

— И ты — домой, Адам!

Дмитрий Бобышев

ДЖОН ДОНН
"ИЗ БЛАГОЧЕСТИВЫХ СОНЕТОВ"

V

Я — малая вселенная; искусно
Я приготовлен из земных веществ
И умиления ангельских торжеств,
Но есть изъян от грешного укуса,
И вынужден я в смерть, туда, где пусто,
Увы, развеять всю живую смесь.
Вы, обитальцы занебесных мест!
Надмирно вы взираете, как ткутся
Дни человечьи, (о!) как рвётся нить,
Как взгляды воспаляются от горя;
Дабы оплакать мир, сумейте влить
В мои глаза по крайней мере море.
Не трогай землю, Господи, огнём.
Жги лишь меня. Я счастлив буду в нём.

VI

Здесь мой финал, и здесь последних странствий
С последних сил наипоследний путь;
Последний шаг осталось мне шагнуть,
И точка. И рассеюсь я в пространстве...
Смерть моментально выключает страсти,
От воплощения отбывает суть;
Но напоследок должен я прильнуть
Лицом к лицу строжайшей жуткой власти:
Когда сумел разять меня твой меч
И вечную оставить половину,
Смоги и в ней зло от добра отсечь,
Очисти меня — спокойно я покину
И эту жизнь, о жизни не скорбя,
И дьявола, и самого себя.

VII

У выпуклой земли на каждой грани
По ангелу с трубой — поют, поют;
Встаёт и воскресает мёртвый люд,
и души входят в плоти через раны.
Закон иль беззаконие тирана,
Война ли, случай, старость или труд
Убили их. И вас, кто правит суд,
Кто Бога созерцает невозбранно.
Всех упокой; но и оплакать всех
Здесь, в этой жизни разреши мне, Боже, —
Там будет не отмыть весь общий грех,
А мне ль не ведать, чья в нём доля больше.
Здесь покаянье дай. Во мне оно
Твоею Кровью преосуществлено.

Перевел Д. Бобышев

КИЗИЛОВОЕ ДЕРЕВО

(Из жизни "любимчика")

8. Идеалисты

А в это время суровые санаторские воспитательницы, товарищ Сима и товарищ Ляля, коротко стриженные и с закушенными в зубах папиросами, нервничали и суетились:

— Куда их помещать, бандитов этих? Места есть только в женском корпусе. Хулиганов, уличных мальчишек — к девочкам? Ни за что!

Увидев худые, согнутые фигуры "бандитов и хулиганов" в возрасте от восьми до двенадцати лет, воспитательницы умолкли. Но все-таки после короткого совещания перед строем новых подопечных, решили разместить детдомовских детей на первом этаже, а санаторских — на втором.

— И чтобы ни один детдомовец не поднимался наверх, к домашним девочкам!

— Нужны нам ваши девочки! — вяло огрызались детдомовцы. — Они у вас похлеще мальчиков!

Замечание было отчасти справедливо. Санаторские девчата не смущались. Некоторые из них сразу же окружили детдомовских мальчишек, а другие — их воспитательницу, и весело кричали:

— Роза Михайловна! Это все ваши, да? Ой, сколько у вас симпатичных мальчиков! И почему это все красивые ребята в детдом попадают?

Роза Михайловна в ответ улыбалась, но суровая товарищ Ляля, прикрикнув на девочек, отогнала их.

Товарищ Ляля напрасно волновалась за своих девочек, подозревая в дружбе с младшими детдомовцами угрозу для их нравственности. Все детдомовские ребята прошли через приют,

где группы младших мальчиков жили в женских корпусах. Трудно понять, чем руководились педагоги, составляя подобные смешанные группы. Возможно, стремлением уберечь малышей от дурного влияния старших; может быть, надеждой, что девочки, повинаясь женскому инстинкту, будут их опекать; а может, просто приют был перегружен и в нем постоянно не хватало мест. Во всяком случае, малыши играли в общей комнате женского корпуса, спали в одной спальне с девочками, вместе с ними мылись в бане.

Худшего придумать было нельзя. Несовершеннолетние проститутки ругались матом, сводили личные счеты, до хрипоты спорили о том, кто из них "настоящая босячка" и, зажав в кулаке скрученный подол казенной юбки, отмеривали, у кого какой... из их знакомых мальчиков. Под разухабистый напев блатной песни юные "марухи"*, стоя под душем, отмывали в присутствии малышей свои изукрашенные татуировкой худые тела.

Малыши получали здесь первые сведения о взаимоотношении полов. Эти сведения были настолько непривлекательны, что поневоле вызывали у детей внутреннее отталкивание. У наиболее чувствительных заходило так глубоко, что формировало от противного свои оригинальные идеалы взаимоотношений между двумя половинами рода человеческого. Не имея нормального, здорового представления о половой жизни и отталкивая от себя грязную действительность, ребята мечтали о том, как они вырастут, найдут хорошую девушку и, в знак великой и чистой любви, пальцем ее не тронут. Некоторые из них были уверены, что "настоящие люди", т. е. коммунисты, а в частности, все члены ЦК, женщин не знают. Разговоры об этом велись иногда между друзьями в минуты особой душевной близости.

9. "Мараха"

В тот год Славка в санаторий не попал. Шло время, а он все еще медленно, с трудом вращался в детдомовскую жизнь. Было бы ему намного труднее, если бы не дружба с Паном. Веселый, разбитной Витька Панов во-время остерегал его от неосторож-

*"Маруха" — подруга блатного, его сожительница.

ных шагов, разъяснял тонкости взаимоотношений между различными кастами, учил вступать в сделки так, чтобы не обманули. Сам он то попрошайничал, то воровал, чтобы принести кусочек, который они вместе съедали. Казалось, что все шло хорошо, и Славка уже не плакал потихоньку ночами.

Тревожило одно: ему казалось, что его отношения с Паном постепенно становились чуть-чуть иными, чем были вначале. В последнее время Пан часто был недоволен Славкой, и Славка чувствовал, что они не всегда понимают друг друга.

Пан часто и удачно играл, но Славке принимать участие в играх не разрешал. Бывало, что друзья ели по две пайки хлеба, бывали случаи, когда ели одну пайку на двоих или сидели совсем без хлеба, если решали "сброситься" и быстрее отдать долг. Но настоящей страстью Пана была "мараха"* , что в данном случае означало набег на сады. На мараху ходил и Славка.

Нет, это не было обычной ночной вылазкой в сад, когда при первой опасности все бегут. На мараху ходили порой и среди бела дня. Человек пять-десять сидели на деревьях и спокойно рвали фрукты. Между ними и забором в две цепи выстраивались их товарищи. Третья группа ждала за забором. При появлении хозяев ребята из первой цепи запускали руки за пазуху и, вытащив оттуда увесистые булыжники, отбивались от хозяев. Пацаны, сидящие на деревьях, прыгивали и бежали к забору. После того, как у первой цепи кончались "боеприпасы", в дело вступала вторая цепь, а первая организованно отступала. Когда все покидали враждебную территорию и были вне досягаемости хозяев, последний залп давали из-за забора.

Хозяева с ушибами и разбитыми лицами приходили жаловаться дирекции. Делался повальный обыск, но ни у кого ничего не находили, потому что фрукты были спрятаны в скалах. Так как хозяева никого не поймали и не могли предъявить вещественных доказательств в виде кепок или пиджаков с казенными печатями, директор разводил руками: "Это не наши!". Действительно, в городе было восемь детских домов — поди докажи, что налетчики именно из этого дома.

Наступала ночь и участники набега обжирались

*"Мараха" — налёт, групповая кража (жаргон).

краденными фруктами. Их было так много, что доставалось всем. А утром, во время подъема воспитатель ходил по сломанным веткам и огрызкам, и Славка видел, как взрослый дядя прячет глаза и делает вид, что ничего не замечает.

А бывало и другое. На следующий день или два-три дня спустя, проходя мимо двора с изломанным и опустошенным садом, ребята ощущали запах свежее испеченного хлеба. Это хозяйка, пожилая азербайджанка, пекла чурек в земляной печитондире. Подняв потное, покрасневшее от жара лицо, она внимательно оглядывала маленькие фигуры, стоявшие за невысоким, сложенным из дикого камня забором. С трудом разогнув натруженную спину, женщина поднималась и, захватив пару лепешек, медленно шла к забору:

— Бура гяль, бала! Ала, е!* — раздавался ее тихий голос. Схватив лепешку, не смея поднять глаз, Славка бормотал: "Саг, ол!"** и опрометью бежал от забора. Он как должное принял бы, если бы хозяйка закричала и прогнала детдомовцев прочь от ворот. Но она оделяла хлебом и тех, кто еще недавно бросал камни в ее мужа и сына.

Славке было стыдно. Осторожно попытался он поделиться своими чувствами с Паном, но тот его не понял. Во-первых, Пан был менее шепетилен в таких делах, а во-вторых, он всегда находил примеры, которые начисто отрицали однозначность подхода к нравственным проблемам. Вот и сейчас он огрызнулся: "Стыдно тебе? Ничего, не всегда они такие добренькие. Помнишь, как тогда — с картошкой? Ну, в ущелье?"

Славка помнил. Неподалеку от городка, по другую сторону ущелья, находился сравнительно благополучный по тем временам армянский колхоз. С жителями этого горного села у ребят завязалась своеобразная дружба. Колхозники охотно принимали их у себя и разрешали им посещать уже убранные сады и огороды. В садах ребята собирали оставленные хозяевами кривобокие, побитые паршой яблоки и груши, на огородах — остатки овощей и мелкую картошку. Ходили они также в тутовые рощи. Тутовая ягода, или "тут", поспевает неравно-

*Иди сюда, мальчик! На, ешь! (азерб.).

**Спасибо! (азерб.).

мерно. Обычно первые крупные ягоды шли на продажу, сушку и выгонку крепкой тутовой водки. Оставшуюся часть ягод, поспевающих позднее и более мелких, собирать было невыгодно, и ее отдавали детдомовцам с одной просьбой: веток не ломать! Ребята знали, что кроме ягод дерево дает еще и листья для выкормки шелковичных червей.

В один из воскресных дней детдомовцы пошли на речку. Было еще рано, река, бегущая с ледника, обжигала холодом, и лишь немногие смельчаки решались войти в воду. Вода нагревается только где-то к полудню и будет теплой до вечера. А сейчас на речке делать было нечего, и кто-то предложил пойти в колхоз, в гости.

Пройдя через живописный старый мост и миновав разрушенную когда-то землетрясением деревню, ребята поднялись на плато. В колхозе их встретили как обычно. Ребята рассыпались по садам и полю. Но старшим пацанам показалось глупым копать в земле, выбирая мелкую картошку, когда рядом, под навесом, стоят мешки с крупной, отборной. Они разобрали по майкам два мешка картошки, сняли с веревки низку листового табака-самосада и тронулись в обратный путь.

В распадках гор, на узких лоскутках земли, где не пройдут ни трактор, ни жнейка, бригада колхозников серпами убирала низкорослый ячмень. У края поля в кучу были свалены пиджаки жнецов и сумки с их завтраками. Прихватив мимоходом сумки, а заодно и одежду, детдомовцы спустились к реке.

На берегу реки вспыхнули костры, в которых пеклась картошка. Утолив первый голод содержимым сумок, старшие задымили самосадам, а младшие, весело вереща, полезли в воду.

Сигнал тревоги был подан слишком поздно и застал ребят врасплох. Около десятка колхозников, вооружившись тяжелыми дубинками-чомахами, не поленились спуститься в ущелье, чтобы свести счеты со своими недавними друзьями.

Колхозники разбились на две неравные группы: большая пересекла мост и двигалась тропой по левому берегу, меньшая, прыгая с валуна на валун и преодолевая бурное течение, шла прямо к реке.

Уходить было поздно. В тылу была одна узенькая тропинка, ребят было много и среди них — более половины

малышей. Среди маленьких вспыхнула паника. С жалобным плачем и истерическими криками, оставив одежду, они толпой бросились бежать. На тропинке возник затор.

Старшие ребята могли уйти легко, но надо было спасать малышей, и здесь Славка впервые увидел во всей красе военную организацию детдомовцев.

Берег реки был усыпан крупными валунами и обломками скал, так что подходящих камней под руками не было. Пацаны разбились на три группы: первая бросилась искать и собирать камни, вторая тем временем подносила бойцам горящие головни из костров и сырую картошку, а третья наводила порядок в тылу среди малышей.

Над ушьем поплыли дым от гаснувших, развороченных костров, замысловатая ругань на нескольких языках, дикие вопли старших и отчаянный плач малышей. Пролилась первая кровь.

Размахивая длинными чомахами, колхозники медленно продвигались вперед. Ребята видели, что по склону ушьа спускается подкрепление врагам.

Славка, как младший, участия в битве не принимал. Но, не в пример другим малышам, он не бросил своей одежды. Сейчас он стоял одетый у края тропы, крепко зажав подмышкой узел с одеждой Пана. Пан, голый, в чем мать родила, принял азартное участие в схватке.

— Ну, что там? Голож... все ушли? — раздался крик одного из старших.

Нет! Еще немного! — ответил Славка.

— Все, пацаны! Хана! Рвем! — слышались крики.

— Уходи! Уходи! — пронесся по берегу пронзительный крик Пана. Славка понял, что это относится к нему.

Когда последний малыш мелькнул за поворотом, на тропу бросились старшие. Славка успел сделать всего несколько шагов, когда краем глаза заметил летящую в воздухе дубинку. Увернувшись от удара, он прыгнул вниз, на остатки старой, размытой дождями тропы, оттолкнулся обеими ногами от глиняного выступа, который тут же обрушился у него под ногами, перелетел через широкую щель в скале и по осыпи мелкого щебня въехал в речку.

Через минуту быстрое течение выбросило его, мокрого и дрожащего, на правый берег.

10. Мойка открыта

Однажды Пан взял Славку на "мойку", то есть на кражу. "Мойка" была открыта. В детдоме воровство у своих товарищей строго пресекалось. Но были периоды, когда в коллективе заводился ловкий вор, которого долгое время не могли поймать. Раздражение, вызванное частыми пропажами, как мелкими, так и крупными, требовало выхода. Тогда поднимался кто-нибудь в классе и объявлял: "Мойка открыта!" Это означало, что можно было красть всё и у всех. Если вора хватили за руку, его не били, а просто отбирали украденную вещь. Этот период узаконенного воровства мог продолжаться несколько дней. Наконец, это надоедало, и тогда объявлялось: "Мойка закрыта!" Опять в силу вступали законы, преследующие воровство у своих.

В один из таких периодов открытой мойки, проснувшись и обнаружив, что из его карманов все исчезло, Славка согласился пойти с Паном на кражу. Ночью они ползали под кроватями, осторожно выдергивали одежду из-под подушки у спящих и очищали карманы. Утром, после бессонной ночи, Славка с недоумением смотрел на кучу карандашей, рогатку, несколько мелков, горку пуговиц, треснувшее зеркальце, нож со сломанным лезвием и коробочку из-под сапожной ваксы. Из награбленного барахла ценной была только коробочка, ибо в ней находились две иголки, туго обмотанные ниткой, и кусок сухой туши — набор для татуировки.

Славка не понимал, зачем ему все это нужно, что делать с этим имуществом? Он не испытывал никакого удовлетворения от проведенной операции. Ему было неловко, хотя действовал он согласно "правам", и никто ни в чем не мог его обвинить. Славка мог позвать хозяев этих вещей, и они молча забрали бы их, не сказав ему ни слова упрека. Ведь мойка была открыта!

Виновато улыбаясь, Славка сказал Пану, что на мойку больше не пойдет, и если Пан хочет, то может забирать все: он от своей доли в добыче отказывается.

— Ну и дурак! — буркнул Пан, и Славка почувствовал

неприязнь и холодок в его тоне.

Более серьезные конфликты возникали у Славки с Паном тогда, когда Славка вступался за обиженных или ввязывался в чужие споры, настаивая на справедливом решении вопроса. Пан был этим недоволен и по-своему прав: неприязнь, которую вызывал своим поведением Славка, частично распространялась и на его напаршника. Однако на Славку уговоры Пана поменьше "качать права" действовали слабо, и незадолго до новогодних праздников он впутался в очередную неприятную историю.

Одним из самых забитых ребят в группе был Вовка Бесфамильный, по кличке Доходяга. Бесфамильный находился в категории "шакалов". "Шакалы" — это истощенные, вечно голодные ребята, которые постоянно кланчили кусочек хлеба, подбирали крошки со стола и осаждали кухню, предлагая свою помощь в чистке котлов и кастрюль.

Перед ужином (время, когда ребята остаются в классе одни), к Вовке Бесфамильному привязался один из "настоящих пацанов" — Виктор Ошепкин.

Ошепкин, великовозрастный балбес без глаза и с трехпалой левой рукой, какое-то время ходил за батальоном в качестве "сына полка". После госпиталя он попал в детдом, где получил кличку "Солдат". В госпитале ему вставили искусственный глаз, но, очевидно, сделали это наспех: протез не подходил к глазнице, и Солдат часто терял его. Случалось, что по дороге в столовую Солдат отставал от строя, разыскивая свой глаз в пыльной траве или пожухлых листьях.

При распределении по классам комиссия выясняла уровень развития вновь поступающих ребят. Солдат с трудом читал и писал, арифметики не знал вовсе, а из предложенных геометрических фигур узнал только ромб, заявив, что это "бубна".

Сейчас Солдат, подсев к Бесфамильному, предлагал ему перочинный нож в обмен на вечернюю пайку хлеба.

У Вовки желание получить нож смешивалось со страхом остаться за ужином голодным. После непродолжительной внутренней борьбы он отказался от сделки. Но Солдат, то ли решил сбыть ненужный ему ножик, то ли просто хотел позавбавиться. Он подмигнул — и к Вовке подсели двое "шестерок".

Славка, находившийся неподалеку и слышавший разговор

между Солдатом и Бесфамильным, насторожился. Подсевшие "шестерки" — это готовые свидетели. Сейчас нож продадут насильно. Это очень распространенная в детдоме форма вымогательства, которая внешне имеет вполне законный вид.

Вот сидит угрюмый, насупившийся доходяга, а рядом — "шестерки", уговаривающие его уже битый час.

— Ну, купи! Ну, скажи "да"! — канючат они. — Ну, чего ты молчишь? Не хочешь — скажи "нет".

Доходяга молчит. Он уже сказал, что не хочет меняться, но от него не отстанут. Боясь открытой ссоры, он решил отделаться молчанием в надежде, что вымогателям надоест, и они оставят его в покое.

— Ну, давай: "да" или "нет"? Скажи "да", это слово короче, чем слово "нет"! Ну, соглашайся!

Доходяга тоскливо смотрит на своих мучителей и, наконец, соглашается.

— Слова стоят!

— Слова на месте!*

Итак, сделка состоялась. Согласие дано добровольно, свидетели есть, "права" не нарушены. Но в тот вечер Солдат не только навязал Бесфамильному покупку ножа, но и поставил дополнительное условие: Вовка должен был отдать хлеб не в столовой, а вынести его. Это условие Славку больше всего возмутило.

Время от времени воспитатели пытались бороться с азартными играми. Делалось это путем обысков после выхода из столовой. Пайка хлеба, обнаруженная во время обыска, служила доказательством того, что ее хозяин участвует в играх или вступает в какие-то меновые операции, преследуемые педагогами.

Кроме того, что хлеб отбирался, воспитатель требовал объяснения, для чего хлеб выносится из столовой. Простодушный ответ, что сейчас есть не хочется, а потом пацан сам съест свой хлеб, воспитателя не удовлетворял: он хотел знать, для кого выносится хлеб.

*"Слова стоят! — Слова на месте!" — формулы, которыми обмениваются, согласно "правам", договаривающиеся стороны при заключении какой-нибудь сделки. Если одна из сторон отвечает: "Слова на ветер", то сделка расторгается.

Иногда неудачника отпускали с миром, хотя и без хлеба, иногда били. Тогда, если били уж очень сильно, пацан признавался в мнимой вине, утверждая, что хлеб принадлежит ему, и он сам хотел поставить его на кон. Того, для кого несли хлеб, обычно не выдавали.

Славка понимал: если будет обыск, Бесфамильный попадется, а если попадется, то не сумеет придумать ничего правдоподобного. Мало того: он может не выдержать и одного удара — и все расскажет. Тогда он попадет в разряд "сук".

11. "Суки"

Впервые Славка увидел суку в приюте. Это был парень из старшей группы. В группе его постоянно избивали, и большую часть дня он проводил на женской половине приюта, где прятался от своих врагов. Одежду у него отобрали, кинув ему взамен старые штаны и майку. Майка, когда-то голубая, сейчас была блеклого, белесого цвета, с большой дырой на животе. Брюки были явно коротки и узки, они с трудом сходились на поясе и держались при помощи большого полуоторванного ржавого крючка и куска алюминиевой проволоки: ни одной пуговицы на брюках не было. Парень сидел в углу на корточках, и можно было рассмотреть низ живота, уже темневший первой растительностью.

Малолетние проститутки, прятавшие его от своих кавалеров, насмешливо бросали: "Закрой ширинку, птенчик потеряется!"

Но парень не реагировал ни на какие замечания и ни с кем в разговоры не вступал. Часами сидел он молча и неподвижно, уставившись взглядом в одну точку. Он не ходил в столовую ни с малышами, ни с девочками. На ночь его выгоняли из женского корпуса воспитатели. Где он спал, чем питался? Этого Славка не знал.

Его потрясла своей жестокостью доля этого мальчишки. С вытатуированной точкой на лбу, — знаком того, что он "сука", — пойдет он по детдомам. И нигде не будет ему ни жизни, ни участия, ни покоя. Педагоги выбили из него показания и пальцем не пошевелили, чтобы оградить его от расправы блатных. И

Славка запомнил крепко-накрепко: самое страшное — это попасть в "суки". Лучше взять вину на себя и понести незаслуженное наказание, но только никого не выдать!

Постепенно отношение Славки к "сукам" менялось. Сначала оно было бездумно презрительным, заимствованным от Пана и других ребят. Затем он начал понимать, что они — не столько преступники, сколько пострадавшие. Славка чувствовал теперь, что предписанная "правами" жестокость по отношению к этим ребятам — несправедлива. Мальчишку осуждали раз и навсегда. Ему не прощали проступка, который был совершен из страха, иногда по детской глупости, по наивности, а чаще всего — после жестоких побоев.

За долгие годы, проведенные в детском доме, Славка видел всего двух ребят, которые были добровольными доносчиками. С их стороны это было открытое и осознанное выступление против уголовной морали.

Первым был Вовка Дегтярев, младший брат одного из "настоящих пацанов" Витьки Дегтярева, по кличке "Серая Шейка" или просто "Шейка".

Дегтярь Младший демонстративно носил пионерский галстук на шее, в то время как все ребята носили галстуки в карманах, и был беспорочно честен. Обо всем, что делалось в группе, он докладывал сам, без допросов или вызовов.

Своих доносов он не скрывал. Дегтярев Старший бил его беспощадно, душил пионерским галстуком, пока у брата не синело лицо, и он начинал хрипеть и задыхаться, — ничего не помогало.

Чувствовались в поведении Дегтярева-Младшего какое-то иступление, мстительность и в то же время надлом и обреченность. Неизвестно, какая страшная трагедия должна была произойти в его короткой двенадцатилетней жизни, чтобы душа его переполнилась горячей ненавистью ко всем пацанам, без разбора, и чтобы он захотел верой и правдой служить педагогам-садистам.

Ни имени, ни фамилии второго Славка не знал. Среди детдомовцев парень появляться не рисковал и жил в корпусе воспитателей. Известен он был под кличкой "Чеснок"*. Ребята

*"Чеснок" — на блатном жаргоне "честный".

его видели только во время приезда какой-нибудь комиссии и в дни торжественных построений. Тогда весь детдом выстраивали в каре вокруг трибуны. У трибуны, в белых рубашках и алых галстуках стояло десятка два ребят, отобранных для хорового пения. Старший пионервожатый подносил к губам латунный горн, и под его звуки на мачте медленно поднимался флаг.

— Равнение на флаг! Смирно! — раздавался звонкий, хорошо поставленный голос председателя совета дружины. Это был Чеснок. Подняв кверху руку с тремя красными лычками на рукаве, он подходил к трибуне и отдавал рапорт.

— К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы! — выкрикивал пионервожатый.

— Всегда готовы! — отвечали ребята, и в пионерском салюте взлетало несколько сотен рук.

Салют держали до тех пор, пока группа у трибуны не кончала петь "Кантату о Сталине".

После этого председатель совета дружины уходил в кабинет к директору, галстуки прятались в карманы, и до нового построения ребята Чеснока не видели.

В тот вечер Славка вступился за Бесфамильного и бесстрашно заявил Солдату, что его поведение при продаже ножа похоже на поведение "активиста". И если уж он заставил пацана отдать пайку за ненужный ножик, то пусть хоть съест эту пайку за ужином и не подвергает Бесфамильного риску попасться при обыске.

Славка видел понимание и сочувствие в глазах многих ребят, но никто из них не вступился, когда взбешенный Солдат избил Славку. Не вступился и Пан. Солдат при "обмене" соблюдал все "права" — Славка же их нарушил, т. к. влез не в свое дело, да еще и обозвал Солдата "активистом".

12. Пропавший башмак

На следующее утро после стычки с Солдатом Славка обнаружил, что его обокрали. Он проснулся от крика дежурного воспитателя: "Подъем! Подъем!" В окна смотрел хмурый, зимний рассвет. В ответ на команду воспитателя раздалось недовольное ворчание невыспавшихся воспитанников.

— Быстро, ребята! Быстро! — дежурный воспитатель сдирал с сонных мальчишек одеяла. Спальня была большая, и в то время, как педагог поднимал ребят в одном конце, в другом, натянув на себя сдернутые одеяла, уже снова спали. Пришлось ему сделать несколько кругов по спальне, пока большая часть ребят не проснулась.

— Заправить койки, умыться и на завтрак! — попросился воспитатель и больше не появлялся.

В дело вступила круговая порука. Из-за опоздания, небрежно заправленной койки, грязных башмаков всю группу могли вернуть с завтрака. Поэтому ребята недовольно косились на лентяев и подгоняли тех, кто, по их мнению, шевелился недостаточно быстро.

Славка, зябко кутаясь в тонкое, порывшееся одеяло, натянул под ним брюки, затем, набросив одеяло на спину и на голову, надел под ним рубашку и только после этого рискнул стать босыми ногами на холодный и грязный пол. Присев на корточки, он тщетно пытался найти свою обувь. Левый башмак был на месте, правый исчез. Для размышления много времени не понадобилось. Для продажи нужны два башмака. Раз взяли один — значит, просто издевались, мстили за вчерашнее.

Славка молча натянул левый башмак. На правую ногу он надел драный носок, аккуратно заправил постель и вышел из спальни.

Ступая босой ногой в мокрый снег, Славка думал о том, что нужно ухитриться пройти в столовую так, чтобы дежурный воспитатель ничего не заметил. В ту ночь, когда воспитатель дежурит, он несет ответственность за имущество группы, т. е. за любую пропажу расплачивается своими деньгами. Славка знал, что, если подойти к нему и сказать, что башмак украли, то он не только наорет, но и побьет. "А если сам заметит, — размышлял Славка, — что я без башмака? Тоже побить может. Придется спрятаться за спины и проскочить в столовую, а после завтрака пойти к Розе Михайловне. Та, конечно, тоже кричать будет, но этим дело и кончится — простит".

Славке удалось благополучно закончить завтрак и уйти в группу. Но напрасно он думал, что ему повезло или такой уж он ловкий. Педагог давно заметил, что Славку обокрали. Но раз

мальчишка молчит и не жалуется — пусть за пропажу отвечает основной воспитатель, а он свое отдежурит без происшествий.

Всех педагогов детского дома Славка делил на четыре группы. Первая — воспитатели, которые детей не били, не очень часто ходили с жалобами к директору и пытались установить с воспитанниками какие-то человеческие отношения. Чаще это были женщины. Они пришивали оторванные пуговицы, вытирали малышам носы, мыли их в бане и рассказывали им сказки. Старшим ребятам они приносили книги. Эти педагоги плохо представляли себе взаимоотношения между ребятами в детском доме. Жаргона они не знали. Славка помнил, как его подозвал к себе молодой воспитатель-армянин и, показывая русско-армянский словарь, спросил:

— Соловьев, вот здесь написано: "Сука — самка собаки". Наши ребята все время говорят: "Сука! Сукой буду!". Это что значит — "собакой буду"?

И Славка ответил, что да, конечно. Ведь товарищ воспитатель сам видит, что в словаре так написано.

Вторая группа — воспитатели, которые били с разбором. Они хорошо относились к тем, кто не очень нарушал дисциплину. В случае какой-либо вины такой воспитатель мог лишь пообещать, что в следующий раз он "так врежет, что пацан на ногах не устоит". Но хулиганов они ненавидели и били их часто и сильно.

К числу таких педагогов относился директор детдома. Однажды, проходя по двору, Славка услышал его голос:

— Соловьев, подойди ко мне!

Славка поспешно подошел и по привычке произнес:

— Товарищ директор, я ничего не сделал!

Директор рассмеялся.

— А я тебя ни в чем и не обвиняю. На вот, держи! Это тебе.

И он протянул Славке бумагу: разрешение посещать городскую библиотеку.

Все книги небольшой детдомовской библиотеки Славка давно прочитал. В городскую библиотеку детдомовцев не записывали: боялись воровства. Славка давно просил директора выдать ему справку, удостоверяющую его честность, но всё не получал ее. Он уже перестал надеяться, когда директор, нако-

нец-то выполнил его просьбу.

— Бери, читай на здоровье, — сказал директор и, наклонившись почти к самому его лицу, серьезно и доверительно произнес:

— Хочешь вырваться из этого болота? Тогда читай! И учись хорошо!

Третья группа — педагоги, которые не затрудняли себя поисками виновных и в случае какого-либо происшествия били всех подряд.

Если Славка боялся и не любил педагогов третьей группы, то представителей четвертой он просто ненавидел. Это были воспитатели — бывшие воспитанники трудовых колоний. Они прекрасно знали о "правах" и о существовании различных каст среди воспитанников. Однако они не только не боролись с этим, но, окружив себя хулиганами, зажимали группу мертвой хваткой.

Разговаривали они на блатном жаргоне, употребляли в разговоре мат и снабжали старших ребят папиросами. Чувствуя в них опору, хулиганы еще более наглели. В ответ на "покровительство" воспитателя они так "обделывали" свои дела, чтобы не подводить его. В результате в группе не было никаких ЧП, и такой воспитатель был на хорошем счету у дирекции.

Роза Михайловна относилась к воспитателям первой группы. Сейчас Славка, медленно, желая оттянуть неприятный разговор, шел к ней, чтобы сказать о пропаже башмака.

13. Роза Михайловна

Славка поднялся по ветхим деревянным ступенькам и очутился на длинной веранде.

На веранду выходили двери комнат, в которых размещались группы. Группы объединялись в "секторы" по языковому признаку. Комнаты русского сектора находились в самом конце веранды. Славка шел по веранде, и на него надвигалась огромная, во весь простенок, картина. Картина называлась "Великое преобразование природы". Всю ее нижнюю часть занимала большая карта, пересеченная голубыми жилками рек. Над картой склонился Сталин. Правую руку с зажатым в ней красным карандашом он нацелил на зеленые линии полезащитных лесных

полос. Лицо "вождя", с поднятой бровью, было серьезно и задумчиво. Чуть выдвинувшись из-за его правого плеча, так же серьезно смотрел на карту Берия. Слева, прямо на зрителей, блестел стеклами очков Молотов. Плотным кольцом окружили эту группу Ворошилов, Шверник, Жданов и другие члены сталинского ЦК.

Эта картина всегда подавляла Славку своим величием. Собственная жизнь начинала ему казаться мелкой, а печали — ничтожными.

(Пройдут годы, и ребята с удивлением увидят, как детдомовский художник, поставив стремянку, замалевывает лицо министра внутренних дел. Художнику придется слегка расширить фигуру Шверника и неестественно вытянуть руку Ворошилову, чтобы заполнить пустое место. Но сама картина так и останется висеть на стене.)

Первое, что услышал Славка, войдя в группу, были слова:

— Нет, вы только подумайте! Я ему говорю: "Вылазь!" — а он меня — вниз по матушке, по Волге!

Войдя с утра в классную комнату, Роза Михайловна разделась, поставила на стол сумку и на несколько минут заглянула в соседнюю группу. За те считанные минуты, что она отсутствовала, ребята произвели тщательный досмотр оставленных ею вещей. В сумке была обнаружена банка с вареньем. Варенье было мгновенно съедено, а пустая банка досталась Валерке Беренчуку — маленькому худенькому заморышу.

Когда воспитательница вернулась, Валерка стоял у стола и грязным пальцем пытался выскрести из банки остатки варенья. Увидев Розу Михайловну, он с испугом бросил банку и мгновенно исчез под партами. В тот момент, когда, неуклюже перегнув свой полный стан, Роза Михайловна пыталась вытащить его из-под парты, он и послал ее по адресу, так возмущившему воспитательницу.

Ребята от души хохотали и успокаивали ее, как могли:

— Да не волнуйтесь вы, Роза Михайловна! Он же псих! Оставьте его, это не он сожрал варенье!

— А кто? Признайтесь! Мне варенья не жалко, просто интересно: какой это хам слопал целую банку?

— Да мы это, — отозвался один из старших ребят, — а он

только банку облизал.

— Ну, и на здоровье, — вздохнула Роза Михайловна. — Беренчук, вылазь!

Повернувшись, Роза Михайловна увидела Славку, который, опустив голову, стоял у дверей.

— Батюшки-светушки, выносите, святые угодники! Это еще что за явление Христа народу? Где же твой башмак?

— Украли...

— Как украли? Да кто посмел? На дворе зима — как же ты ходить будешь?

Она повернулась к классу.

Ребята, надо что-то сделать! Как же мальчик ходить будет?

А мы при чем? — загалдели старшие. — Мальчик обувку не бережет, еще и вас, Роза Михайловна, подводит: опять кража в группе! Пусть теперь сам достает!

— Как это — "сам достает"? — беспомощно произнесла воспитательница. У него же украли, где же он достанет? Что же ему теперь самому красть? У кого и где?

— Что значит "где"? — снисходительно отвечали старшие своей неопытной и неприспособленной к жизни воспитательнице. — На складе пусть украдет. А потом кладовщику же и сдаст — и получит новые. Кладовщик сейчас как раз старую обувь списывает — вот из этой кучи и надо стащить...

Ну, ребята, как это — "стащить"? А если попадется? Соловьев же у меня умница и золотко, он же не ворует.

— Но ходить-то зимой босиком ваше "золотко" не будет? — резонно отвечали ребята. — А выписывать новые — значит, все узнают, что в вашей группе воровство. С вас же, Роза Михайловна, и вычтут.

— Вот горе! Что же делать? Нет, он этого не сделает. Красть он не станет!

— Да чего там, не сделает? Кладовщик сейчас сидит, анашу курит. Ни черта не соображает. Нужно пойти и взять у него пару башмаков.

— Ну, а кто же пойдет? Ну, Салимов, Миша, сходи ты! Он же маленький, и потом, по-моему, вы дружите. И мне помощи!

Миша Салимов, волжский татарин, был паренек невысо-

кого роста, но плотно сбитый. Ничего татарского в его внешности не было, разве чуть-чуть раскосые, зеленоватые глаза. Среди ребят ходили одно время слухи, что он был сукой, но доказать этого никто не мог, и слухи заглохли. Салимов держался уверенно и твердо, в дружбу ни с кем не вступал, во время ссор не вспыхивал, но дрался молча и умело. Отличала его какая-то болезненная чистоплотность. Большую часть времени он проводил за чисткой и починкой своей одежды.

Отношения у Славки с Салимовым были странные. Иногда Салимов начинал дразнить Славку и доводил его до слез и истерики, а затем с молчаливым любопытством наблюдал за ним. Однажды после такого случая к ним подошла Роза Михайловна и с тревогой спросила:

— Миша, что случилось со Славой? Почему он так плачет?

— Письмо из дому получил. Младший брат его умер, — спокойно соврал Салимов.

В то же время иногда он, нарушая "права", открыто вступался за Славку и одним замечанием пресекал попытки старших обидеть его. Когда у Славки пропало пальто, Салимов принял деятельное участие в поисках и нашел его в соседнем, азербайджанском, секторе. Но этим летом сам же он снял со Славки новую рубашку и сандалии. Взамен новых сандалий он дал ему старые, а насчет рубашки посоветовал сказать, что ее украли.

— Ты "любимчик", так что бить тебя не будут. Скажи, что пропала и всё, — успокаивал он Славку.

После просьбы воспитательницы Салимов оделся и вышел. Он вернулся через четверть часа с двумя страшными, разбитыми башмаками.

— Вот, достал, — проговорил он. В глазах Салимова было озорство. — Только они оба левые, — добавил он после паузы.

— Как это — левые? Это что же, теперь у нас три левых башмака? Как же их сдавать?

— Да не переживайте вы, Роза Михайловна! Сдадим! — улыбался Салимов.

И, действительно, башмаки сдали. Взамен их Славка получил большие, не по ноге, черные блестящие калоши, т. к. ни туфель, ни ботинок на складе не оказалось. Он подложил в носки калош мятую бумагу, подвязал их веревочками, но все-таки

калоши на ногах не держались.

Все кончилось сравнительно благополучно, но на душе у Славки было скверно. Вместо того, чтобы искать вора и добиваться, чтобы в группе не было воровства, Роза Михайловна открыто разрешила новую кражу.

И Славка обиделся на Розу Михайловну.

14. Спор с Паном

После скучного обеда, именуемого на языке детдомовцев "ел не ел, а за столом сидел", ребята потянулись в учебный корпус. Был день политических занятий.

Славка шел позади всех, хлопая калошами, натянув на самые брови тонкий, мышинового цвета шлем без козырька и кутаясь в длинное рябое пальто. Вся левая пола пальто была вымазана чернилами. Славка нарочно вытрусил сюда чернильницу-непроливайку, чтобы в случае пропажи можно было опознать свою вещь.

Рядом со Славкой, принаравливаясь к его медленному шагу, шел Пан. Угрюмо оглянувшись по сторонам и убедившись, что их никто не слышит, он тихо произнес:

— Я знаю, кто взял твою обувку. Только велели тебе не говорить...

Почему? — спросил Славка.

Сказали, что ты псих хороший и можешь глупостей наделять.

Кто сказал?

Пан молчал.

— Мы же напарашники, и у нас не должно быть тайн друг от друга.

— А что тебе говорить? — рассердился Пан. — Учишь, учишь тебя, а ты все равно не в свое дело лезешь. Тебя еще набить хотели, темную сделать. Да заступились за тебя. Просили передать, чтобы не боялся, бить не будут.

— Я знаю, о ком ты говоришь, — сказал Славка. — Это Салим. Он иногда заступает за меня, а иногда издевается. А что я за маленького вступился — так разве я был неправ?

— Вступился! — закричал Пан. — Соплями кровавыми

умылся — вот и вступился. А за тебя — кто вступился? Все стояли и молчали, когда тебя били.

— Так ты же — тоже не вступился, хотя и напаршник, — Славка остановился, чтобы надеть спавшую калошу.

Пан покраснел от злости и обиды.

— Ты нарушил "права"! Влез не в свое дело! А я должен из-за твоей глупости в драку лезть!

— Но мы же напаршники, — настаивал Славка. — Мне было бы стыдно...

— Стыдно? — протянул Пан. — Клянчить тебе — стыдно. Воровать тебе — тоже стыдно. А жрать то, что я украду, тебе не стыдно?

Славка с испугом и удивлением слушал Пана.

— Не надо, Пан, — попросил он. — Не говори так! Не возьму я больше ничего у тебя.

Славка бросился вперед, но сделал всего несколько шагов: опять свалились калоши. Он повернулся к Пану, который остался стоять, и с тоской произнес:

— Не понимаешь ты ничего. Разве я с тобой из-за хлеба дружу? Вот ты говоришь, что крадешь хлеб. Разве это кража? Ты что, пайку у пацанов крадешь? Нет! А магазины ты грабишь? Тоже нет! А людей или пацанов таких, как ты или я, ты раздевал? А Солдат и Муха грабили и раздевали.

— Тише, ты, — остановил его чей-то голос. — Не ори! А то за такие слова тебе точно темную устроят.

Славка испуганно обернулся. Он не заметил, как во время спора с Паном к ним тихо подошел Петька Борзых, по кличке "Петух".

15. Петька

Петька был парень лет тринадцати, то есть такого возраста, когда через год-два уже переходят в старшие. Был он худой и длинный, с маленькой головой и большими костистыми кулаками. Кожа его лица была желтоватого цвета и покрыта мелкими пупырышками — казалось, что Петька постоянно мерзнет. Характера он был молчаливого, угрюмого. Несмотря на свой солидный возраст, с хулиганами Петька не знал.

Взглянув в сторону Пана, Петька подвел Славку к глинобитному забору, отсыревшему от зимней непогоды, и сказал:

— Поговорить надо, время до политчаса еще есть.

Оба помолчали. Петька, казалось, раздумывал, стоит ли начинать разговор. Наконец он спросил Славку:

— Слушай, ты что, в самом деле думаешь доказать, что Солдат — активист?

Если бы меня поддержали, можно было бы и доказать.

А зачем?

Я хочу, чтобы всегда была справедливость.

Справедливость... А где она — справедливость? Вот "права" — они справедливые? — спросил Петька.

Славка ощутил в груди холодок. Его испугала сама постановка вопроса. Разве можно сомневаться в справедливости "прав"? До такой крамолы он еще не додумался. "На пушку, что ли, берет?" — мелькнула тревожная мысль.

Ну, чего же ты замолчал?

— Справедливые, — уверенно ответил Славка. — Нужно только, чтобы все их выполняли. А большие пацаны нарушают их потому, что совести не имеют. И все молчат.

— Ну, а почему же все молчат? — проговорил Петька. — Значит, все дурачки трусливые? Ты один такой умный да хороший? А тебе не кажется, что все потому и молчат, что по "правам" живут? Ты говоришь, что "права" справедливые. Вот правило: на стороне красть можно, у своих нельзя. Как ты думаешь — это справедливо?

— С голодухи крадут, — отозвался Славка. — А пацаны сами голодные, у них красть нельзя.

— Угу, — согласился Петька, — если чужой, значит — сытый. Украли деньги и "с голодухи" папирос и водки купили. Так, что ли?

Славка растерянно молчал.

— Второе правило: драться один на один. Босяк избивает маленького пацана, и никто не имеет права вмешиваться. Это справедливо?

— Нет. Это несправедливо. Но все должны это понимать и вступиться за слабого!

— Правильно! Но ведь все по "правам" живут: "Каждый за

себя..." Где же пацанам защиты искать? Кто им поможет?

Воспитатели, — выпалил Славка.

Вот ты где открылся! — обрадовался Петька. — Что же они не заступаются?

Они многого не знают.

Так пойди и расскажи! — предложил Петька.

Я не сука, — оскорбленно ответил Славка.

Ты хочешь соблюдать "права" — значит, быть уркой. Но чтоб от урок тебя защищали воспитатели. Значит, ты все-таки сука!

Славкины щеки полыхнули жаром, и он сделал жалкую попытку отбиться:

— А ты сам? Ты сам — кто такой?

Разговор кончался плохо. Сейчас Петька разозлится — и тогда все, о чем они говорили, узнают пацаны. Но Славка ошибся.

Петька понимающе усмехнулся и тихо произнес:

— И я тоже такой. Не бойся, я тебя не продам. Мы говорим без свидетелей. Не бойся!

— Я не хочу быть сукой, — повторил Славка.

— Не хочешь? А другие хотели? Которых били — и они продали? Да еще тебе повезло, что ты ласковых педагогов не знаешь. Вот попадется тебе такая... — Петька с озлоблением сплюнул, — и начнет: то пряник даст, то в кино сводит. Книжки разные про честных пионеров читает. Разговаривает с тобой по душам. А потом вызовет и скажет: "Неужели ты такой же подлец, как эти хулиганы? А я тебя считала совсем другим. И тебе не стыдно?" И сделается тебе так стыдно, что и не заметишь, как обо всем ей доложишь.

Петька замолчал. Славка понял, что он говорил о себе.

— А потом что? — несмело спросил он.

— Потом? — как бы очнулся Петька. — Потом ходишь и думаешь только об одном: узнают пацаны или не узнают.

Две фигуры в одинаковых пальто и мышинных шлемах, стоя в раскисшем снегу, вели откровенный разговор.

— Ты Салима остерегайся, — говорил Петька. — По-моему, он из тебя шестерку сделать хочет.

— Нет, ты не прав, — не соглашался Славка. — Он знает,

что шестеркой я не буду.

— Так это смотря какой шестеркой! Из-за куска хлеба ты шестеркой не будешь, это правильно. А вот если попросить тебя по-хорошему, так ты согласишься. Ты же ласковое обращение любишь! Красть он тебя не заставит, а вот на шухоре постоять попросит — ты и согласишься... Не крути головой, я знаю, как это бывает. Ему преданный шестерка нужен. Ну, вроде друга. Видел я таких.

Этого не может быть. Зачем же он тогда издевается надо мной?

Дурачок ты! Это он тебя тренирует. Знает, что в зубы ты дать не можешь. А обижаешься — ненадолго. Отходишь быстро. А вообще пацан ты неплохой, хотя в драке пользы от тебя мало, — заключил неожиданно Петька. И вдруг предложил:

— А знаешь, я завтра дежурю в столовой. Хочешь, порцию каши для тебя замахаю?

— Иди ты со своей кашей, — надулся Славка.

— Ладно, ладно, не обижайся, — засмеялся Петька.

Пошли. Холодно что-то стало, да и политчас вот-вот начнется.

16. Мариус и Гейдар

Славка был взволнован. Впервые он встретил пацана, который не побоялся сказать, что он против "прав". Похоже было на то, что Петька мог бы стать его настоящим другом. Но как отнесутся к Славке его напарники? Их было двое: Марик Винокуров и Гейдар Гаджиев.

Марик воспитывался в детских домах лет с трех-четырех. Сначала этот еврейский ребенок побывал в азербайджанском детдоме, где не признавали чужих языков и обычаев, и даже малую нужду заставляли справлять по-мусульмански, т. е. на корточках. Затем он попал в армянскую группу и, наконец, — в русский сектор. Марик свободно говорил по-армянски и по-азербайджански и знал еще вдобавок какие-то кавказские диалекты.

После того, как детдомовцы посмотрели трофейную кинокартину "Под кардинальской мантией", Марик был переименован в "Мариуса" в честь одного из главных героев фильма —

ловкого, веселого вора. В отличие от своего тезки, Мариус Винокуров был молчалив и флегматичен. И ходил, и говорил, и, казалось, сидел он — нехотя, с какой-то едва уловимой ленцой. Когда его вызывали в классе, поднимался он медленно, как бы по частям, и, заложив руки за голову, так же медленно спрашивал, подчеркивая последний слог, и четко выговаривая в нем звук "г":

— Ну, чего?

— Не чего, а што! — говорила воспитательница и снова повторяла:

— Винокуров!

Марик смотрел на нее сонным взглядом и отзывался:

Ну, что?

Не что, а што! — нудила воспитательница, — Винокуров!

Ну, што? — уступал Марик.

Иди к доске!

Все так же, заложив руки за голову, выходил Марик к доске и отрешенно смотрел на Розу Михайловну.

Он часто сидел один на скале, глядя на далекие горы. Случилось однажды так, что, размечтавшись и разнежась под весенним солнцем, Марик даже пропустил обед — случай в детдоме неслыханный.

Гейдар, как и Марик, находился в приютах и детдомах с малых лет. Он был совсем маленьким, когда его мать подверглась насилию. Отец Гейдара погиб в схватке с насильниками, защищая честь жены. Мать, следуя мусульманскому обычаю, сожгла себя. В голодное военное время родственники не могли прокормить лишний рот, и мальчика сдали в приют.

Несмотря на тяжелую приютскую обстановку, Гейдар вырос парнем веселым и бесшабашным. Он вечно что-то напевал и готов был улыбнуться самой незамысловатой шутке.

Славка помнит необычное появление Гейдара в их группе. В тот день Роза Михайловна куда-то ненадолго вышла, и ребята сидели одни. Послышались чьи-то быстрые, легкие шаги и веселое пенье за дверью. Двери распахнулись — и на пороге показался мальчишка — азербайджанец с веселыми карими глазами и живым, плутоватым лицом. Без всякой робости он переступил порог и, подойдя к столу воспитательницы, спросил сразу у всех:

— Это русский сектор? Меня послали в группу Розы Михайловны.

Ребята молча рассматривали новенького и не спешили с ответом. Они сразу заметили, что из обоих карманов его пальто, надетого, вопреки детдомовскому порядку, прямо на рубашку, без пиджака, торчат свертки тонко раскатанного хлеба — лаваша.

В группе старших, где сидели Солдат, Безух и Мамед, прошло легкое движение.

"Безухом" звали Генку Корнеева. Известно, в какой он побывал переделке, но лицо его носило следы сильных ожогов, одного уха не было, а верхняя губа, стянутая шрамами на обожженной стороне лица, была приподнята и не прикрывала зубов. Сейчас Безух кивнул, и двое шестерок из его окружения бросились к новенькому. В одно мгновение хлеб из левого кармана был выхвачен и брошен на середину комнаты — "на дирбанку", т. е. на всеобщее растерзание.

Произошла веселая катавасия, и лаваш разодрали на мелкие куски. Хлеб из второго кармана Гейдар уберег. Откинувшись назад, он ударом головы в подбородок опрокинул одного из нападающих. Тот упал, закричав от резкой боли. Второго Гейдар оттолкнул двумя руками и, отскочив к двери, стал там, зажав в руке открытый нож.

Группа затихла. Среди старших ребят иногда вспыхивала поножовщина. Но это было дело серьезное и не частое. Но чтобы вот так, сразу хвататься за нож? Нет, новенькому не поздоровится: сейчас встанут босяки... Но босяки не встали. Не сговариваясь, выскочили из-за парты Петька и Мариус. Один из шестерок получил удар в ухо петькиным кулаком, второму расквасил нос Марик.

Друзья подошли к Гейдару и, повернувшись к группе, заявили:

— Мы напарашники! Все являются свидетелями!

И уже после этого Петька спросил Гейдара:

— Ты не против?

В ответ Гейдар лишь согласно кивнул головой.

Этот случай безрассудной смелости как со стороны Гейдара, так и со стороны Марика и Петьки восхитил и в то же время

испугал Славку.

Между тем напарашники уселись втроем на одну парту, и Гейдар, вынув оставшийся хлеб, разделил его на три части.

— Где это ты хлеб слямзил? — спросил Петька.

— Почему слямзил? Обменял на пиджак, — ответил Гейдар.

Директор повел новых ребят в азербайджанский сектор, а я один остался; я в русской школе учился. Мимо забора тетушка какая-то шла, лаваш несла. Есть хочется. Я и обменял пиджак на лаваш.

— Ловко, — рассмеялся Петька. — Только что ты воспитательнице скажешь, когда она увидит, что ты без пиджака?

— А что скажу? Скажу, что потерял или украли, — беззаботно ответил Гейдар. При этом он произнес фразу, которая долгие годы после этого жила в пятом детдоме:

— Зачем волноваться? Государство новый пиджак даст!

(Продолжение следует)

Вл. Писарев

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ФОНД "НОВОГО ЖУРНАЛА"

В 138, 139, 140, 142, 143, 145, 147 и 148 кн. "Н. Ж." опубликованы списки жертвователей в издательский фонд "Нового Журнала". Всего 10.594 долл. Позже поступило еще 454 долл.: по 100 долл. — М. Бибинов, Б. Прянишников; по 50 долл. — С. Рафальская, Г. и В. Чириковы (в память Бориса Нарциссова), К. и А. Шлиппе; 33 долл. — Н. Вестфаль; 26 долл. — Д. Левицкий; 16 долл. — И. Гуськов; 10 долл. — Н. Первушин; по 6 долл. — А. Балашов, М. Штоерман; 5 долл.

Н. Горская и 2 долл. от С. Г. Итого 11.048 долл.

Редакция сердечно благодарит всех жертвователей.
Большое спасибо.

В этом доме живут долгожители,
Обыватели и отравители
(А напротив живут — небожители).

Вечерами весенними, летними
Тридцать ведьм развлекаются сплетнями,
Осуждают губами столетними.

И тринадцать вампиров морщинистых
(С париками на лысынах глинистых)
Разъезжают на бесах шетинистых.

И выносят они обвинительный
Приговор пришлецу из пленительной
Светозарной страны, небожительной:

”Да, казнить! Он соседей сторонится,
У него от безделья бессонница,
Он до нашей еды не дотронется,

Он питается ветром и грозами,
Говорит он не с нами, а с розами,
Облаками, туманами, звездами”.

Стал преступник скромнее, смиреннее.
Поздно! В тихое утро весеннее
Приговор — приведен — в исполнение.

Игорь Чиннов

Двенадцать миллиардов лет
(назад) вселенная возникла.
Еще не умер Магомет
И даже не было Перикла.

Душа, приветствуй бытие!
Люблю вселенную в апреле.
Ведь если б не было ее,
То где бы мы с тобой сидели?

От радости захохочу,
Вселенная, мое почтение!
И непременно я хочу
Ее поздравить с Днем рожденья.

Я приглашаю, господя!
Отпразднуем в роскошном зале.
Шампанского! Но вот беда!
Мне точной даты не сказали.

Игорь Чиннов

НАД СОБОЮ СМЕЕТЕСЬ!..

*Его Высокоблагородию
Миргородского повета Городничему,
А. А. Сквозник-Дмухановскому.*

г. Миргород.

Почтеннейший Антон Антонович!

В первых строках сего письма позвольте мне поздравить Вас с юбилеем! Ровно сто сорок лет тому назад, весной 1843 г., в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра была поставлена в законченном виде, заново переработанная, ставшая известной не только на нашей родине, пьеса Николая Васильевича Гоголя "Ревизор", в которой Вы, Антон Антонович, были выведены в смешном виде. Публика, заполнившая театральный зал, скаля зубы и хлопая в ладоши, всю смеялась над Вами и над чиновниками вверенного Вам уездного города, показанными в этой пьесе тоже в сатирическом освещении. Непристойный смех публики звучал в течение всей пьесы, и Вы, наконец, не выдержали и в сердцах закричали, обращаясь к зрителям: "Чему смеетесь?.. Над собою смеетесь!.. Эх, вы!.."

Эти Ваши слова, Антон Антонович, останутся бессмертными. Пройдет еще сто сорок лет, а Вы, со сцены всматриваясь в зрительный зал, увидите, как Вы изволили выразиться, только "свинные рылы" бьющих в ладоши скалозубов и так же, как и теперь, будете кричать им: "Чему смеетесь?.. Над собою смеетесь!.."

Но "нет ничего нового под луною!", — воскликнул когда-то старый Екклесиаст. И действительно, как указано в книге моего земляка, тезки и сверстника — М. Булгакова "Мольер", те же слова, Антон Антонович, но почти 170 лет прежде Вас, произнес

в парижском театре Пале Рояль некий Плаписсон во время представления сочиненной господином Мольером комедии, в которой высмеивалось тогдашнее французское высшее общество и духовенство. Возмущенный содержанием пьесы, а также глупостью гогочущей публики, этот самый Плаписсон при каждом трюке или остроте, произнесенной на сцене, поворачивал свое разъяренное лицо к сидящим в партере аристократам и, грозя кулаком, кричал: "Смейся, партер!.. Смейся!.. А чему смеетесь?.. Над собою смеетесь!.." — отчего публика еще более хохотала...

Кстати, Гоголь "развязал" пьесу "Ревизор" так же, как сто семьдесят лет перед тем Мольер закончил свою комедию "Тартюф". В "Ревизоре" в конце пятого действия появляется, гремя шпорами и палашом, прискакавший из Петербурга по Высочайшему повелению громадный жандарм, напугавший своим появлением всех людей с нечистой совестью. А в "Тартюфе" в конце пьесы будто упавший с луны полицейский офицер тоже карает зло, арестовывая мошенника Тартюфа, разорившего доверчивых людей. Этот ловкий офицер успевает убедить всех, что пока существуют короли, то мошенники всякого рода должны трепетать, а честные люди могут спокойно спать...

* * *

Высокопочтенный Антон Антонович, я должен по совести сказать Вам, что автор "Ревизора" допустил неосторожность, наделив Вас сугубо дворянской фамилией — Сквозник-Дмухановский, явно переделанной из фамилии помещика, знакомого Пушкину, профессионального картежника — Огонь-Догановского, обывравшего великого поэта на 25 тысяч рублей!..

Много чего заимствовал Гоголь у Пушкина: не только сюжеты "Ревизора" и "Мертвых душ", но и образы и мысли из сочинений поэта, и даже, например, привычка городничего праздновать свои именины на Антона и Онуфрия тоже, видимо, навеяна Пушкинскими словами, когда тот, находясь в тисках безденежья, говаривал: "Я кошелек обратил в мошну и буду праздновать родины и крестины сверх положенных именин".

Но в своих "Замечаниях для господ актеров", участвующих в "Ревизоре", Николай Васильевич пишет: "Городничий, у же

постаревший на службе и очень неглупый человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно... Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов”.

Какой же он дворянин после этого?.. Дворяне с низших чинов службы не начинали, они еще в “утробе матери” уже числились офицерами. Судя по фамилии, можно подумать, что городничий вышел из дворянских недорослей, а в действительности, он самый простой человек, может быть даже — крепостной крестьянин. Никакая “мадам” в его детстве за ним не ходила, никакой “мусье” его в Летний сад гулять не водил, никаким наукам он с ранних лет не обучался, а сам, по доброй воле, уже в зрелом возрасте научился скорописному письму. Так, подумать только, какую тяжелую лямку пришлось ему, бедняге, тянуть, сколько протерпеть лиха и пролить, так сказать, крови, жертвуя жизнью, глядя смерти в глаза, во время кампании 1812 года, чтобы дослужиться до офицерского звания и чина, освободивших его от крепостного состояния?..

А нашлись “шелкоперы, бумагомаракы, либералы проклятые, чертово семя” чина, звания этого не пощадили, в комедию вставили, вместо того, чтобы руки по швам держать перед Антоном Антоновичем, да во фрунт перед ним стоять!.. Не смеяться, а шапку долой перед ним!..

Ну, а как же с другими чиновниками уездного города, подведомственного Антону Антоновичу?.. Ведь, целые поколения русских интеллигентов страдали от мысли и негодовали от сознания, что Сквозники-Дмухановские управляют Россией, Ляпкины-Тяпкины ее судят, Земляники и Гибнеры лечат, Хлоповы просвещают, Бобчинские и Добчинские создают общественное мнение...

Действительно, взятки они брали, но это особая статья... Эх, не потрудился Николай Васильевич объяснить — какое жалование получал городничий да и прочие чиновники, выведенные в комедии. А это очень важно. Например, чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин, у которого уташили шинель, был в таком же, приблизительно, чине, как и чиновники, показанные в “Ревизоре”. А получал Башмачкин годового жалования ассигнациями “четыреста рублей или около того”.

А что такое ассигнации?.. Нет, лучше не вспоминать о них!..

Завела их императрица Екатерина II во время войны с турками. Ей нужны были деньги. А где их взять?.. Русское государство, правда, было богато, да народ беден. Баре много денег тратили за границей, а дома шеголихи-модницы и франты-пети-метры без счету оставляли их у Цыхлера в Москве и в "модных магазинах" Петербурга, где продавалось, по словам Пушкина:

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон шепетильный
И по Балтийским волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной...
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов...

Наш же вывоз за границу был ничтожен: лес, сало, лен, пенька, воск, мед и т. д. За все это иностранные купцы платили местному населению гроши из-за плохих дорог и дальности доставки в морские порты... Так что деньги уходили за границу, а оттуда не поступали... Гоголь И. И. Дмитриеву так описывает эту бедность российскую: — "Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. Всему виною недостаток сообщения. Он усыпил и обленил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно повысить доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за ману-фактуры и фабрики, но капиталов нет; счастливая мысль дремлет, наконец умирает, а они рыскают с горя за зайцами. При-знаюсь, мне очень грустно смотреть на расстроенное имение моей матери; если бы одна только лишняя тысяча, оно бы в три года пришло в состояние приносить шестерной против нынеш-

него доход. Но деньги здесь совершенная редкость”.

Помещики от вынужденного безделья играют в карты, кутят и, промотавшись как следует, тянутся в Петербург служить, т. е. садиться на шею правительству. Имения брошены, управляются как ни попало, себя не оправдывают, подати уплачиваются с каждым годом труднее, недоимки растут. У населения нет денег.

Чтобы вести войну с Турцией Екатерина II в 1769 г. приказала напечатать несколько сот миллионов рублей бумажных денег. Чтобы население питало доверие к этим ассигнациям, они свободно разменивались на серебряную и медную монету. Но с 1786 г. был прекращен размен на серебро, а вскоре — и на медь. Началось обесценение ассигнаций и курс их начал колебаться и был различен в разных местностях, завися от алчности продавцов и менял. За серебряный рубль платили от 3 рублей 50 коп. и до 5 рублей. Попытка имп. Павла восстановить размен ассигнаций на серебро и даже на золото, была скоро прекращена. Во время Отечественной войны 12-го года правительство установило для ассигнаций твердый курс, но он не удержался. Все это создавало дороговизну товаров и тем вызывало недовольство народа. В 20-х годах в России повысилась добыча золота и других драгоценных металлов, что позволило имп. Николаю I в 1839-1842 гг. освободить страну от злополучных ассигнаций введением серебряного монометаллизма.

Но как бы курс ассигнаций ни падал, русские чиновники, как Башмакин и его миргородские коллеги — разные Земляники, Тяпкины-Ляпкины, Хлоповы и др., получали точно свои “четыре-ста рублей или около того” и никаких тогда прибавок “на дороговизну” не существовало.

А на такое жалование семейный, да еще и многодетный человек прожить не мог. Так, кто решится бросить камень в чиновника, берушего взятку, чтобы спасти от голода своих детей?.. Да и вообще, не является ли взяточничество своеобразным протестом, какой-то формой борьбы, рожденной чувством самосохранения у человека, берушего взятку, против неправильных (часто просто бестолковых) экономических мероприятий правительства?.. Не есть ли взятка — восстановление явочным порядком справедливости, попранной государством?.. — Как Вы думаете, Антон Антонович?..

Во всяком случае, если Российское Государство недоплачивало своим чиновникам, то делало это по бедности, а не из намерения переложить содержание своих чиновников на плечи населения, как это делали другие государства, продавая, напр., чиновничьи места и даже судебные должности.

Можно себе представить, какое там существовало "правосудие", если судья старался прежде всего вернуть деньги, истраченные на покупку патента, а кроме того — стремился разбогатеть, пользуясь выгодами своего судейского положения. Так что по сравнению с таким судьей, наш Ляпкин-Тяпкин, бравший взятки только "борзыми шенками", мог казаться ангелом с крылышками.

* * *

Но все же, как это случилось, что строгая французская цензура (особенно — церковная!) разрешила постановку "Тартюфа", а русская, не менее бдительная, — "Ревизора"? Оказывается, "Ревизора" от цензурного запрета в России спас император Николай I, а "Тартюфа" — сам король Франции — Людовик XIV, как об этом сказано в книге М. Булгакова "Мольер". Король-Солнце взял под свою высокую руку комедианта Жана Батиста Покелена — де Мольера и покровительствовал своему любимцу в течение всей его жизни и даже после его смерти.

* * *

В прелестное августовское утро 1667 года на воротах Архиепископского дворца в Париже был вывешен интердикт следующего содержания:

"Нашим фискалом нам было доложено, что в пятницу, пятого числа сего месяца, в одном из театров была представлена опаснейшая комедия, которая тем вреднее религии, что под предлогом осуждения лицемерия и мнимого благочестия, она дает повод осуждать всех, кто обнаруживает и истинное благочестие".

Далее шло запрещение для всех не только представлять, но также читать или слушать эту комедию под страхом отлучения от церкви.

Подписал сей интердикт Архиепископ Парижа

Кардинал Ардуэн де Бомон де Перефикс.

В тот же день разгневанный кардинал посетил королевский дворец. Он просил Людовика XIV запретить постановку пьесы "Тартюф".

Когда же по горячим следам архиепископа во дворце появился господин Мольер, прося снять запрет с "Тартюфа", король только изумился настойчивости своего "комедианта". Дело в том, что Людовик давно уже позволил Мольеру бичевать пороки представителей высших сословий, с которыми у короля были свои особые счеты, и показывать жеманных маркизов и придворных в комическом виде, но в "Тартюфе" Мольер вторгнулся уже в такую область, которой касаться было нельзя: здесь были затронуты духовные лица, да и сама религия.

— Господин Мольер, — сказал король после долгого молчания, — извините, я слабо разбираюсь в вопросах религии, но сведущие люди говорят, что в вашей пьесе полно насмешек над религией и благочестием.

— Ваше Величество, осмелюсь доложить, что благочестие бывает истинным и показным.

— Да, но специалисты говорят, что в вашей комедии трудно разобрать, над каким благочестием вы смеетесь... Доставьте мне удовольствие, — вежливо добавил король, — эту комедию снимите с вашего репертуара!..

А затем, как бы в возмещение ущерба, понесенного Мольером от запрещения "Тартюфа", король наградил его пенсией в размере одной тысячи ливров в год.

Мольер, однако, не терял надежды увидеть свое детище на сцене. Для этого он прежде всего снял духовный сан с Тартюфа, вычеркнул многие цитаты, смягчил острые выражения и изменил финал. Но увидеть свет "Тартюфу" помогло еще одно обстоятельство.

В то время, как над "Тартюфом" сверкали молнии и гремели громы, на имя Людовика XIV было прислано от настоятеля церкви Святого Варфоломея, отца Пьера Руле, письмо, в котором значилось: "Славнейшему из всех королей мира, Людовику XIV!". Далее следовало: "Ввиду того, что вольнодумцу Мольеру все равно не миновать адского пламени после смерти,

то не лучше ли будет, не откладывая этого благого дела в долгий ящик, сжечь этого самого Мольера уже теперь перед всем народом вместе с его "Тартюфом"?"

Мысль, конечно, совершенно правильная, ее трудно оспаривать: доводы убедительные и логичные и с ними нельзя не согласиться... Но королю что-то мешало прибегнуть к этому аутодафе.

Дело в том, что Людовик XIV, которому надоели нравовучения воспитывавшего его кардинала Мазарини, после смерти своего наставника не переносил никаких указаний и советов, как ему поступить, от кого бы они не исходили.

Поэтому из дворца помчался скороход за Мольером. Когда же король узнал, что "Тартюф" переделан, он с легким сердцем снял свой королевский запрет с этой комедии, доставив этим своему любимому комедианту много радости.

Еще прошло несколько лет... И в 1673 году, в феврале месяце, у Мольера во время спектакля начались конвульсии. Его принесли домой. Послали за священниками, но те отказались навестить умирающего комедианта. А о том, чтобы хоронить Мольера по церковному обряду не могло быть и речи. Жена Мольера обратилась за разрешением к парижскому архиепископу Арле де Шанваллону, но получила отказ. Тогда она бросилась во дворец. Король ласково сказал ей: "Для вашего покойного мужа все будет сделано". А потом вызвал для объяснений архиепископа, который ссылаясь на различные постановления, заявил, что "закон запрещает хоронить комедиантов на освященной земле".

— А как глубоко простирается освященная земля? — спросил король.

— На четыре фута, Ваше Величество!

— Благоволите, архиепископ, похоронить его на глубине пяти футов! — распорядился король, — но похороните обязательно!..

Так защищал Король-Солнце великого французского сатирика и своего комедианта Жана Батиста Покелена — де Мольера даже после его смерти!

* * *

Приветливо мерцают канделябры во фрейлинской квартире на четвертом этаже Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Фрейлина двора Ее Величества, прелестная Александра Осиповна Россет, готовится к приему вечером знаменитостей тогдашнего русского литературного Олимпа: Пушкина, Гоголя, Жуковского, кн. Вяземского и др. Обещал прийти и Государь. И действительно пришел. Он попросил Пушкина прочесть стихи, в которых поэт упоминает о своей бабушке и старой няне. Гоголь читал "Миргород". Над Пульхерией Ивановной плакали. Затем Гоголь прочел "Ревизора". Сначала Государь хмуро, даже с тревогой, внимал артистическому чтению Гоголя, но потом немного успокоился, а при чтении известного монолога Хлестакова (Тридцать тысяч курьеров) император уже совсем расхохотался и... "Ревизор" был спасен от запрещения его цензурой, а городничий и чиновники, да и вообще весь провинциальный быт России были отданы театральной публике на осмеяние...

Смеялся партер в парижском театре Пале Рояль при короле Людовике XIV, смеялся партер и в санкт-петербургском Александринском театре при императоре Николае I. Это был "видимый миру смех сквозь невидимые ему слезы". А через этот беззаботный смех пришлось после "партеру" заплакать, и горько заплакать, уже зримыми и видимыми всему миру слезами, — во Франции при короле Людовике XVI, а в России — при императоре Николае II...

* * *

Как прочитаешь все это, да подумаешь обо всем, то поневоле скажешь: Антон Антонович, почему Вы не стали цензором?.. Вы бы, как сами изволили выразиться, — "всех этих бумагомарак, шелкоперов, либералов проклятых... У чертова семя! Узлом бы всех завязали, в муку бы стерли их всех, да к черту в подкладку! В шапку туды ему!.."

Но судьбе не было угодно, чтобы Вы стали цензором... А жаль!

Оканчивая сие письмо, и целуя ручки почтеннейшей супруге Вашей, Анне Андреевне, и милейшей дочери Вашей — Марье Антоновне, желаю Вам, милостивейший Антон Антонович, самого совершенного счастья, чтобы Вы еще в продолжение

многих лет не знали никаких болезней, чтобы горе не смело переступить через порог Ваш. А я, упрасывая Вас не переменить драгоценного Вашего расположения ко мне, остаюсь с совершенным почтением и вечной признательностью

Вашего Высокоблагородия покорнейшим слугою

М. Дубинин

СМИРИТЬСЯ

“Здесь Тютчев жил, здесь он встречался с Гейне” —
Люблю разбег перфильевской строки.

Познаниями блеснут проводники
По городкам на Одере и Рейне.

Испишутся о Прусте, об Эйнштейне
Гербастые дорожные листки,
Дошечками взыграют кабачки
И дымные парижские кофейни.

А если я прославлюсь, обо мне
Припомнят ли в холодном Харбине
Совсем уже не те домовладельцы,

Расскажут ли Пекин, Тяньцзинь, Шанхай?
Вдвойне, втройне бездомны погорельцы:
Смирись, поэт, и лучше не вздыхай.

Валерий Перелешин

ПАМЯТИ МАТЕРИ

*"В дому Отца Моего обители
много суть".*

Соседями мы станем по квартирам
В обещанном отеческом дому:
Без этого я рая не приму
И не порву старинной связи с миром.

А если нас, в угоду командирам,
Разрозненных, введут по одному,
Я предпочту земную кутерьму,
Болезненность и детство с рыбьим жиром,

Которые, лекарства не любя,
Я принимал послушно от тебя
И в памяти храню подслеповатой.

И в юности, и в зрелые года
Была моей ты музою крылатой,
И, вот, ушла — ужели навсегда?

Валерий Перелешин

ПОХВАЛА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Василий Жуковский (1783-1852). У него репутация превосходного перелагателя стихов. Но Марина Цветаева показала-доказала, что в *Лесном Царе* ему не удалось передать упоительную жуть ночной стихии гётевского Erlkōnig.

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли...

Эти запоминающиеся стихи Жуковский вложил в уста Луиса Камознса, героя его одноименной пьесы. Отличная формулировка, но это сказано о поэзии, а она сама здесь не присутствует. Высота *небесного Жуковского* в этих необычных для его эпохи дольниках:

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою...

(1811 г.).

Это уже не формула, а сама поэзия: волшебное заклинание. Почему именно — нельзя объяснить. Пусть мы уже давно избегаем инверсию, но в этом стихе она уместна (смертных искусство). Исследователи предполагают: это перевод стихов неизвестного немецкого автора, что вообще несущественно. Это один из самых глубоких вздохов в русской лирике: забытое акме

В журнале "Мосты" (1960 г.) были помещены мои очерки под общим названием "Похвала российской поэзии". Они охватывали русскую поэзию от Сказания о Борисе и Глебе (XI-го века) до Державина (включительно). С недавних пор я продолжаю эти очерки. Ю. И.

Жуковского. Небесно, волшебное и другое его вздыхающее стихотворение, тоже посвященное памяти Марии Протасовой-Мойер (19-го марта 1823 г.):

Ты предо мной
Стояла тихо,
Твой взор унылый
Был полон чувств...

Слова, выражения уже в то время могли казаться шаблонными (унылый взор, полон чувств). Но эти двухстопные ямбы живут и произносятся одним дыханием. Это прекрасные безобразные и безрифменные стихи. Одно сравнение может вызывать недоумение: Твоя могила, как рай спокойна... Правда, православная панихида обещает *вечный покой*, но все же этот рай напоминает нирвану.

О стихах Жуковского, посвященных индийской Лалла-Рук (из английской поэмы Томаса Мура). Её в живой картине изображала великая княгиня Александра Феодоровна (будущая императрица). Оттуда *Ангел чистой красоты* перекочевал в пушкинские стихи, обращенные к Анне Керн (Я помню чудное мгновенье...).

Александра Феодоровна, отождествленная с Лалла-Рук, промелькнула и на балу в "Евгении Онегине" (в вариантах к восьмой главе):

Подобно лилии крылатой,
Колебясь, входит Лалла-Рук.

Так немецкая принцесса, ставшая российской императрицей, обернувшись индийской царевной из английской сказки, стала музой двух русских поэтов. Один из них был полутурок, а другой "потомок негров безобразный". Это ли не космополитизм империи и поэзии в России.

Святые мечты земли перенял у Жуковского Лермонтов, а зыбкие образы девы-жены ожили у Блока:

Она на бранных небесах,
Она в пылу сраженья...

("Певец во стане русских воинов", 1812 г.).

Эти две строчки кажутся заготовкой для блоковского "Куликова поля". Мелодии Жуковского прозвучали у Полонского и как-будто надолго отзвучали с Бальмонтом, из чего, однако, не следует, что напевные стихи больше не слагаются. Но создается впечатление: барочный риторический Державин явно заглушил романсно-балладного Жуковского.

Жуковский — секретарь императрицы, воспитатель будущего царя-освободителя, пользуясь своим, пусть и ограниченным, влиянием при дворе, не раз вызволял из беды поэтов (Пушкина, Баратынского) и выхлопатывал царскую субсидию Гоголю. Но есть и позорящее пятно на его совести и, при этом, литературное: это очерк о том, как следует *совершать* христианскую казнь. Тошнит от этой лицемерно-умилительной сентиментальщины. Жуковский удачно подобрал слова для медленного величавого гимна: "Боже, Царя храни...".

Константин Батюшков (1787-1855). Был он хил, хрупок и сам о себе говорил: "всё у меня маленькое". Но это не помешало ему воевать, и он был ранен. Отличался меланхоличностью, но и любил на досуге блаженно "тибуллить" — предаваться ничегонеделанью (*fag niente*) в обожаемой им Италии. При всей subtilности, очень даже умел повышать голос в поэзии. С сильного лирического удара начинается его стихотворение о погрузившихся в море развалинах римского города: "Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...".

А в "Элизии" Батюшкова удар приберегается к концу. Бог любви введет поэта

В тот Элизий, где все тает
 Чувством неги и любви,
 Где любовник воскресает
 С новым пламенем в крови,
 Где, любясь пляской Граций,
 Нимф, сплетенных в хоровод,
 С Делией своей Гораций
 Гимны радости поет...

После высокой жаворонковой ноты в слове "с Делией" чтецу кажется его сердце разрывается на части и он блаженно выпускает дух в античном раю! (Вот что может наделать пирри-

хий во второй стопе четырехстопного хорей!)

Умел Батюшков задыхаться в стихах, но у него чаще слышится замедленная элегическая гармония в ямбах:

Я берег покидал туманный Альбиона;
Казалось, он в волнах свинцовых утопал... (1816 г.)

Отзвуки у Пушкина:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край родной... (1830 г.).

А через 102 года Цветаева, в стихах, посвященных Байрону, повторила поистине священный в русской поэзии батюшковский стих: "Я берег покидал туманный Альбиона...".

У Пушкина плавная батюшковская элегичность слышится в "Воспоминания". "Когда для смертного умолкнет шумный день..." (1828 г.). А у Батюшкова — "...Когда окрест замолкнет шум градской..." (1815 г.). Таких примеров немало. Великий Пушкин был многим обязан маленькому Батюшкову.

В письме к Гнедичу (1811 г.) Батюшков, намечая характеристику обожаемого им Ариосто, *угадывает* черты *будущего* Пушкина: он (Ариосто) "умеет соединять эпический тон с шутивым, забавное с важным, легкое с глубокомыслием, тени с светом (...), умеет растрогать до слез, сам с вами плачет и в одну минуту смеется, и над собой смеется". Разве это не зрелый Пушкин, пишущий "Евгения Онегина"?

Архитектурный неоклассицизм Росси кажется мне слабее затейливого, но и могучего барокко Растрелли. А перечитывая дикие и торжественные стихи барочного Державина, отдаю ему предпочтение перед всеми другими русскими поэтами! Но и знаю: певцу Фелицы, Суворова, пиров, смерти, Бога надлежало уступить дорогу поэтам Арзамаса — всему русскому ампиру, который покрывает первую треть прошлого столетия (1801-1837 гг.) — пушкинскую эпоху, наш золотой век. А если говорить на языке *измов*: это вариант классицизма с романтической прививкой. Зачинателем ампира в поэзии был Батюшков, продолжатель Сумарокова — мастера *среднего стиля* и *щастливого слагателя* песенок. За ним — Богданович с "Душенькой" (русское рококо), Дмитриев, Карамзин да и Жуковский — все они

заговорили на *среднем* языке, ставшем нашим общепринятым языком.

Не нравились Батюшкову грубые звуки, *и, иий, иий, тры*. А именно ими упивались наши "барочники" — Ломоносов, Петров, Державин. Батюшков настраивал свою элегическую лиру на итальянский лад, что еще отметил Пушкин. Для него этот батюшковский стих

Любви и очи и ланиты...

прозвучал совсем по-итальянски.

В очерке "Прогулка в Академию Художеств" он один из первых — прославил архитектурный Санкт-Петербург. Там "все части отвечают целому (...) и в целом какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями" (1814 г.).

Батюшкова почти забыли, но его воскресил Осип Мандельштам, бормотавший:

— Ни у кого этих звуков изгибы
И никогда — этот говор валов.

Благодаря "встрече" с Батюшковым Мандельштам достиг своего лирического апогея и одарил нас этими благодатнейшими стихами:

Наше мученье и наше богатство
Косноязычный с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез... (1932 г.)

Мать и дядя отца Батюшкова были сумасшедшие, и он знал, что тоже заболит душевно, что и случилось, когда ему было лет тридцать пять. Незадолго до смерти, в вологодской тиши, он начал "входить в ум" и вернулся к поэзии:

Царицы, царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте, цари! Я сам на Пинде царь.
Венера мне сестра и ты, моя сестрица.
А кесарь мой святой косарь.

Такие вот "темноватые" стихи в нашем веке легче ощутить, чем в XIX-м.

Джон Китс приравнял первый английский перевод Гомеровой "Илиады" Джоржем Чапманом (в 1611 г.) к открытию Тихого океана Бальбоа и его воинами, увидевшими его там, где они не ожидали, у мыса Дариен. Литературным событием было и немецкое переложение "Илиады" Иоганном Фоссом (в 1793 г.). Но на Западе и в средние века знали Великого старца. Еще лучше знала его Византия, не пожелавшая передать своим колониальным "россам" наследие Эллады, и русские только упоминали об Омире, как они его называли.

"Илиаду" перевел *Николай Гнедич (1787-1833)*. Размер: гекзаметр, т. е. шестистопный дактиль. Это усыпляющий метр... К счастью, одна шестая 15690 стихов у Гнедича "стянута": дактиль заменен хореем, и эта неправильность оживляет текст. Пример: Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына! Так, хореический толчок будит задремавшего читателя! А вот Жуковский усыплял переведенной им "Одиссеей", где на 11963 стиха только 123 хореев. Стиль перевода Гнедича: *высокий*, со многими архаизмами. Поэма изобилует составными словами — кальками с греческого языка. Напр., Гера сопровождается эпитетами: волоокая, лилейно-раменная. Некоторые "композицы" не сразу разгадываются: стотельчатая жертва — приношение в жертву ста тельцов. По-видимому, на всех новых европейских языках античная поэзия кажется книжной. Многие переведенные с греческого слова остались чужеродными русскому языку. Но есть и прелесть в этой их чужеродности. А в самом древне-эллинском языке немало "домашности", отметил Осип Мандельштам. *Дактили* — пальцы (счет по пальцам), а для нас это ученое слово. Эллинская простота навсегда утеряна. Но в "Илиаде" Гнедича встречаются руссизмы: — Часто в оградах дворовых по сметишам смрадным валялся... Здесь переводчик обнаруживает смелость: в то время такие слова, как *сметище* (помойная яма по Далю) и глагол *валяться* исключались из высокого "штиля".

Идиллия Гнедича "Сиракузянки": и там гекзаметры, но наряду с архаизмами и немало просторечия (дуралей, заштопка). Это комика, а позднее Иннокентий Анненский ввел "низкие" слова и в свои трагедии из древнегреческой жизни.

Пушкин приветствовал русскую "Илиаду" двустишием (но позднее не удержался от эпиграммы):

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи!
Старца великого тень чую смущенной душой.

А истинное величие Гомера, слабо усвоенного в России, явил Осип Мандельштам: "Бессонница, Гомер. Тугие паруса..." Есть прелесть в абсурдной причине, будто вызвавшей Троянскую войну:

Когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи...

Так, в черные годы России он радовал нас дарами всей Европы, вознесенной им в русской поэзии.

Денис Давыдов (1784-1839). Слагаемые его поэзии и жизни: удаль, бесшабашность, непосредственность, но и строго выверяемое мастерство, умелое литературное мифотворчество.

Вероятно, он самого себя отождествлял с приятелем — Бурцевым:

Бурцев, ёра-забияка,
Собутыльник дорогой... (1804 г.)

Приглашая приятелей на пунш, Денисов и сам напивался, но ума не пропивал и создал свой кичливый миф о гусаре и партизане. Он уверял: Я иногда бывал на Пинде, но наскоком... Между тем, он очень тщательно, по-ампирному, приискивал для стихов слова, звуки, лад. Ему особенно удавались насмешливые хорей. В "Современной песне" (1836 г.) Давыдов так высмеивал салонного либерала-лицемера:

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврилу
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

Два его стиха вошли в поговорку:

Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова.

Барон Анри Жомини (1779-1869) — французский генерал русской службы, военный писатель, учредил Академию Генерального Штаба. У Давыдова он символ той глубокомысленной военной учености, над которой издевается лихой беззабот-

ный гусар-герой. Но втайне расчетливый Давыдов был чем-то сродни осмеянному стратегу Жомини.

Толстой отнял у своего Васьки Денисова, будто бы "списанного" с Дениса Давыдова, давыдовское "себе на уме"! Свою расчетливость Давыдов умел скрывать и о его поэзии можно сказать то, что он говорил о донском шампанском:

Брызни искрами из плена,
Радость, жизнь донских холмов!

Владимир Филимонов (1787-1858). Его напрасно забыли.
Пушкин,

Узнав философа-поэта
Под осторожным колпаком...

хвалил его поэму "Дурацкий колпак". Другая его поэма тоже имеет иронически снижающее наименование: "Обед". Филимонов — ампирный мастер легкой болтовни, чередующейся с философическими размышлениями: это напоминает "Евгения Онегина". Вот что он говорит о своем пиршестве:

В нем соль Афин и красноречье,
И роскошь древняя Римлян,
Вкус утонченный Галломан
И русское чистосердечье.
Здесь всё поэзии цветы,
Порыв фантазии игривой
И философии счастливой
Горацианские мечты...

И ему на этом пиру казалось:

Душа обедает сама!

Иных уж нет, а те далече... Кажется, пушкинистам до сих пор неизвестно происхождение этого стиха в эпилоге "Евгения Онегина". Пушкин приписал его Саади, но у персидского поэта этот стих не обнаружен. Не восходит ли эта строка к стиху молодого Филимонова:

Друзей иных уж нет; другие в отдаленьи... (1814 г.)

О жизни Филимонова мало известно. Он учился в Московском университете, недолго был вице-губернатором в Новгороде. Гнал водку, прозванную филимоновкой. В 1831 г. его отрешили от должности гражданского губернатора Архангельска. Ненадолго арестовали за неблагонадежность. После этого он жил в бедности, ослеп. Умер от водянки.

Павел Катенин (1792-1858). В его балладе "Ольга" (1816) читатели усмотрели вызов Жуковскому с его балладой "Светлана" (1808 г.). Гнедич осудил "простоту" Катенина, но Грибоедов и Пушкин отдали предпочтение грубоватой его народности. Обе эти баллады — переводы столь популярной в то время немецкой баллады Бюргера "Ленора", которую убитый на войне жених умчал на кладбище. Нас эти романтические ужасы уже не трогают. Но кое-чему в катенинской "Ольге" можно позавидовать! Он именует бесов летучей сволочью:

Сволочь с песней заунывной
Пронеслась за седоком...

Смелый образ! А хореи в этой катенинской балладе предвосхищают пушкинских "Бесов". Заслужил ли Катенин почти полное забвение современных читателей? Его могла бы оправдать и воскресить быть "Инвалид Горев" (написанная в 30-х гг.). Есть живость, выразительность в этом сказе о солдате Отечественной Войны. Он возвращается в свою деревню нищим. Но барин — князь и молочный брат Горева — назначает его учителем в свою сельскую школу. Инвалид счастлив: он рад потрудиться на ниве народного просвещения. Но нет ни сентиментализма, ни идеализации. Добрый служака Горев описан достаточно реалистически. Стихи — белые, тонические, но это не проза, а слышится в них своеобразный ритм. Катенин, как никто другой в русской литературе, избегал глаголов. Вот некоторые примеры:

Скарб свой в узел, и в мир крещеный на промысл...

Или:

Пузин дурак, а Мавра не дура: в купчихи (т. е. вышла замуж за купца).

Князь в отставку, свету челом... С печали да в деревню...

Поражает и восхищает ни на что другое непохожая жажда, отрывистость этого *лающего* сказа об инвалиде Гореве.

Писемский в романе "Люди сороковых годов" изобразил старого Катенина под именем Коптева: увидел в нем помесь светского маркиза и азиатского князька.

Катенин, как и Давыдов, иногда дерзил начальству, но оба вышли в генералы. Они чувствовали и думали либерально, но их упасло от участия в тайных обществах и от Четырнадцатого Декабря. При всей независимости, гордости, они оставались верными слугами своего Государя.

Князь Петр Вяземский (1792-1878). Некоторые его эпиграммы — едкие и есть прелесть в его романсной "Простоволосой головке". Пушкину нравился "Первый снег" Вяземского и он взял оттуда эпиграф к "Евгению Онегину": И жить торопится и чувствовать спешит... Но он же осудил рассудочность многих стихов Вяземского и в письме 1826 г. бросил афоризм: А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата... Ампириной чеканки не доставало Вяземскому и его, стихотворца, забыли. Но в нашей поэзии должно остаться это его скрипуче-жалостное четверостишие, написанное незадолго до смерти (а жил Вяземский 86 лет и из них 70 занимался литературой):

Так прошайте ж, Петр Андреич,
Наш разрыв необходим.
Конный пешим не товарищ,
Мертвый не ходок с живым.

Гоголь видел истинное призвание Вяземского в истории, и ему очень удалась монография о Фонвизине, где дается живописный исторический портрет всей Екатерининской эпохи. Но лучшее из его обширного литературного наследства "Записные книжки", вернее же замечательный, но слабо реализованный замысел этих записей. Хотелось ему составить по кусочкам новую "Россияду", не героическую, не в подрыв Херасковской а "Россияду" домашнюю, обиходную...". Включил бы он в свои записи как можно больше мелочей жизни, — дробей... Это "разбросанные заметки, куплеты, газетные объявления..."

"...сплетни, сказки, и не сплетни и не сказки...". В другом месте он называет свою "Россияду" *плевальником*. Так, пусть и сбивчиво, Вяземский предвосхищает жанр гениального Розанова в "Уединенном", "Опавших Листьях", "Мимолетном". Но Розанов, кроме бытовых дробей, "выплывал" недоступную поверхностно-скептическому Вяземскому метафизику и вообще далеко позади себя оставлял своего предшественника — светского остролова.

Александр Грибоедов (1795-1829). Мы привыкли восхищаться грибоедовской комедией, но едва ли понимаем всю прелесть, всю красоту этой пьесы. Нам все еще мешают застарелые предрассуждения, привитые Белинским да и Гончаровым (в очерке "Милльон терзаний"). "Горе от ума", несомненно, сатира на московские нравы 10-х гг. прошлого столетия. Всем запомнилась нелепая угроза Скалозуба: фельдфебеля в Вольтеры дам. Но мы поневоле сравниваем минувшее с настоящим. Вместо фельдфебеля большевики дали в Вольтеры чекиста. Поэтому скалозубовские и фамусовские грешки кажутся нам мелкими провинностями.

Что же такое "Горе от ума"? Да, сатира, но и музыка — веселый пир еще несложившегося русского литературного языка — с прибавкой просторечья (вдругорядь, пожал-оста) или варваризмов: так Софья говорит Чацкому, что идет к *парикмахеру*. Радует до нашего века сохранившееся в московском произношении *сурьезно*... Оказывается, существовали тогда не только гвардейцы, но и гвардионцы, и не для того ли, чтобы их можно было срифмовать со слабо рифмующимся светилом: говардионцам-солнцам! Может быть, "Горе от ума" следует играть не как драматическое представление, а как поэтическое. Слышится мне в комедии четкая скороговорка, речитатив — быстрый и легкий даже в тех случаях, когда длинные стихи (шестистопный ямб) разделяются между тремя голосами: Так, Софья кричит за стеной: *Эй, Лиза!* Крадущийся Фамусов бросает междометие *Тс!* (и это слог). А горничная Лиза откликается: *Ушел! — Ах! От господ подале...* Паузы нужны, но не психологические, и вообще следует избегать шаблонной актерской драматизации. Это ведь стихи! Каждая строка в поэзии — целое, заканчивающееся хотя бы секундной паузой (или в цезуре). Какие замечательные

рифмы в комедии: уморительные и упоительные, очень звонкие. Их, не боясь манерности, нужно подчеркивать голосом. Зачастую рифмы богатые: уши-баклуши или ужас-понатужась. Заметим: здесь мягкое "с" произносится москвичами твердо — *понатужас*.

Немало составных рифм: петли-нет ли, у вас-два-с. Иногда ударения сдвинуты: внучат-научат. Правда, то же самое в комедии Катенина "Сплетни": внучат-наскучат.

Сколько волшебных звуков в этой сатире, хотя бы эти два стиха:

А тетушка все девушкой, Минервой,
Все фрейлиной Екатерины Первой...

Русские *ушка, ушкой* окружены великолепным рокотом латинской Минервы и германской фрейлины! Грибоедов иронизирует... и переносит нас в какой-то звуковой рай. Автор писал: в комедии он вывел 25 дураков. Но не каждый ли из них великий мастер русского языка. Мастерски говорят и герои "Ревизора", но медленно, прозой, и у одного только Хлестакова слышатся нотки грибоедовского рококо... когда он, опьянев, с упоением декламирует: Лабардан, лабардан...

Кроме всем известных поговорочных стихов, в комедии немало выражений или изречений, перерастающих комизм, сатиру. Так — весьма посредственная Софья говорит о себе и пошлом Молчалине:

Счастливые часов не наблюдают...

То же самое и очень всерьез можно было бы сказать о самых знаменитых любовниках, будь то Тристан и Изольда или Ромео и Джульетта. Чацкий издевается над французскими модами. Московские дамы одеты:

Рассудку вопреки, наперекор стихиям...

В четвертом (последнем) — кульминация:

Чацкого, со слов Софьи, объявляют сумасшедшим. Это театрально эффектно, но не должно затемнять-заглушать экзотические "арии", спетые тремя персонажами комедии. Репетировать упирается глупостью, Фамусов злостью, а Чацкий своим

гражданским негодованием. Лучшая ария у Репетилова. Вообще же, не совсем понятно — почему он понадобился Грибоедову. Композиция пьесы не требует его появления (в последнем акте). Но этого болтуна оправдывает поэзия. Уморительны его покаянные гиперболы:

Танцовщицу держал! И не одну:
Трех разом!
Пил мертвую! Не спал ночей по девяти!
Все отвергал: законы, совесть, веру!

Смешно, глупо, но есть здесь какой-то упоительный вылет на вольную волю. Немало поэтической резвости и в арии старого злящегося Фамусова:

Где домовые? Ба! Знакомые всё лица!
Дочь, Софья Павловна! страмница!

Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми;

Подалее от этих хватов,
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов...

Третья прощальная ария Чацкого. Пушкин верно заметил: Этот негодующий герой недалек: зачем мечет бисер красноречия перед московскими свиньями? Умен один автор. Но последний монолог Чацкого упоителен:

Дряхлеющим над выдумками, вздором, —
Безумным вы меня прославили всем хором...

Вон из Москвы! Сюда я больше не езду,
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок!
Карету мне, карету!

Какое наслаждение так вот великолепно звучно браниться! Отец "Подростка" Достоевского, красавец Версилов, произносил Монолог Чацкого перед зеркалом... и сын навсегда в своего блудного отца влюбился. Но я загримировал бы этого потенциального декабриста-болтуна под мартышку и наделил бы его дискантом или фальцетом. Другая мартышка — Репетилов, но

пусть он обладает лирическим тенором. У тяжелой некрасивой Софьи слышится мне контральто. Колокольчики звенят в горле плутовки Лизы. Скалозуб, конечно, басит, у Фамусова приятный баритон со звоном и хрипотцой... Но это не опера... Слышу быстрый речитатив звонкоголосых героев, героинь, слегка напевающих в этом комическом, но и лирическом хороводе волшебных звуков, поговорок, пословиц, сентенций.

У барочного Державина — выразительность и мощь, может быть, ни одним русским поэтом не превзойденная. У ампирного и чем-то "рококошного" Грибоевдова — впервые обретенное в русской поэзии совершенство, предвосхищающее гармонию Пушкина.

Барон Антон Дельвиг (1798-1831). Он лелеял память о Золотом веке. Его гексаметры в идиллиях звучат иначе, чем у строгого Гнедича. Так, в идиллических "Купальницах" нежат слух эти сладострастные признания:

С лебедем шутим свободно: то длинную шею лаская,
Клёв его клоним к устам и целуем; то с нежностью треплем
Белые крылья и персями жмемся ко груди пуховой... (1824 г.)

Лучшие его стихи посвящены дружбе. Пушкин! Он и в лесах не укроется / Лира выдаст его громким пением... писал он еще в Царскосельском Лицее.

Не странно ли, что до сих пор не был оценен его "Дифирамб" на приезд трех друзей (Баратынского из Финляндии и двух лицейских товарищей — Кюхельбекера из Германии и Яковлева из Бухары). Каждая звучная безрифменная строфа читается единым дыханием:

Пришли три гостя в обитель поэтову
С дальних сторон:
От финнов бледных,
Ледяноволосых;
От Реина-старца;
От моря сыпучего
Азийских песков.

Три гостя, с детства товарищи, спутники,
Братья мои!
За мной ко храму!
Я, плющем венчанный,
Три гимна священных
Кастору и Поллуксу
Хвалу воспою. (1821 г.)

Кажется, этим размером, заимствованным из греческой поэтики, никто в России не писал. В первых двух строках — длинной и короткой — слышатся раскатистые звуки. Далее следует скороговорка и некоторое замедление в последнем седьмом стихе.

Вопреки своей почти обломовской лени Дельвиг издавал для приятелей-поэтов альманах "Северные цветы" и "Литературную газету". Кроме Дельвига-классика есть еще народный Дельвиг. В известной песне, положенной на музыку Глинкой, Дельвигу очень удалась только первая строфа:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман:
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан...

Кажется, в оригинале у Дельвига дождичек был не *частый*, а *мелкий*, что звучит куда лучше. Мал Дельвиг, а без него русская поэзия была бы беднее.

Юрий Иваск

ПОДРУГА

Я бедности совсем не сторонюсь,
Радужно, без обид ее приемлю.
Она недаром послана на землю
С своей сестрой, которой имя Грусть.

Не затемнит она далеких звезд,
Но укротит ненужные порывы,
И почва черствая ее древнейшей нивы
Дает душе прямой и долгий рост.

Я перемен в судьбе своей не жду,
Да и с каким иным сравнится благом,
Что вот могу идти небыстрым шагом
С неслышными, с негромкими в ряду!

Свою любовь под строгостью тая,
На всех буграх и скатах лихолетий,
Ты мне была опорой на свете
Подруга богоданная моя!

*

Как найти среди многих дорог
Только ту, на которой — не сбиться?
Как вопросов тревожный приток
Оттеснить до последней границы?

Как смягчить исполинский размах
Неприметно настигшего горя?
Кто поможет склониться во прах
Не дыша, но смирясь и не споря?

Распрямись, крохи сил собери,
Принимая страданье, как милость:
Есть таинственный стержень внутри,
Чтоб душа твоя не надломилась!

Мария Волкова

ГЕОРГИИ ИВАНОВ

РАННИЕ ВЛИЯНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ

"Жизнь сочинителя есть
драгоценный комментарий к
его сочинениям" (Герцен).

Со слов поэта Владимира Злобина мы знаем, что детство Г. Иванова было "очень счастливым". Это упоминание об очень счастливом детстве может служить как одна из разгадок того интенсивного негативизма, который проявился в творчестве поэта, начиная с тридцатых годов, если не раньше. "Очень счастливая" жизнь в детстве и юности воспринималась им как оглушительный контраст с его собственными настроениями в тридцатые годы (и позднее), с настроениями человека, написавшего "Распад атома".

Ранние воспоминания должны были составлять некую святую тайну "проклятого поэта". Вот почему Г. Иванов, в общем-то склонный к воспоминаниям (вслух и письменно), избегал рассказов о своем детстве. Не слишком частые образы детства в его поэзии — не его личного, но идеи — отмечены отношением чистоты и взволнованности. Ясный пример тому — одно из поистине вдохновенных его стихотворений — "Синеватое облако".

Все какое-то русское —
(Улыбнись и нажми)
Это облако узкое,
Словно лодка с детьми.

И особенно синяя
(С первым боем часов)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов.

Представление о России нетленной сливается здесь с образом детства. О семье поэта известно мало. Предки — военные; отец — гвардейский офицер; со стороны матери — примесь голландской крови. По некоторым штрихам в ранних стихотворениях можно заключить, что детские годы прошли в доме, где прожило несколько поколений, во всяком случае среди предметов старины, напоминающих о предках и о "преданьях старины глубокой". Обстановка потомственного дворянского гнезда, в котором поэт рос, если даже проводил он в родительском имении только каждый "дачный сезон", способствовала появлению в его поэзии ретроспективных настроений.

Авторы статей о Г. Иванове делают вывод о влиянии ретроспективизма Михаила Кузмина, но вследствие незнания биографии Г. Иванова никто еще не сказал, что предрасположенность к ретроспективной теме имела и биографически и как результат особого темперамента. Но реализация этой предрасположенности случилась в итоге личного знакомства с законодателем эстетской моды и его стихами.

Кроме самого последнего периода, поэзия Г. Иванова вообще скупа на автобиографические признания. Правда, есть надежда: чем подробней мы будем знать жизнь поэта, тем большее число его стихов проявит биографический характер, штрихи или фон. Если мы знаем, например, что поэт родился в Литве, мы конкретнее понимаем следующую строфу:

Растрепанные грозами тяжелые дубы
И ветра беспокойного — осенние мольбы,
Над Неманом клопочущим — обрыва желтизна
И дымная и плоская — октябрьская луна.

Здесь не просто романтический ландшафт, какими полна его книга "Вереск". Здесь показан определенный пейзаж (в Ковенской губернии), знакомый Г. Иванову с детства.

О семье Г. Иванова, как уже сказано, известно немного. У него была старшая сестра, которая дала юному поэту деньги на издание первой книги, вышедшей в 1912 г. с посвящением "сестре Наташе". Был старший брат, который также жил в Петербурге, когда Г. Иванов учился в столичном кадетском корпусе. Отец умер, когда мальчику было около десяти лет. В соответствии с

желанием отца его отдали во Второй петербургский кадетский корпус.

В корпусе совсем юный Г. Иванов интересуется современной поэзией и, в частности, как известно из воспоминаний А. Перфильева, знакомится с на шумевшей книгой Городецкого "Ярь". Сосредоточенность интересов на литературе была велика, так что Г. Иванов едва ли участвовал в мальчишеских проделках своих одноклассников. В то же время обозначились и черты его личности — насмешливость, индивидуализм и некоторая неуловимость точки зрения, когда собеседнику не вполне видна граница между серьезностью и шуткой.

Далее мы видим Г. Иванова в 1909 г., когда он вернулся в Петербург и в корпус после каникул, проведенных в "виленском имении". Пятнадцатилетний ученик кадетского корпуса обратил на себя внимание символиста Георгия Чулкова. Тетрадка детских стихов чем-то тронула изобретателя мистического анархизма, и последний становится литературным опекуном начинающего поэта. Корни мистического анархизма Чулкова полностью уходили в декадентство. Последнее же — в онтологическом плане — он понимал как смешение света и тьмы. Он угадал наиболее важный подтекст "Стихов о Прекрасной даме", говоря о книге словами самого Блока: "великий свет и злая тьма". С Блоком он познакомился в 1904 г. у Мережковских и долго оставался среди наиболее близких Блоку людей, так что осенью 1909 г. запросто мог привести к нему Г. Иванова. О своей дружбе с Блоком Чулков позднее писал: "Мы нашли общий язык, не для всех внятный. Этот тогдашний "эзотеризм" теперь едва ли кому понятен" (Г. Чулков, "Страницы жизни", изд. "Федерация", 1930). Чулков видел декадентство как феномен, вышедший за пределы литературы и влиявший на самую жизнь некоторой части интеллигенции. Посвященный в эту специфическую атмосферу эпохи испытывал, по словам Чулкова, определенные демонические переживания, "сопутствующие духовному опыту поклонника Девы Радужных Ворот". "Я убедился, — писал Чулков, — что есть такая тайная прелесть, которая ужаснее иногда тайного безобразия". Для Г. Иванова Чулков явился посредником этой "тайной прелести", которую сам Г. Иванов впоследствии называл "декадентской отравой",

зная про себя, что до конца своих дней он останется невольно причастным этому посвящению.

Именно в этом пункте надо искать причину одновременной интуитивной ориентации Г. Иванова на Чулкова (и символистов) и на Кузмина. У Кузмина было редкое для русского литератора качество: он стыдился трагизма. "Прекрасная ясность", ретроспективность, изящная стилизация, смесь простодушия и манерности — все эти свойства поэзии Кузмина были отличным противоядием против "декадентской отравы". В 1916 г. Г. Иванов увидит в этом противоядии иного рода яд, но этому открытию предшествовало шестилетнее увлечение Кузминым. Вероятно, именно Чулков привел Г. Иванова на "башню" к Вяч. Иванову, в квартире которого тогда, осенью 1909 г., жил Кузмин. Той же осенью, в ноябре, Г. Иванов был представлен Блоку.

"Чулков, близкий Блоку человек, — вспоминал Г. Иванов, — вошел в кабинет, потряхивая своей лохматой головой, улыбаясь бритым актерским лицом, тыча пальцем в мой кадетский мундир: "Вот привел к тебе военного человека". Так описывает Г. Иванов в "Петербургских зимах" свой первый приход к Блоку. Встречи с Блоком запечатлелись в памяти Г. Иванова на всю жизнь. В его творчестве стихи или личность Блока так или иначе будут присутствовать до 1958 г. — года смерти. В 1909 г. литературные симпатии Г. Иванова еще символистские. Бальмонт и Брюсов были любимыми поэтами, и теперь он открыл для себя Блока — не только поэта, но еще и собеседника и симпатизирующего наставника. Правда, беседы походили скорее на монолог. Вот как Г. Иванов говорит о своей первой встрече. "Больше всего меня поразило, как Блок заговорил со мной. Как с давно знакомым, как со взрослым и точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение не то что прошло — я просто о нем забыл. Я вспомнил о нем с новой силой уже потом, спустя часа два, спускаясь вниз по лестнице с подаренным мне Блоком экземпляром первого издания "Стихов о Прекрасной даме" с надписью "на память о разговоре".

Других свидетельств о первой встрече у нас нет. Но в дневнике Блока за 1911 г. имеется запись от 18 ноября о беседе с Г. Ивановым, носившей более или менее аналогичный характер,

т. е. преимущественно характер монолога. "Когда днем пришел Г. Иванов, — пишет Блок, — я уже мог сказать ему... о Платоне, о стихотворении Тютчева, о надежде, так что он ушел другой, чем пришел". Примечательно здесь слово "уже", свидетельствующее о некотором прогрессе в подобных беседах, по крайней мере с точки зрения Блока, а также о том, что разговоры с Г. Ивановым имели место неоднократно.

Как Блок не понял, что говорить об отвлеченных предметах с пятнадцатилетним подростком несколько преждевременно; к тому же с подростком, каким был в то время Г. Иванов, то есть естественным образом далеким от интересов философских, но зато с оформившимся интересом к поэтической технике. "Должно быть, — отвечает Г. Иванов на этот вопрос, — Блок не замечал моего возраста и не слушал моих наивных реплик. Должно быть, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Случай — я был перед ним, в его орбите, — и он посылал мне свои туманные лучи, почти не видя меня".

Но встречи с Блоком осенью 1909 г., как и последующие, дали Г. Иванову гораздо больше, чем только минуты высокого волнения. С самого начала своего литературного пути он попадает в главное русло столичной литературной жизни. "Туманные лучи", т. е. надсловесное влияние Блока состояло в том, что Г. Иванов поверил в себя как поэта — в становлении. Начал ли он писать стихи на пятнадцатом году жизни или еще раньше — сведений не сохранилось. Но это раннее пробуждение художественного дарования не является чем-то исключительным в русской поэзии и, в частности, среди акмеистов. Гумилев начал писать в восьмилетнем возрасте, Ахматова — с одиннадцати лет, Мандельштам — самое позднее с шестнадцати. Итак, решение стать поэтом созрело в Г. Иванове рано — еще на школьной скамье. Но это решение очень скоро натолкнулось на сопротивление матери и старшей сестры.

Блок не оказал большого влияния на творческую манеру раннего Г. Иванова. Позднее, когда он вошел в гумилевский Цех Поэтов, он, казалось бы, должен был отмежеваться от Блока, как это сделал Гумилев. Но молодой Г. Иванов не обладал непримиримостью Гумилева, так же как не обладал он задирским духом юного Осипа Мандельштама. Г. Иванов умел

поддерживать отношения одновременно с символистами и футуристами и быть в самых дружеских отношениях с акмеистами Гумилевым и Мандельштамом.

Совершенно иной характер носили встречи с М. Кузминым. Если Блок был неизменно серьезен, склонен к монологу и наставничеству, то Кузмин, бывший тогда вдвое старше Г. Иванова, располагал к более раскованному обмену репликами и новостями, ценил шутку, любил литературную сплетню и большей частью избегал разговоров о поэзии. Его окружали молодые эстеты — литераторы и не литераторы, и несмотря на смешные и претенциозные стороны общения, круг этих людей был своего рода школой для начинающего поэта. Здесь ценили хороший вкус, знали литературные новости, говорили о выставках и о произведениях писателей-модернистов.

Кузмин в то время находился в расцвете своего таланта. Хотя, как отметил Брюсов, рецензируя сборник "Сети", стихи М. Кузмина — это поэзия для поэтов. Популярность "петербургского Уайльда" росла. Книжки его стихов издавались тиражом 1500 экземпляров, в то время как сборники многих других поэтов выходили в количестве 300 экземпляров. Секрет популярности состоял в том, что поэзия Кузмина, как писал Н. Гумилев в "Аполлоне", откликнулась на все, что волновало петербургские салоны и гостиные. В частности это был интерес к 18 веку, что является особенностью и ранних книг Георгия Иванова. Одновременно с петербургским художником Сомовым Михаил Кузмин был едва ли не первозачинателем ретроспективности и стилизации как артистической моды. Однако мода скоро превратилась в направление, давшее немало прекрасных стихов, картин и художественной графики. Характерна запись в блоковском дневнике: "просматривал журналы "Искусство и печатное дело" и "Старые годы" и на полчаса упился Сомовским очарованием". Сомовский ретроспективизм нравился таким разным поэтам, как Блок, Кузмин и Георгий Иванов, который тоже "упивался очарованием" графического искусства, но в отличие от Блока, делал это чувство достоянием своей поэзии.

Еще одна особенность Кузмина сыграла роль в творческой судьбе Георгия Иванова, — хотя и опосредственно, преломившись сначала в стихах акмеистов. Брюсов писал о М. Куз-

мине, что он обогатил русскую поэзию изучением поэзии старофранцузской, "из которой вынес любовь к сложным строфам". В смысле истории акмеизма важно иметь в виду, что и Гумилев и Мандельштам изучали в Петербургском университете именно старофранцузский язык и поэзию. Этот интерес у них проявился независимо друг от друга, но, пожалуй, в зависимости от Кузмина. Поэзия Кузмина была одной из ранних реакций на символизм. Его статья "О прекрасной ясности" ("Аполлон", 1910) явилась своего рода манифестом *протоакмеизма*. Впрочем, этот "манифест", как и стихи, стоял где-то на полпути от символизма к акмеизму.

Кроме пафоса изящества и "очарования милых мелочей", было в поэзии Кузмина и некое жеманство и невозможность трагизма, и — по определению Г. Иванова — "опасная легкость". Всем этим качествам Г. Иванов также отдал дань в начале своего литературного пути. Личное знакомство с Кузминым произвело на него сильное впечатление. Оно, казалось, было неизгладимым даже когда Г. Иванов резко переменял взгляд на Кузмина.

"Летом 1910 г., на каникулах, — вспоминал Г. Иванов, — я прочел в 'Книжной летописи' Вольфа объявление о новой книге. Называлась она 'Студия импрессионистов'". С этого момента начинается фактически новый период в жизни поэта. Его литературные симпатии, естественно, еще не определились. Не было устойчивых эстетических ориентиров, кроме способности различать "современное" в поэзии от "несовременного". *Вкус*, который в скором времени окажется главным критерием его литературных оценок, все еще был неустойчив и переменчив.

"Студия импрессионистов" явилась одной из ранних коллективных публикаций будетлян, позднее назвавших себя футуристами. В ней участвовали Хлебников, Д. и В. Бурлюки, Евреинов, Гуро, Кульбин. Примечательно, что Г. Иванов, которому не было еще шестнадцати лет, самостоятельно, без внешних влияний заинтересовался этим авангардным изданием. Русская книжная торговля в эти годы отнюдь не находилась в упадке. Не только в столицах, но и в провинции тысячи людей, развивших свои вкусы на литературе декадентов, на "Мире искусства" и родственных явлениях художественной жизни и,

конечно, на символистах, были открыты художественным исканием времени. Но "Студия импрессионистов" абсолютно не имела успеха. Г. Иванов оказался одним из трех покупателей.

Георгий Иванов рано увлекся живописью и рано научился понимать язык этого искусства, что, как это ни парадоксально, не столь уж типичная особенность у писателей. Он был уже знаком с французским импрессионизмом, и само это слово означало для него не только специфическую манеру живописи, но звучало как синоним "модернизма" вообще. Именно по этой причине объявление о "Студии импрессионистов" могло заинтересовать его.

Врашаясь в кругу почитателей Кузмина, он познакомился с творчеством художника Сомова. Затем наступил черед книжной графики петербургских художников, включая Добужинского, чья студия была в том же доме, где жили Вяч. Иванов и Кузмин. Впоследствии М. Добужинский оформил книгу Г. Иванова "Сады" (сделал обложку и пр.). Культура оформления книги была в это время в своем апогее, и Г. Иванов проникся этим современным увлечением. Вот почему, вспоминая это время, он пишет (хотя и с иронией): "Студия импрессионистов" внешнею не разочаровала. Формат большой, длинный, обложка буро-лиловая, с изображением чего-то непонятного: может быть, женщина, может быть, дом". Что же касается содержания, то оно его "потрясло". С завистью он перечитывал стихи Хлебникова. Но и другие авторы альманаха показались ему ультрасмелыми и суперпрекрасными.

До знакомства с произведениями футуристов он подражал Брюсову. Другим образцом явился Бальмонт. В этом случае привлекали стихотворные размеры, легкость и музыкальность стиха, но менее — темы и содержание. Г. Иванов уже посылал свои стихи в журналы, например, в "Ниву", откуда получал в ответ вежливый, но непреклонный отказ.

Влияние "Студии" оказалось настолько сильным, насколько оно было кратковременным. Г. Иванов немедленно пробует себя в новом стиле. Он пишет "футуристские" стихи и посылает их Кульбину. Военный врач, искусствовед и художник Н. Кульбин имел обыкновение быть неумеренно щедрым в своих похвалах. В ответ на письмо Г. Иванова он написал о его стихах: "Дорогой

друг, присланное — шедевр. Пойдет в ближайшей книге". Так состоялся литературный дебют Г. Иванова.

Художник Ю. Анненков, познакомившийся с ним как раз в 1910 г., подтверждает, что публикация в "Студии импрессионистов" была его первым выступлением в печати. "Я помню Георгия Владимировича Иванова, — пишет Анненков, — еще в то далекое время, когда он носил форму ученика кадетского корпуса — мундир с золотым галуном на красном воротнике. Улыбающийся юноша с грустными глазами и пухлым ртом, он был тогда уже поэтом, творчество которого привлекало к себе внимание петербургской литературной среды. Стихи Иванова появились впервые в печати, когда ему было всего 15 лет, в 1910 г. в журнале "Студия импрессионистов". Хотя свой рассказ о знакомстве Иванова с Кульбиным Ю. Анненков основывает более на "Петербургских зимах", чем на личной памяти, мы все-таки имеем в воспоминаниях Анненкова два-три дополнительных штриха, относящихся к 1910 г. Например, Анненков передает слова Кульбина. Оправдывая этот ранний литературный дебют, Кульбин сказал, смеясь: "Возраст мальчугана был самый подходящий, а военная форма превращала Иванова в очаровательную куколку". Рассказывая о встречах с Кульбиным, сам Г. Иванов не столь добродушен в выражениях — "доктор от футуризма". Однако в период кратковременного увлечения футуризмом знакомство с Кульбиным было значительным эпизодом в жизни начинающего поэта. Приехав осенью 1910 г. в Петербург после каникул в родительском имении в Литве, Г. Иванов отправил Кульбину тетрадку стихов. Вскоре состоялось личное знакомство. Иванов приглашен в квартиру Кульбина, где он встретился с Хлебниковым, Бурлюками, Крученых. Однако настоящего знакомства не состоялось. Будетляне ориентировались на заумь. Г. Иванов инстинктивно ориентировался на смысл в традиционном понимании этого слова. Его поэтический темперамент, нашедший свое первое раскрепощение в акмеистских стихах, был полярно противоположен футуристическому темпераменту. Было и еще одно немаловажное обстоятельство: Георгий Иванов стал и остался одним из наиболее "петербургских поэтов", в то время как русский футуризм — преимущественно не петербургское явление.

Вадим Крейд

ДВЕ ПОЭТЕССЫ ЗАРУБЕЖЬЯ

Обзор творчества поэтесс эмиграции представил бы целое исследование, тем более интересное, что поэтессы эмиграции принадлежат к различным литературным течениям, от неоклассики до ультрамодернизма. Здесь, в этом очерке, будут даны характеристики творчества двух выдающихся поэтесс: Веры Сергеевны Булич, безвременно скончавшейся в Хельсинки в 1954 году и ныне здравствующей Лидии Алексеевны Алексеевой. По началу своего поэтического пути обе эти поэтессы являются современницами — с конца 20-ых и начала 30-ых годов в эмиграции. Это время конца Серебряного Века и потому сразу возникает мысль о почти неизбежном влиянии Анны Ахматовой на молодых начинающих поэтесс.

Но именно этого в данном случае не произошло: слишком различны были основы их натур. Для тогда акмеистки Анны Ахматовой характерен душевный конфликт, тогда как для Веры Булич характерна душевная примиренность, резиньяция, а для Лидии Алексеевой — чувство красоты мира и, позднее, душевная умудренность. А в манере письма, в особенности в мастерских описаниях природы у обеих поэтесс сказывается четкость почерка Бунина.

Как-то летом 1938-го года я зашел к нашим близким соседям по пригороду Таллина — Ныммэ (это был город-сад на песке, с соснами, елками и черникой в садах) — к Гершельманам*. У Гершельманов была гостья из Хельсинки — малень-

Эту статью покойный Б. А. Нарциссов прислал нам незадолго до своей кончины. РЕД.

*Вылающий художник и поэт Таллинского Цеха Поэтов.

кая шатенка лет 30-ти с матовым лицом и пушистыми волосами. Она напрестанно курила. Это курение — увы! сказалось роковым образом потом... К тому времени я уже был знаком с первым сборником Веры Булич — "Маятник" (1934, 55 стр.). Я был вполне очарован женственностью и грустной резиньятией этого сборника. Несмотря на молодость автора, в ее строках чувствовался вполне определившийся поэт. Темы были, конечно, ахматовские, но поданные в совсем другой тональности:

Отвечаю ему негромко я
И пугаюсь теперь наших встреч.
Мое счастье такое ломкое,
Что, я знаю, его не сберечь.

Можно ль стать мне еще смиреннее?
Что в себе я еще подавлю? *

Но душевная резиньятия этих строк не мешает зоркому глазу поэта видеть внешний — такой прекрасный мир:

Старинных кресел ряд. В резной
дубовой раме
Большое зеркало. Ореховый рояль.

...В забытом зале здесь — смеялись
и любили,
И плакали тайком, когда звенел рояль.
Но все ушли. Давно. И ты не трогай
пыли.
Уйди, оставь здесь нас — забвенье и
печаль.

Но мир не только грустен — вот благодатный северный июль:

*Первые две книги стихов Веры Булич изданы по старой орфографии.

Станицы круглых белых облаков
На синеве густой и сочной неба.
Сухой и теплый запах васильков,
Таящий привкус золотого хлеба.

Томит жарою солнечный июль.
А в комнате, прохладной даже летом,
В окне раскрытом занавески тюль,
Как парус полон воздухом и светом.

Отразился в стихах "Маятника" и суровый, строгий северный город:

В руках цветы черемухи убогой...
Восходит кверху лестницею строгой
Неосвященной улицы тупик.

Всхожу по ступеням. И на площадке,
Вдыхая ветки запах пыльно-сладкий,

Мотивы улицы многооконной:
И смех, и крик детей неугомонный,
И хриплый всхлип тягучий граммофонный,
И четкий шаг — стаккато каблука
О твердый лак асфальтного катка.

А весь контекст сборника "Маятник" сводится к эпиграфу из И. Анненского, взятый к "Лавке часовщика": "...Где сердце — счетчик муки..." — сердце с темной кровью / Бьётся с близким сердцем врозь". Там "Сердца маятник горячий / Бьётся, мается в груди..." Этот маятник "будет маяться, пока / Маятник не остановит / Неподвижная рука".

Неподвижная рука — рука смерти, рока. Каким-то предчувствием ранней смерти пронизан этот первый сборник молодой поэтессы:

И обреченная скитаньям,
Я уж далеко отлечу,

Когда зажгут с глухим рыданием
Над мертвой первую свечу

Обычно первый сборник начинающего талантливой поэта является только обещанием будущих достижений. Но "Маятник" Веры Булич, несмотря на свою эмоциональность (излишняя эмоциональность вредит художественности), уже является достижением: это и четкий и безупречный язык, и яркие образы, и самостоятельность тона, несмотря на близость к темам Ахматовой и Анненского.

Следующий сборник "Пленный ветер" (1938), изданный в Таллине, пронизан различными аспектами общего образа: "ветер". Этот образ встречается уже в "Маятнике", как символ темного, злого рока: "Встал на пороге незванный, непрощенный, / Руку заносит на счастье..." "...Знаю: вынудит, выкинет, выметет, / Склонит, согнет и сломит..."

Поэт "Пленного ветра" вырос, окреп духом и противопоставляет символу темного рока символ красоты мира: ветер, как динамика красоты природы и как образ еще неосознанного натиска творчества в душе поэта:

Нарастает, бьется, стремится
Крылья сомкнутые развернуть,
Пленным ветром в груди томится,
Душным облаком давит грудь..."

Райский бред неродившихся строф.

Ветер входит великаном
В перепуганную рошу...

Ветки гнутся, листья бьются
В иступленной суматохе
И по всей земле несутся
К небу солнечные вздохи

Умение поэта передать красоту внешнего мира метким и осязательно зрительным образом возросло в этом сборнике; северное лето недолго — август — это уже осень, пора разлуки с летним домом где-то вдали от большого города:

Печальный август на пороге
В распахнутую веет дверь.

...О ночи, об огнях созвездий
В сырой, холодной тишине,
О старом доме, об отъезде,
О завтрашнем последнем дне...

А кресла в расстановке чинной
Как будто думают о том,
Как им в нетопленной гостиной
Стоять всю зиму под чехлом.

Этой образности мог бы позавидовать сам Бунин. Сравнение двух очень близких образов Бунина и Булич показывает, что Булич идет дальше в лиричности зрительного образа: у Бунина "Застят ели черной хвоей запад, / Золотой иконостас заката..." / "Канун Купалы": "...Бродит в темных рощах Богоматерь...". Тут очень умелая и очень красивая стилизация. У Булич — углубленная лирика:

И душа так полна и богата,
Словно ей суждено по пути
В золотые ворота заката
Между черных елей войти.

А это из стихов, где все еще, с первого сборника веет предчувствием: "Оставляю, все оставляю, / Только память о счастье несущ..." А в следующем стихотворении концовка:

Отрекайся, душа, понемногу
От любви осязанья слепой
И готовься в большую дорогу,
Где лишь звёзды и ветер пустой

Для сборника "Пленный ветер" характерно проявление склонности поэтессы к формату стихотворений более крупному, чем отдельное лирическое стихотворение — это или малая поэма, или цикл. Так, например, вторую часть сборника открывает длинная вещь, написанная хотя и рифмованным, но свободным стихом: "Письмо" — повесть о столь характерной для первых лет эмиграции потере какого-то близкого человека в

далеком и недоступном мире. Поэтесса отправляет письмо по тонкой ниточке последнего, ещё сохранившегося адреса и с каким-то ясновидением следит за судьбой этого письма. Она видит почтальона, подходящего к домику, видит, как он достает письмо, но не слышит разговора... И вот:

Передо мной письмо, с которым вместе
В далеком странствии была душа.
А на конверте надпись: "неизвестен",
И след лилового карандаша

"Стихи о Дон Жуане" представляют собой большой цикл из восьми стихотворений. Привычные образы Дон Жуана и Донны Анны перенесены в северный город. Но и там "...влечет неодолимо/Тяжесть каменной руки".

Сборник замыкается небольшой поэмой, написанной белым стихом "Из дневника". Издание сборника, названного "Бурелом", датировано 1942-м годом, но в него входят и стихи 1938-го года, главным образом в первой из трех частей сборника — "Листки календаря". Этот сборник предгрозовой и грозовой — в нем отражены и предчувствия катастрофы, да и сама катастрофа: две войны Финляндии с СССР.

Первая часть дает настроения большого города и содержит обширный цикл: "Стихи о маленькой танцовщице", посвященные памяти юной, рано погибшей балерины. Второй раздел озаглавлен: "Бурелом". Бурелом — это то, что осталось от дома, где были "кресла в расстановке чинной" — только выжженная поляна; это сад, изрытый траншеями, это могила отца, разломанная танками.

Диссонансом звучит после этого раздел "Верность" — патриотическая радость по поводу победы, — русской по впечатлению автора, увы! советской по всем объективным данным. Эта абберрация была не единственной в послевоенной русской эмиграции в Европе.

Но язык и образность поэтессы остаются на прежней высоте.

Последний сборник Веры Булич озаглавлен "Ветви" (Изд. "Рифма", Париж, 1954, 46 стр.). Это больше не зеленые ветви, в которых запутался летний солнечный ветер; это — "Над черной оградой сквера / Сплетенья черных ветвей...". Это — "...деревья

строже и проше / В обнаженности октября...". Это — "...угольная графика ветвей, / Нагих, в изломах, без листвы и снега" / Но музыка безмолвная слышней / Когда сквозь них просвечивает небо". Это — уже жизнь склоняется к концу пророчески для поэтессы — к концу слишком раннему.

Время взгляд человеческий сушит,
Он с годами острей и трезвей...
Нет, не вещи я вижу, а души,
Невесомую суть вещей.

В "Ветвях" еще раз возвращается тема поэзии, как "неожиданное волшебство", как "отблеск чуда", оттого, что поэт начинает видеть за всем "сокровенного облика суть", со своею судьбою вместе: "Судьба свой замысел не спеша / Высекает из камня резцом". Этого слепая, еще спящая, еще не законченная, душа не видит и не понимает "...почему, / За что ей удары судьбы". Но вот "...Очнулась душа, и забрезжил свет в прозревших глазах". Это предчувствие датировано 1948-м годом. А вот и последнее стихотворение, датированное 1954-м годом:

Холодно, очень холодно мне.
А все-таки дело идет к весне.

Настанет весна. Моя, не моя?

Жизнь продолжается, жизнь жива!
От этого легче. Хоть это слова.

К упомянутым выше четырём сборникам стихов Веры Булич надо добавить к её библиографии две книги сказок для детей (Белград, 1931).

Было бы великой услугой русской поэзии и русскому читателю переиздание стихов Веры Булич.

Между поэзией Веры Булич и Лидии Алексеевой есть несомненное сходство: четкая образность и безукоризненный русский язык с выразительностью интонаций, и сама тематика:

природа (между Финляндией и Тиролем на близких планах нет больших различий), тема одиночества, небывшего счастья, дум о смерти и, конечно, ностальгическая тема России. Но читатель, взяв отдельное стихотворение, сейчас же почувствует разницу в тоне: женственную резиньятию одной поэтессы и умудренно-высокий тон единения с красотой — пусть жестокого, но прекрасного мира, — другой.

Лидия Девель стала обращать на себя внимание своими стихами совсем молоденькой девушкой в Белграде. Фамилия Девель — эльзасского происхождения, с ударением на последнем слоге:

Мой задор — от моей неуступчивой Польши,
Чувство меры — твое, виноградный Эльзас.

Где-то хитрая дремлет во мне Византия,
Синью греческих волн озаряется стих...
Но всех слаше мне имя Твое: Россия,
Все мои чужеземцы — у ног Твоих!

Выше были перечислены вкратце наиболее характерные общие темы творчества Лидии Девель-Алексеевой. Её иногда упрекали в однообразии тематики. Зададим теперь вопрос: "Обязательна ли для большого поэта широкая тематика?" Ответим: "Нет" — сила поэта заключается не в наборе тем, а в том, как темы, пусть немногие, им поданы. Другими словами, подчиняет ли поэт читателя себе, хотя бы вот этой одной темой? С другой стороны, если мы возьмем творчество наших признанных больших поэтов того же Серебряного Века, то мы тоже не найдем широкой амплитуды тем у них; у каждого есть своя область, и они редко выходили из своей колеи.

Так и с Лидией Алексеевой, несомненно Божьей милостью большим поэтом. Лидия Алексеева (под этим именем изданы сборники) издала четыре сборника, заключив их пятым, содержащим избранные стихи первых четырех. Сборники эти озаглавлены: "Лесное солнце" (1954), "В пути" (1959), "Прозрачный след" (1964), "Время разлук" (1971) и "Стихи. Избранное" (1980).

Как уже было сказано выше, тематика сборников близка, но общий тон каждого сборника выдержан в тональности его заглавия.

У вечерних присев ворот,
Жизнь, тяжелый клубок забот,
Из усталых рук уронить, —
И одну лишь распутать нить:
Шелковинку зеленых дней,
Что прошли по душе моей,
Что связали меня петлей
С этой злой любимой землей.

Затертый словесный штамп "единение с природой" — потерял свое значение и смысл от частого (и неумелого) повторения при оценке стихов. Да, начиная с первого сборника, поэзию Лидии Алексеевой можно назвать единением с природой. Но эти слова не штамп. Выберем несколько коротких цитат из сборника: "Ведь, мне, покорной, надо очень мало / Для грустной благодарности земле". "Последний дар утерянного рая / В огромном одиночестве земном". "Любопытством веселым дыша / Розовели во мху сыроежки". "...и пойду опять / Во мгlistом сумраке лесной дороги / Мои грибы и песни собирать".

Да, как будто очень обыкновенно, в стиле Бунина, — "описание природы". Всё это было бы так, но написаны эти "описания" в тяжелые и жестокие годы: вот еще несколько цитат из того же сборника. Это — дом после налета: "...на третьем этаже / Вся розовая, как в Помпее, раскрыта комната уже / Не смеющая быть моею". И дальше концовка:

...А здесь, внизу, под кирпичом,
В сору стекла, цемента, пыли, —
Квадратный детский башмачок,
Который ангелы забыли.

Лесное солнце — это бальзам для души, видевшей как

Старый кот с отрубленным хвостом,
С рваным ухом, сажай перемазан,
Возвратился в свой разбитый дом,
Посветил во мрак зеленым глазом

Пусть кончились годы воюющей с неба смерти и грохота и лязга обваливающихся домов, пусть кругом шумит огромный город за океаном — другое угнетение души в этом городе:

тусклый дом "перечеркнут лестницей железной / Точно неудачный черновик". И в этом городе вспоминается горячее солнце и шипящий прибой Крыма, где пахло высыхающей смолой дно ялика.

Черным блеском говоря
Сердцу чайки и ребенка,
Ялика и дикаря

"Единение с природой" у Лидии Алексеевой — это бегство от нашего жестокого века.

Уже с первого сборника Лидия Алексеева показала высокое мастерство стиха. Форма ее стиха классическая, в виде обычных катренов с чередующимися рифмами. Рифмы эти, оставаясь точными, в то же самое время не отвлекают внимания своей излишней "парадностью", что явилось бы диссонансом в общем направлении поэзии Лидии Алексеевой. Но есть у нее и интересные и свежие находки: "в крапиве чахлой" захолустья "улица запахла". Там же: "стекольный" — "колокольный". "Чемодан" — "роман" в "чемоданной пасти" — "начинался прямо с пятой части". И это не единичные примеры.

Свое настоящее мастерство Лидия Алексеева проявляет в образности. "Обломок горный в белом водопаде" "...расчесал седое серебро / На две живых, на две кипящих пряди". "Далекий гром, как встрепанный медведь / Ворочался в глухом берложем гнев".

И ель вздохнула глубоко,
Упруго ветку разогнула,
И солнцу зимнему легко
С приветом лапу протянула

Это — "С еловой лапы съехал пласт", потревоженный белкой.

Сборник "В Пути" содержит те же мотивы и темы, что и предыдущий, но в более подчеркнутом и выраженном виде. Особенно подчеркнут мотив потери родины и безрадостных итогов жизни в изгнании: "Вся жизнь прошла, как на вокзале..."

"Но я не ухожу с вокзала", с которого так и не ушел "тот состав, что поджидали", и "Я в безнадежном ожиданье / Грызу последний бугерброд".

Скоро ветер колыхнет, шурша,
Сад ночной, и, не противясь даже,
Лист увянувший, моя душа,
Подлетит к Твоим ногам и ляжет...

Это осень: "Из цветистого листопада / Вышел лес так прозрачен и гол"... "И остался от слов и листьев / Горьковатый и легкий прах".

Сборник "В пути" говорит, как начался этот путь:

По тревоге вышли из теплушек...

Смерть кружила то звончей, то глуше...

Грохот тормозов. И снова рядом
Бег земли — разлуки трудный бег.

Снова мотив смерти — яркий лист слетел и прилип к тротуару: его "обводит влажная кайма":

А я одна бреду в чужой толпе...
и

...прошлого сухая скорлупа
Хрустит в ответ, хрустит листом осенним..."

Третий сборник "Прозрачный след" (1964) пронизан тихой грустью и лирической символикой в доминирующих по-прежнему картинах природы. Если первые сборники напоминали своей цветистостью Бунина, то здесь чувствуется своеобразное женское транспонирование Тютчева. Ключевой образ сборника, дающий ему заглавие, — это след опавшего листа на камнях тротуара:

Сгорело всё, что эта жизнь дала мне,
Подметено. И пепел сер и чист.
И лишь стихов прозрачный след
— на камне
Запечатленный лист.

Этот образ листа, умирающего, но оставляющего след, был уже

в предыдущем сборнике и отмечен выше. Символика образа ясна: красота мира, молодость, любовь уходят, но слово, образ поэзии их хранит. В этом сборнике явственнее проступает тема любви — тоже в прошлом, сохранный образом:

Лиловой краской ярко расплылось
Написанное, в день еще недавний,
Бессмысленно и горько и тепло
Химическим карандашом на ставне,

Когда уже решили, что — конец,
Когда прощать не стало больше силы.
Легко и пусто пальцам без колец,
Губам без слов "любимая" и "милый".

Осталась только ласковая месть
В округлых "л" подчеркнутого слова.
Шел ливень. Смысл. И вот — нельзя прочесть.
Всё утонуло в лужице лиловой.

В сборнике надо отметить цикл воспоминаний из пяти стихотворений: Севастополь — Адриатика. Там в одном стихотворении есть замечательная по силе образности концовка:

...И пароход звонкоголосый,
Что, режа масляный атлас,
Швырнет на сушу толстым тросом
Охрипший океанский бас.

Сборник кончается молитвой:

Ну, и пусть — глупые, ну, и пусть — злые —
Но мы так одиноки, Господи!
Такая огромная черная ночь стоит над нами.
Прости нам наши жестокие игры земные, —
Мы, как дети, что спать боятся,
Из добрых рук вырываются
И с игрушкой в руках — засыпают.
Не отнимай у нас игрушек наших, Господи!
Если возьмешь их
За что схватимся,

Что прижмем к сердцу,
Зажмурясь, и падая-падая-падая
Из ночи в ночь?..

Последний, четвертый сборник озаглавлен "Время разлук" (1971). Если предыдущие сборники отражали "странствия земные" и разлуки с привычными и любимыми местами, то здесь это заглавие надо понимать иначе: это неизбежная разлука с землей и ее красотами:

Хвала тебе, мир весенний, хвала,
За то, что я в солнце твоём живу!

Коснется нас мудрой рукой Творец —
И в жизнь облекается серый прах —
И ты, и земля, и лист, и скворец
Мы все только глина в Его руках.

И горестно только время разлук,
И страха священного не побороть.
Когда вдохновенным касаньем рук
Нам новую Мастер готовит плоть.

Всё творчество Лидии Алексеевой — это гимн простой красоте земли:

Земля моя зеленая,
Звнящая земля,
Любовь неразделенная.
Но лучшая моя!

Слово "разлука" повторяется в сборнике:

И это отдан мне
Весь мир из Божьих рук,
И я стою в окне
Вагона всех разлук.

В этой теме разлук Л. Алексеева перекликается с В. Булич:

Мы теряем любимые вещи,
Мы привычных лишаемся благ...

Отрекайся, душа, понемногу
 От любви осязания слепой
 И готовься в большую дорогу,
 Где лишь звезды и ветер пустой... (В. Б. "Плен. ветер")

Близкая разлука с любимым миром вызывает ряд воспоминаний, доходящих до раннего детства, и это — вторая главная тема сборника: "...запах моря и полыни, / И мне, должно быть, восемь лет...".

Поразительно по технике передачи картин воспоминаний и по технике конструкции стихотворение: "Холодно, ветер... А у нас в Крыму-то..." "А у нас в Стамбуле-то..." "...А у нас в Белграде-то... трава пробилась у обочин..." "...А у нас в Тироле мутный Инн шумит... и зацветает вереск и пролески...". И дальше — оборванная концовка: "А у нас в Нью-Йорке..."

Следующая за "Временем разлук" книга озаглавлена просто: "Стихи" (1980). Это избранные стихотворения из предыдущих четырех сборников, с добавлением новых стихов после 1971 до 1980. Этот сборник избранных стихов может быть интересен тем, что автор считает в своем творчестве самым главным. Из новых стихов останавливает особое внимание стихотворение:

Прощаясь мирно с радостью земной,
 Я оставляю всю ее в наследство:
 И солнцем позолоченное детство,
 И молодость с лирической луной.

И зрелости свободной тишину,
 И бледную прохладу увяданья,
 И с тихой музой редкие свиданья
 Все в малой горсти бережно сомкну

И брошу в мир, как на последний суд,
 В бутылке запечатанное слово —
 И может быть, у берега родного
 Она пристанет; и ее найдут.

К какой школе или к какому направлению можно приписать этих двух несомненно сходных поэтов? Определенно — только не к нашему веку. Мы сейчас не найдем в поэзии ни

кристаллизованной фразы, ни яркой образности, ни прекрасной ясности, ни чувства красоты и, наконец всего, не найдем "божественного чувства меры". А это последнее заповедал нам Пушкин.

Борис Нарциссов

ТРАМВАЙ

...во гробе кто будет славить Тебя?

Псалтырь, 6:6.

Мороз. Янтарь и розы на закате...
Уже вечерня и гляжу назад:
Там искрятся трамваи на Арбате
И продается дивный шоколад.

Какие пустяки, а есть единство:
Невзрачной жизни-жисти торжество.
Не откажи: продли гостеприимство.
Ничей: покойник. А живой: я твой.

Я, окаянный, бормочу с Давидом:
Пвремени — спою псалом.
— Блажи, дитя, небытию не выдам...
Я на трамвае еду в Божий дом.

Ю. Иваск

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЯЧЕСЛАВЕ ИВАНОВЕ

БАКУ

В Баку все пассажиры вышли из поезда, кроме нас: нам некуда было идти. Вячеслав пошел взглянуть на город и вдруг встретился с Городецким. Оказалось, что тот с семьёй живет в Баку, что он вступил в партию, организовал стенную газету (новинка для этих мест), которую составляет и издаёт. Жилища в городе найти было невозможно, но на первые дни он нас поместил в тёмной проходной комнате какой-то квартиры, набитой многочисленными семьями. Наш багаж был втащен, и нам разрешили спать на полу. Я вынула из сундуков что можно, чтобы смягчить ложе Вячеслава. Помню ноги шагающих через нас людей. В Баку торговля была — о радость! — ещё свободная. Можно было купить чаю, колбасы, хлеба и масла, а добрые наши сожители одалживали чайник с кипятком, чтобы мы утешались горячим чаем. Так прошло два дня, а может быть, три. Пока что я пошла в музыкальный отдел Наркомпроса со своим документом: "инструктор по общему музыкальному образованию", а Вячеслав — в общий отдел того же Наркомпроса — для осведомления.

Оказалось, что в Баку, совсем незадолго до нашего приезда, был основан университет. Первичное ядро его состояло из группы профессоров Тифлисского университета, откуда во время краткого национального правительства в Грузии все русские профессора были изгнаны. Постепенно в Бакинский университет

начали съезжаться профессора из разных городов. Из Казани, например, приехала целая группа (на Волге тогда был лютей голод).

В Наркомпросе Вячеслава сразу направили в университет, где его приняли с распростертыми объятиями. Ему поручили кафедру классической филологии. Его новые коллеги пожертвовали своей курительной комнатой, чтобы нас в ней поселить. Проф. Селиханович (введение в философию) подарил нам одну из своих двух керосиновых печек, чтобы на ней стряпать. Проф. Гуляев (платоник и убеждённый коммунист, хотя и беспартийный) одолжил ведро; ещё кто-то подарил котелок для варки риса (царство пшённой крупы заменилось в Баку царством риса); студент Моисей Альтман (будущий ученик и друг Вячеслава) стащил для меня у своей тетушки пару красных чувак (т. к. я оказалась совсем без обуви).

Консерватория мне выделила для работы чудный рояль Бехштейна, который занял по крайней мере одну шестую часть нашего нового жилища. Вдоль одной из стен была построена перегородка из натянутой на раму бязи, за ней скрывались три железных кровати (пока что с голыми досками вместо матрасов). В остальной части комнаты стоял письменный стол Вячеслава и помешалась кухня.

Как в природе существует солнцеворот, до которого дни постепенно темнеют, укорачиваются, а после удлиняются, так и в нашей жизни настал день, после которого судьба начала меняться. Баку был нашим солнцеворотом. У нас были там трудности, болезни, даже большие несчастья, но общая линия судьбы шла на улучшение.

Как вспоминается нам Баку? Город был весёлый, залитый ослепительным солнцем. Торговля во всю, восточный базар с пестрыми тканями и коврами, женщины, покрытые чадрами, по улицам иератически шагали верблюды.

Порт не был в те времена очень оживлённым. Но вблизи университета была торговая пристань, там кипела работа и было весело. Приезжали баржи с арбузами. Перед ними организовывались большие группы разгрузчиков. Они становились в ряд на известном расстоянии друг от друга и быстро перебрасывали друг другу арбузы, ловя их, как если бы играли в мяч.

Маленький Дима (ему было тогда 8-9 лет) любил играть в порту с другими ребятами. Когда им было жарко, они прыгали с причала прямо в море, как были — одетыми. Одет же был Дима, как и другие мальчики, в штанишки и рубашку (в жару только в штанишки) из бязи, которые я ему шила под материнским руководством Нины Васильевны жены проф. Гуляева.

Сильное впечатление произвел на меня магометанский праздник "Шахсей-Вахсей". Мы его видели с Димой в 1921 году в прибрежном местечке Бузавны, где жили на даче. В день "Шахсей-Вахсей" вспоминается, как Гуссейн, один из ближайших преемников Магомета, был коварно предан своим народом войскам неверных и убит. Когда мы с Димой услышали звуки приближающейся процессии, мы прокрались к забору, отгораживающему наш садик от дороги, и спрятались в густых кустах. Нас, слава Богу, никто не заметил. Кроме процессии, никого на дороге не было — присутствие посторонних запрещалось. Шли только мужчины, одетые в чёрное. В рубашках на спине и на груди у них был широкий вырез от верха до пояса. Шли они, ритмически раскачиваясь, как одержимые, под нестерпимо настойчивый полувыкрик-полуприпев: "Шах-сей... Вахсей...". Высоко вскидывали над плечами цепи или ремни и под тот же ритм хлестали себя до крови по голым спинам. Вокруг клубилась слепая, фанатичная атмосфера; какая-то тёмная сила, которой уже никто не может владеть и которая может кинуться куда угодно. Не только мне тогда стало страшно; даже и теперь жутко об этом вспоминать.

Вячеслава с нами не было. Он дач не любил и жил один в Баку. Празднование "Шахсей-Вахсей" его прямым образом затрагивало, так как он тогда занимался древними культами. В самом городе всё имело гораздо более грандиозный характер. (Кстати, на следующий год советское правительство запретило уличные празднования "Шахсей-Вахсей"). Вот как эти церемонии описаны Вячеславом в его бакинской диссертации "Дионис и Прадионисийство":

"В сентябре шииты правят плачевный и экстатический праздник, именуемый в обиходе, — по неустанно повторяемому его участниками френетическому восклицанию — "Шах-сей, Вах-

сей" (т. е. шах Гуссейн, горе, Гуссейн). Этиологически приурочен этот праздник к воспоминанию о гибели исторического Гуссейна, но, очевидно, восходит своими корнями к древнейшим плачам, — как и вообще в религиозном быте Персии сохранились остатки первоначальных культов. Пишущий эти строки имел случай наблюдать описываемые обряды в Баку. Больше чем за неделю до главного дня начинают ходить по городу в окрестностях мечетей процессии верных, бичующих себя в такт причитаний по голой спине связками цепей или ударяющих себя кулаками в обнажённую грудь. Вечером, при факелах, эти процессии, с несомыми вперёд под бой барабана разноцветными знамёнами, металлическими изображениями отсечённых кистей рук Гуссейна, тюрбанами с вонзившимися в них мечами и т. п., особенно часты и многолюдны. Число участников заметно возрастает со дня на день; растёт и воодушевление по мере приближения к завершительному акту печального торжества. С утра в последний день разыгрывается на большой площади пышное действо со многими действующими лицами, воинами, пешими и конными, в старинных кольчугах, детьми Гуссейна и исполняющими женские роли переряженными мужчинами. В прологе зрители уже видят Гуссейна в последней сцене, сидящим на коне, в чалме с врубленными в неё ятаганами. Изображаются со многими перепетиями битва, предательство, поединок, мученическая смерть героя. В заключение, его палатка (как "хижина" Пифона в дельфийских Септериях) объята пламенем. При виде окровавленного, обезглавленного, изуродованного убийцами тела в окружающей толпе пробегает огонь подлинного иступления, и белые туники обагряются первою кровью. Многочисленные процессии, ещё более густые, пестрые и разноцветные, с боем барабанов, бряцанием и громом металлических орудий, ритмическими псалмодиями, расходятся по улицам. Бичующиеся, в чёрных одеждах с вырезами на груди и на спине, продолжают с ещё большей ревностью своё самоистязание; но большинство, с непередаваемым выражением сосредоточенной решимости в искажённых чертах лица и дико горящих глазах, движется с мечами, шашками, кинжалами наголо, чтобы в определённые сроки и на урочных перекрёстках возобновить резню. Их белые одежды постепенно окрашиваются в густо-красный

цвет. Поиски отсеченной и украденной врагами головы составляют предмет отдельного обряда: ищущие заглядывают во все дворы и закоулки, изображая тревогу и надежду. Любопытно, что, по обезглавливанию героя, отрубленная голова раскрыла уста и произнесла исповедание Единого Бога и Его пророка. По окончании патетической части празднования начинается катартическая, открываемая многодневным постом, за которым следует пиршество. Таковы современные пережитки древнего энтузиастического плача в его донине сохранившейся непосредственности, — со всем тем, что породил он: миметическим действием, обрядом собиранья разрозненных членов, культом пророчествующей головы — явлениями, родными Дионисовой религии. Обычай карийцев в Египте наносить себе головные раны ножами при всенародных плачах по Осирису отмечен Геродотом (II, 61)*.

* *
*

В курительной комнате мы провели два года. Не понимаю теперь, как столько жизни могло вместиться в столь малое пространство. Бичом этого жилища было невообразимое количество клопов. Я поливала керосином доски, на которых мы спали, — но это не помогало. Лишь к концу второго года мы избавились от клопов, когда смогли выехать на дачу (в Зых, посёлок под Баку) и проделали в комнате полную дезинфекцию.

Дима в первый год бакинской жизни ещё не ходил в школу. Он много играл с детьми соседских профессоров, а когда возвращался домой, всегда гармонически приспосаблился ко всем обстоятельствам и всем помогал. Несмотря на мои протесты, он упивался чтением Достоевского. Что этот 8-летний мальчик мог понять в Достоевском, мне было неясно, но его нельзя было отогнать от книги. Он написал тогда очень талантливую комедию — "Война царства порядка с царством беспорядка". К сожалению, она потеряна.

Наша комната находилась в университетском коридоре и потому в неё ежеминутно кто-нибудь заходил. Забегали сту-

*Вячеслав Иванов, "Дионис и Прадионисийство", Баку. 1923.

денты, с которыми у Вячеслава были особенно близкие отношения. Среди них ежедневно, хотя бы один раз, заходил Моисей Альтман. При поселении в нашем новом жилище я сама была проникнута большим уважением к университету и старалась внушить это уважение также и Диме. Я ему сказала, что он должен вести себя очень хорошо и что университет — "храм науки". Это выражение очень его заинтересовало: он вёл себя прекрасно, но весь проникся острым любопытством к этому храму и стал понемногу исследовать всё, что только мог. В 1-ой, самой главной аудитории, были хоры, и я как-то заметила, что он туда зашёл во время лекции и слушал, спрятавшись за перила, о неудавшемся бегстве Людовика XVI и его аресте в Варенн. Очень ему нравился историк, проф. Байбаков, и он любовался элегантностью, с которой тот играл со своей шляпой во время лекции.

Коридор у нашей курильни принадлежал Естественному факультету, там Дима наблюдал деятельность лабораторий. Рядом, в соседнем коридоре, стояли стеклянные шкапы, заполненные скелетами.

Как-то утром Дима шёл по коридору и вдруг навстречу ему попался служащий из лаборатории с подносом. Поравнявшись с ним, Дима увидел на подносе отрубленную человеческую голову. Это видение ему запомнилось навсегда.

В той же курильне нужно было вести хозяйство: чистить, стряпать, мыть... Все это было нелегко, т. к. в комнате не было воды и за ней нужно было ходить через нескончаемый коридор, наполненный студентами. Особенно затрудняла необходимость выносить из комнаты всё то, что обычно принято скрывать от посторонних взоров.

Обедали мы за маленьким столом втроём. Во время обеда я импровизировала по главе очередного романа, который интересовывал одинаково моих сотрапезников. Роман был весьма романтический. Героиня — Долорес — рождённая в тюрьме от таинственной заключённой, была красавица и жила с тигром, приставленным к ней каким-то её невидимым охранителем и властелином. Интриги были очень сложные и выдумывались с места в карьер. Но когда настало время кончать роман, мне пришлось нелегко. Мои слушатели ожидали логического заключения фабулы. Я ходила взад и вперёд по коридорам,

ломая себе голову, как распутать нити завязанных мною узлов и смастерить стройное заключение.

Вечером мы ложились с Димой спать довольно рано, скрывшись за нашей бязевой перегородкой, а к Вячеславу заходил кто-нибудь из друзей. Очень часто, почти каждый вечер, проф. Всеволод Томашевский, который занимал тогда пост зам-наркома просвещения, очаровательный человек, добряк, коммунист старинного романтического стиля, санскритолог, но, к сожалению, безнадёжный алкоголик. Сидели они вдвоём за бутылкой водки и беседовали до поздних часов.

В эти два года, что мы жили в курильне, к общим трудностям приложились ещё разные невзгоды. У Димы были очень опасные острые бронхиты с высокой температурой. Осенью 1921 года я заболела брюшным тифом и пролежала в лазарете 60 дней, покинув моих бедных двух сирот.

Тогда приехала в Баку Кассандра*, чтобы нас выручить. Она сняла себе комнату в городе. После 60 дней тифа с рецидивом, наш милый доктор Тарноградский продержал меня в постели ещё почти месяц, и на это время Кассандра взяла меня к себе в свою комнату. Она же выхаживала Вячеслава, когда у него в этот же период сделалась желтуха.

На лето 1922 года мы наняли с друзьями комнаты на очень пустынном и красивом полуострове около Баку, — Зыхе. Кассандра много хлопотала об устройстве этой дачи и не раз отправлялась туда на парохоме.

В одну из таких поездок она взяла с собой Диму. На обратном пути, когда они уже сидели на парохоме на Зыховской пристани, Дима загляделся на какого-то малыша на молу и, обернувшись, перекинул правую руку через борт. Пароход двинулся, но потом его вдруг кинула обратно волна, и Димина рука оказалась защемлённой между бортом и огромным столбом на пристани. Диму сразу отвезли в клинику к хирургу, проф. Ошману. На раненой руке оказалось возможным оставить лишь большой палец, а четыре других были невосстановимы.

Природа Зыха отличается совершенно своеобразной красо-

*Кассандрой называли нашего друга, Александру Николаевну Чеботаревскую.

той, и несмотря на всё, мы трое очень полюбили это место. Мы прожили там лето 1922 года.

На Зыхе нет ни виноградной
В кистях лозы, ни инжира;
Все выжег зной, все выпил жадный;
И в сакле я дремал прохладной
До половины сентября.
А перед саклею, горя
Сапфирами восточной славы,
Текли Хвалынские струи.
И милы стали мне твои,
О Зых, возгорий плоских главы,
Твой остов высохшей змеи
Меж двух морей живой оправы,
И солнцем пахнувшие травы,
И в белом камне колеи.

Университет в ту эпоху был совсем молодым, чувствовалось, что и профессора и студенты относились к нему с любовью, как к чему-то собственному. С центральными властями он ещё имел мало соприкосновений и придерживался традиционной старой структуры. Вячеслав там охотно работал, и там же состоялась торжественная защита его докторской работы "Дионис и Прадионисийство". Вступительные лекции к курсу Вячеслава происходили в 1-ой аудитории, очень обширной, куда приходили студенты со всех факультетов, а также и просто публика. Затем занятия продолжались для специальной, хотя довольно обширной группы слушателей, его учеников. Вячеслав любил молодёжь и оказывал на неё какое-то притягательное воздействие. К нему стали обращаться не только для помощи в научной работе, но также и с интимными вопросами. И, естественно, стали появляться поэты. Основался поэтический кружок, названный "Чаша". Членами "Чаши" были не только ближайшие университетские ученики Вячеслава. Помню, как-то раз к нему явилась в сопровождении матери 15-летняя девочка и показала свои высокоталантливые стихи. Это была Леля Самойлова.

Участвовала в "Чаше" студентка восточного факультета

Лена Юнкель. Она пела стихи поэтов, членов "Чаши", а также персидские песни. Она их распевала на простые мотивы, которые ей нравились — чужие или свои собственные, безо всякого аккомпанимента. У неё создавался собственный стиль лирической сказительницы. Со многими учениками у Вячеслава образовалась тесная связь, которая сохранилась у некоторых даже по сей день, какое-то братское единение на основе преданности и любви к учителю. Это тем более удивительно, что Вячеслав прожил в Баку всего лишь четыре года. Вспоминаются: Виктор Андроникович Мануйлов: он не был ещё тогда профессором Ленинградского университета и именитым литературоведом. Он был просто Витая Мануйлов, поступивший чуть ли не в семнадцатилетнем возрасте на филологический факультет, блондин, голубоглазый, в белой косоворотке, худенький, хрупкий, с опасно начинающимся туберкулёзом, невероятно прилежный, себя не жалеющий и пользующийся большим успехом у девочек. Мануйлов написал воспоминания о Вячеславе. Привожу из них фрагмент.

"Однажды я увидел у Вячеслава Ивановича его фотографию. Он был снят в берете, с книгой в руках. На этом портрете он чем-то очень напоминал Тютчева. Я попросил разрешения взять на несколько дней этот портрет, чтобы переснять его для себя и для своих друзей по Университету. Когда переснятые фотографии были готовы, на обороте одной из них Вячеслав Иванов, около 20 декабря 1923 года, сделал для меня такую надпись:

Поэт, пытатель и подвижник
В одном лице,
Вы, добрый путник, белый книжник
Мне грезитесь в тройном венце.

Вы оправдаете, ревнитель
И совопросник строгих Муз,
Двух звуков имени союз,
Рукою Божьей победитель.

На эту надпись 22 декабря я ответил Вячеславу Ивановичу таким признанием:

Ты сердцем солнечным, Учитель милый,
Меня давно не удержишь влѣк.
И я летел к тебе, золотокрылый
И трепетный и глупый мотылѣк.

Я тоже солнечный, но, Всемогуший,
Мне мудрости змеиной не дано.
Я только радуюсь лугам цветущим,
Я только пью медвяное вино.

Что принесу тебе я, легкокрылый?
Твои цветы в твои же цветники?
За то, что ты, Учитель, свет мой милый,
Взял мотылька себе в ученики.

В последние дни 1923 года Вячеслав Иванович сделал на обороте такой же фотографии, подаренной мне, следующую приписку:

Я вижу, детям солнца милы
Мои живые цветники,
Коль мотылѣк воздушнокрылый
Ко мне попал в ученики.

И вот еще: "Вячеслав Иванов был человеком мягким, но мягкость была кошачья, тигриная и волевая. При всей мягкости его собеседник всегда чувствовал себя прочно взятым в руки. Вместе с тем, В. И., никогда ничего не упрощая, говоря иногда непонятное нам тогда по нашему развитию и возрасту, никогда не унижал собеседника ощущением этого бесконечного расстояния между собой и нами... Вячеслав Иванов был сама мудрость. Но он проявлял такую любовную заинтересованность, что с ним говорилось как с отцом, как с человеком, который мудрее тебя, но который говорит с тобой как с равным, хотя знаешь, что ни о каком равенстве не может быть и речи".

Талантливой ученицей Вячеслава была также Елена Александровна Миллиор. Она много лет занималась изучением истории Греции, которую она особенно чувствовала, любила и заставляла любить других. В последние годы она была заведующей кафедрой истории Ижевского университета, а затем

жила в Ленинграде, где написала интереснейшее исследование о "Мастере и Маргарите" М. Булгакова. Вокруг нее постоянно собиралась молодежь, которую притягивали ее личное обаяние и педагогический дар. В Баку ее все звали Нелли. Она умерла в 1978 году в Ленинграде. Я с нею переписывалась всю жизнь, и она мне послала отрывок из своего Бакинского дневника. Приведу здесь фрагменты, относящиеся к Вячеславу.

"Баку 16 октября 1920 г. Всё-таки, общение с В. Ивановым, чтение Зелинского и т. д., всё это налагает отпечаток на мою, надо признать, даже чересчур восприимчивую и впечатлительную натуру. Оставаясь сама собой, не сходя с материалистического позитивного мирозерцания, я, однако, заглядываю в некоторую бездну! Да, я ещё забыла влияние "Братьев Карамазовых", ещё не совсем осознанное, но, вероятно, значительное, хотя я, кажется, не всё там достаточно поняла. Но всё это составные силы, а какова равнодействующая? Не знаю. Но я глубоко ненавижу всё самоуверенно плоское, это умственное мещанство, эти теории, ставшие догматами, это меня отталкивает от марксизма. Нет, научный марксизм, понимание истории у Дубровского — это одно, а "то" — совсем другое.

21 июля 1921 года. На днях держала экзамен у Вячеслава Иванова. Наша беседа длилась около одного часа. При этом мы рассматривали и план Афин и фотографии развалин, и он рассказывал о них. Читал мне целые лекции о Дионисе и о Пра-Дионисе. И невзначай задавал коварные вопросы. Спрашивал даже мелочи, даже термины. Экзамен прервал вошедший в комнату старший научный сотрудник Тумбиль. В. И. представил меня как чрезвычайно любящую филологию и т. д. Потом записал своё "весьма" и отпустил душу на покаяние. Устала я отчаянно. Сам В. И. заметил, что у меня было "обморочное состояние" во время экзамена.

2 августа 1921 года. Я презираю и ненавижу эту будничную жизнь, она мне кажется не сутью, а так, неприятным сном. Суть — Достоевский, Ницше, Вяч. Иванов.

5 сентября 1921 года. Сегодняшний день я могу считать действительно значительным и важным днём своей жизни. Вяч. Иванов "трижды благословил меня на научную дорогу": "На научную дорогу я вас благословляю трижды, у вас научно

работающий ум. А прежде всего надо вооружиться основательным знанием древних языков”.

Наш разговор в такую форму вылился случайно. Но В. И. сам сказал, что интересуется моими мечтаниями. Тогда я ”исповедалась” перед ним... Первый раз ко мне так близко подошёл авторитетный человек, которого бы я так глубоко уважала...”.

На фотографии, которую Вячеслав подарил Нелли, он написал: ”Моей филологической сотруднице и сомечтательнице Елене Александровне Миллиор” и приписал следующие стихи:

”Какая светлая стезя
Открыта мысли, сердцу Нелли.
Иди же, Нелли, не скользя
Сквозь горы, льдины и метели
На Дионисовы свирели.
Кому они однажды пели
Тому нейти на зов нельзя”.

Среди близких учеников Вячеслава была также Ксения Михайловна Колобова (впоследствии — профессор истории в Ленинграде). Она была очень умная, писала стихи. Я с ней лично мало встречалась, но Вячеслав ею занимался, следил за нею и очень её ценил. В дневнике Вячеслава под датой 1-го декабря 1924 года (т. е. через три месяца после нашего приезда в Рим) читаю: ”Письма от бедной Ксении. Как её встряхнешь? Надо написать ученикам”.

В 1927-ом году, в Павии, Вячеслав написал стихи ”Палинодия”.

И твой гиметский мед ужель меня пресытил?
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?
Иль в вешем ужасе я сам его разбил?
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?
Но, духом обнищав, твоей не знал я ласки,
И жутки стали мне души недвижной маски,
И тел надменных свет, и дум Эвклидов строй.
Когда ж, подземных флейт разымчивой игрой
В урочный час ожив, личины полой очи
Мятежною тоской неукротимой Ночи,

Кав встарь, исполнились — я слышал с неба зов:
"Покинь, служитель, храм украшенный бесов".
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды
Молчанья дикий мед и жесткие акриды.*

Не знаю, как эти стихи могли дойти до Колобовой, но Вячеслав получил от неё страстное обвинительное письмо. Она обличала его в измене всем идеалам, которые он сам создал в своих учениках, он покидал её на пути, на который сам её направил.

Моисей Семенович Альтман был не только поэтом, очень прилежным студентом, но, несмотря на разницу лет, большим другом Вячеслава. Он у нас бывал почти ежедневно и вёл с Вячеславом бесчисленные беседы на самые разнообразные и глубокие темы.

Он был очень трогателен во время моей болезни и приходил навешать меня ежедневно. Лазарет же отстоял от города на 6 вёрст. Никаких средств сообщения не было, он ходил пешком. Разговоры со мной проходили через окно.

Один раз кто-то из друзей, профессоров-медиков (медики составляли нашу аристократию, всячески помогали и лечили нас даром) устроил Вячеславу проезд ко мне на автомобиле. Его, как почётного посетителя, пустили внутрь лазарета и он, к моей радости, неожиданно явился передо мной наряженный в докторский балахон и белый колпак.

Семья Альтманов (отец, мать, младший брат, студент-медик Рафаил, к которому Вячеслав питал особую нежность, и сестричка-подросток) происходила из литовских хасидов. Родители были очень благочестивы, а дети, как часто бывает, — агностики. Но чтобы не огорчать родителей, они соблюдали законы.

В первый год нашего пребывания в Баку родители Альтмана пригласили Вячеслава к себе на интимную пасхальную трапезу, и, действительно, кроме семьи никого не было. Вячеслав был очень растроган этим вечером. На следующий год они пригласили и меня, и я навсегда запомнила общую духовную

*I, 553.

атмосферу, ритуальную еду, и питьё, и молитвы. Помню, как постучали в дверь и как маленькая сестра Моисея пошла открыть, чтобы впустить пророка Илью.

“Чаша” не была единственной группой поэтов. Поэтов было много в Баку, соединившихся в разных кружках. Среди них — поэтесса Татьяна Вечорка. На одно её стихотворение я написала музыку. Вячеслав никогда не просил меня писать музыку на его стихи, но когда я это делала, был всегда очень счастлив. По поводу романа Вечорки в нём вдруг загорелась ревность, он возненавидел эти стихи и начал их высмеивать. Особенно доставалось “кожаному дивану”.

Ну что же? Счастье, может, в том
Чтобы войти в твой тихий дом,
Прилечь на *кожаном* диване...

Он настоял, чтобы пели “на дедовском диване”. Позже, в Риме, эту вещь должны были исполнять в концерте и желательно было текст перевести на итальянский. Вячеслав взялся за это сам. Вышли великолепные строки, ничего общего не имеющие с оригиналом, разве только что упоминается луна и говорится о примирении с судьбой.

В Баку в это время вдруг появился Хлебников. Он возник в одно прекрасное утро, совершенно неожиданно. Абсолютно ни на кого не похожая фигура, высокий, в кожаном тулупе, обшитом бараньей шкурой, высокая шапка и на ногах какая-то странная обувь. Весь жёлтый, и одежда и лицо с большими опухольями, как у голодающих. Действительно ли он голодал или был болен, не знаю. Вячеслав страшно обрадовался, так как его очень любил. Быть может, он приходил и ещё раз — не помню.

Жил в Баку и Алексей Кручёных, ещё никому тогда неизвестный, начинающий поэт. Он заходил к Вячеславу и они охотно беседовали. Кручёных проповедовал свою “заумную речь”. Он вскоре уехал в Москву, чтобы действовать на более широком поле. Из Москвы он писал, что там поэтов столь великое множество, что их группируют “по стойлам”.

В Москву некоторые ездили также и на короткий срок, чтобы “подправить” свой провинциализм. Проф. Селиханович,

очень популярный лектор по "Введению в философию", вернувшись из Москвы в Баку, рассказывал Вячеславу с восторгом о новостях в столице и сообщил, что даже сделал некоторые изменения в своей системе, убрав, например, из неё Бога.

Очень полезной для нас лично была поездка в Москву Наркома просвещения Буниат-Заде. После разговоров в Москве он узнал, что есть на свете Вяч. Иванов и воспылал к нему большим уважением. В письме, которое он написал своему заму Томашевскому, была такая приписка: "А особенно кланяйся от меня Вячеславу Иванову и делай всё, что ему нужно, чтобы эта знаменитость осталась у нас в Баку". После этого письма меня пригласили в подвальный склад Наркомпроса и выдали пару настоящих кожаных ботинок (вместо красных чупак Альтмана, а зима была холодная и даже снежная), два рубашечных отреза белого ситца, один с мушками, а другой в полоску (из которых я сшила себе платье, оно мне казалось верхом парижской роскоши) и ночной горшок. Этот последний дар снял с моей души невероятную тяжесть.

Из забавных поездок, но уже не в Москву, а по линии халтуры, можно рассказать про Ленкорань. Томашевский предложил Вячеславу халтурное предприятие: поехать с ним и проф. Байбаковым (историком) в ближайший персидский город, в Ленкорань, чтобы прочесть там какие-то лекции. Оплата была заманчивая: сумма денег — "туманов", мешок "ханского" риса и мешок кишмиша (изюма). Вячеслава это предложение позабавило и он с радостью согласился.

Поездка была очень короткая и Персии Вячеславу не удалось много повидать, но он с гордостью привез "туманы", рис и кишмиш. Он рассказал, что ему там предложили покурить опиума, он согласился, надеясь испытать какие-нибудь экзотические переживания, но был разочарован. Он должен был забраться на верхний этажик так называемого "чайного домика", где ему предложили курить, но перед домиком скопилась целая толпа зевак посмотреть на это редкое зрелище. Зеваки помешали всякому экстазу, а самый дурман вызвал у него морскую болезнь.

Вячеслав во время пребывания в Баку заинтересовался персидским языком. Ему захотелось читать Хафиза в подлин-

нике. Он обратился к преподавателю персидского языка нашего восточного факультета. Это оказался оригинальный и симпатичный человек, похожий, скорее, на дервиша, но примитивный как педагог. Он отказался говорить о грамматике и конструкции языка. Да знал ли он эти вещи сам? Но это-то и составляло любовный интерес Вячеслава как филолога.

Я присутствовала при первом уроке и про себя потешалась. Дервиш, хлопая себя по лбу, распевал: "Ба...зу", требуя многократного повторения от ученика, затем стучал себя по зубам: "ден...зи", после многих повторений указывал на руки: "ма-ну"...

Что персидский язык индоевропейского происхождения стало ясно, но также стало ясно, что по такой системе добраться до Хафиза невозможно. Уроки прекратились.

На третий год нашего пребывания в Баку умер университетский кассир Кабанов и его квартиру разделили между нами и его вдовой с ее племянницей Амалией. Они были выходцами из приволжской немецкой колонии.

Мы оказались владельцами настоящей квартиры! У нас было две комнаты. Одна побольше, для Димы, Бехштейна и меня, другая, маленькая, проходная, принадлежала Вячеславу. Постель была спрятана за альковом, как он всегда любил, а в остальной части был письменный стол, два-три стула, книги. Кроме того, была у нас собственная ванная комната. Ванна согревалась нефтью при помощи очень примитивного приспособления, и я панически боялась взрыва.

Но населению нашей квартиры суждено было умножиться. Нам порекомендовали домработницу. Кажется, это устроила еще до своего отъезда из Баку Кассандра. Это была Настенька Косырева, двадцатилетняя девушка из хорошей крестьянской семьи Саратовской губернии. В их краях был неописуемый голод. Отец Насти ездил за мукой и на возвратном пути был ограблен и убит. Огромное количество крестьян двинулось вниз по Волге к персидской Ленкорани в поисках работы и хлеба. Среди них и Настя с матерью, сестрой и братишкой. Не успела она приехать в Ленкорань, как тяжело заболела тропической лихорадкой и была эвакуирована в Баку. На кухне над постелью Амалии была сооружена верхняя лежанка, наподобие казарм, Настя поселилась у нас и сделалась любимым членом семьи. От

лихорадки бакинским медикам Настю удалось вылечить. Настя всегда обедала вместе с нами и мы все трое её любили, а когда уезжали из Баку, оставили ее совершенно растерянной и убитой горем.

Настя была из старообрядцев беспоповцев. Вспоминаю один из ее многих рассказов о своей деревне. Появлялся у них время от времени странник, старик, которого все очень боялись и чтили. В их деревне он останавливался всегда у одной очень бедной и очень набожной вдовы. У вдовы случилась большая радость: ей как-то удалось раздобыть самовар. Когда появился странник, вдовы не было дома. Он увидел самовар (изделие новой дьявольской индустрии), схватил его и, громко выкрикивая что-то, потащил через деревню к Волге. Народ последовал толпой за ним. Подоспела и сама вдова, в страхе и отчаянии.

Странник бросил самовар в реку и стал бить его палкой, стараясь погрузить в воду. Но самовар не шёл ко дну, пускал из себя, булькая, воздух. "Вишь ты, окаянный, не хочет тонуть; и преисподняя его не берёт!".

Настя каждый вечер молилась Богу, но в церковь никогда не ходила. Когда её мать умирала, она беззаветно за ней ухаживала и особенно заботилась, чтобы мать умерла на правом боку, хотя больная и стремилась повернуться налево. Настя мне объяснила, что когда человек умирает, то слева у него бес, а справа ангел.

Но дело не кончилось Настей. В один прекрасный день явился с маленьким узелком в руках Сергей Витальевич Троцкий. Это был старинный друг Вячеслава, навешавший его периодически в Башне. Он был малороссийский помещик, жил у себя на хуторе, обожал поэзию, музыку и искусство, вышивал шелками картины, любил украшаться кольцами, брелоками из драгоценных камней, носил бархатные курточки, волосы причёсывал в стиле Ренессанса, с кудрями, кажется, не завитыми, а натуральными. (Ему посвящено стихотворение "Соловьиные чары", в "Нежной Тайне")*.

Он был тихий, нежный, ясный, весёлый, чуткий и духовный. В Баку он попал после многих тяжких приключений: бежал с

*III, 45.

родными из своего малороссийского хутора на кавказское побережье Черного моря, после неудачной попытки переплыть границу в лодке контрабандистов был ими ограблен и лишён всех своих драгоценностей; затем, оставив своих родных, один перебрался через весь Кавказ и достиг Баку, где, он знал, живёт Вячеслав. В котомочке у него были две рубашки, которые он сам мыл, т. к. ткань была так изношена, что он никому не доверял взять её в руки. Курточка была старая, но чёрная бархатная. Брелоки ещё были, но не драгоценные. Сам он был такой изголодавшийся, что если поставить фунт масла перед ним, через мгновение ока оно исчезло бы без помощи хлеба.

Что было делать? В ванной была устроена постель. Нас стало пять и Сержик сделался родным и любимым. Ночью, когда было жарко, на веранде стелились ковры и все ложились под звездным прохладным небом спать рядом — Кабанова, Амалия, Настя, Дима, Сержик, я. Вячеслав оставался в своём алькове.

Продовольствие к этому времени не составляло более вопроса. Можно было купить всё необходимое. В начале нашего пребывания в Баку я раза два ходила продавать старые вещи на базар, но это не носило такого кошмарного характера, как в Москве, когда мы с Верой это делали в надежде купить для неё что-нибудь диетическое.

Дима ходил в школу с 1921 года, когда его записали в старший приготовительный класс. Там ему преподавали тоже турецкий язык, но он мало чего из него усвоил. Он вообще школой пренебрегал. Думаю, что при развитии, которое ему давала окружающая его среда, он в школе скучал, и бедный его преподаватель Александр Сергеевич меня тщетно вызывал, читая мне нравоучения: "Нельзя допускать, чтобы дети ежедневно так опаздывали в школу. Такое поведение может пагубно повлиять на всю будущую жизнь".

Дима много времени проводил с нами, но имел своих друзей, с которыми играл во дворе. Сначала это были дети профессоров (пока мы жили в курильне), а затем дети технических служащих университета. Из них он особенно любил Герку, пионера, многим старше его, уже подростка.

Когда умер Ленин, мальчики устроили у нас в чулане засе-

дание, постелили на сундуке одеяльце, расцвеченное под леопарда, поставили сверху портрет Ленина, зажгли две свечи по его сторонам и говорили речи. Взрослых не пускали, но декорацию мне Дима потом показал — в знак доверия.

В Наркомпросе Вячеслава пригласили заведовать секцией искусства. Эта работа взяла у него много времени и вовлекла в междоусобную войну музыкантов. Дело шло о назначении нового директора консерватории: одни стояли за Айсберга, другие за ростовского Пресмана. Консерватория одно время раскололась надвое, и я была ученицей в одной и преподавательницей в другой половине. Жил в Баку некоторое время Глиэр, которого Азербайджанское правительство выписало в надежде создать тюркскую национальную оперу.

Были интересные гастроли. Из них запомнились мимолетный концерт двух молоденьких, начинающих артистов: Горовица и Мильштейна. Я была в восторге от Горовица, а мне говорили: "Не увлекайтесь, он продержится 2 или 3 года, он кокаинист".

В опере стареющая Айседора Дункан танцевала нам "Интернационал" при кроваво-красном освещении. Мы смотрели из литерной ложи и мне это запомнилось как *danse macabre*.

Образовались многочисленные дружеские связи с артистическим миром.

И вот в один прекрасный день (уже в конце нашего пребывания в Баку) Вячеслав получил совсем невероятное предложение. К нему пришли режиссёр оперы Боголюбов и мой преподаватель композиции Попов и попросили его написать либретто для оперетты. Сюжет у них был — пьеса Косоротова "Мечта любви". Вячеслав часто удивлял близких своими неожиданными реакциями — он согласился.

Он вообще очень любил, когда ему заказывали стихи. Кроме того, он был чрезвычайно любопытен и, думается мне, необычайное предложение создать либретто для оперетты его позабавило и увлекло.

Друзья взялись за дело с энтузиазмом. Каждый вечер Попов приходил к нам, слушал новые стихи Вячеслава и показывал ему сочиненные мелодии. Всё коллективно обсуждалось.

"Любовь-Мираж?" (так переименовал Вячеслав эту пьесу).

Она до сих пор не издана. Привожу предисловие и несколько отрывков текста.

“На совести моего уважаемого приятеля, известного оперного режиссёра Николая Николаевича Боголюбова, желавшего, по-видимому, испробовать на мне свой способ лечения ипохондрии, — на его совести, заявляю я, тот сомнительный факт моей литературной биографии, что во время совместного пребывания нашего в городе Баку я, поддаваясь его упрямой прихоти, написал эту полушутливую, полупечальную пьесу по канону оперетты — мелодрамы. Легкомысленные куплеты и чувствительные дуэты немедленно, вдохновенно и весело облекались в столь же “каноническую” музыку другим моим добрым приятелем и явным сообщником первого, — профессором бакинской консерватории Михаилом Евгеньевичем Поповым. На совести Н. Н. Боголюбова и “авио-пролог” им — как картина — придуманный, и... — но эту последнюю вину мне всего труднее ему простить! — повелительное и роковое внушение: заимствовать основу сюжета непременно из драмы Косоротова “Мечта любви”. Скованный тягостными узами с нелюбимою “Мечтой”, напрасно объявлял я ей войну на взаимоистребление: все же ее завязка послужила мне отправным пунктом. Что из всего этого вышло, пусть судят те, коих может занять произведённый нами опыт химического превращения элементов.

В пьесе представляется, как Крушинин разочарованный в жизни, встречает Мари Бланпре. Мари тоже во всём разуверилась: она талантливая актриса, ей не удалось сделать карьеру, она должна кончать как певичка кафешантана. Между Крушининым и Мари загорается настоящая большая любовь. Они оба в нее не верят, считают её миражем, борются с нею, расстаются; Крушинин доходит до попытки самоубийства, но в конце судьба неожиданно соединяет влюбленных и пьеса кончается счастливо. Нет, любовь не мираж и может спасти человека. Всё действие происходит в шантане и форма вещи — оперетка; поэтому все изложено как бы шутя, в весёлых и легкомысленных куплетах которые перемежаются со стихами лирическими и глубокими. Вот некоторые из них:

ДЕЙСТВИЕ I

Хор:

Вечерами

Над толпами

Нам горит маяк,
В заломлённых шапо-кляк
Манит гуляк.

Меж платанов
И каштанов
В даль звенит канкан:
Для сердца кто обманов ждёт,
Идёт в шантан.

Здесь мы жадною грудью вдыхаем
Наши чувства нежащий дурман.
Милых женщин вольно мы ласкаем:
Лёгок нрав их, сладостен обман.

В танце медленном пары сплетаются:
Бабочки кружатся так у костра.
Влажные очи в глаза улыбаются,
Томные жгут и томят до утра.

В вихре пьянительном пары сливаются,
В пахнушем пряно тумане плывут;
Дерзкие очи в глаза улыбаются,
Негу сулят, и ласкают, и лгут.

Вечерами
Над толпами
Нам горит маяк
В заломлённых шапо-кляк
Манит гуляк.

Меж платанов
И каштанов
В даль звенит канкан:
Для сердца кто обманов ждёт,
Идёт в шантан.

Действие I-ое

Состязание колен

Господин с орхидеей в петлице (стука молоточком)

Колен открыто состязанье.
Как так? Всё тотчас доложу.

Но прежде славное сказанье
По новым данным изложу.
На пристань гость всходил к Елене.
Дул Норд... Одежды вдруг взвились.
Увидел... что? ее колени...
И страстью воспылал Парис.

Прекрасного поклонник пола,
Быть должен знатоком колен:
Парисова так учит школа,
Так сам познал он сладкий плен.

Публика (хор)

Да, вкусы различны.
Так вот что — браво!
В Елене античной
Пленило его.
В прекрасной Елене
Прекрасней всего
Нашёл он колени!
Mais c'est du nouveau!

(меж тем в пролётах трельяжа выставляются две пары колен)

Господин с орхидеей

Дианы лёгкой в них упругость,
Венеры женственной в них лень,
Холмов роскошная округлость,
Долинок розовая тень.

О, эти выпуклости, ямки!
Какие вам найду слова,
Какие дам, художник, рамки,
Но, вот, мечта любви — жива!

Вот осязасмо вступает
В оправу из цветов — мечта,
И к двум защитникам взывает
Двух пар стыдливых нагота.

Публика (хор)

Да, вкусы различны,
Как стили колен:
То — мрамор античный,
А то — порселэн.

Сравнить без обиды
Их формы легко:
Там идол Киприды,
А тут Рококо.

*Действие II-ое**Хор рыбаков:*

Кормит нас море родное,
Помнит прилива час,
Издали хлынет седое,
Подхватит рыбакий баркас.

На версты мели затопит
В буйном разбеге вода;
Ветер гуляет, торопит,
Закидывать в глубь невода.

Море уловом откупит,
Все, что нагабит у нас;
С рокотом прочь отступит,
В урочный вернётся час.

Крушинин:

Дивишься ты моей отваге,
С какой встречаю новый час,
Что принесет, быть может, нам разлуку,
Когда сожму в последний раз
Я ускользящую руку.
Но если любишь ты, что разлучило б нас?

Мари:

Не лжет, о милый, эта ласка.
Но я несчастнее тебя:
Со мною ты расстанешься, любя,
А я... я вся — живая маска.
Скинь маску — и лица не сыщешь моего,
Вьнь сердце, — не найдешь ты в сердце ничего,
Обиды разве, да кручину...
Мне чувствовать дано, лишь воплотясь в личину.

Действие III

Кручинин:

Лишь вечер настаёт, я должен эту муку,
По капле пить, как вор, тайком от линких глаз,
Опять переживать ту встречу, ту разлуку,
В притоне, где её увидел в первый раз.
И стены пошлые заветны и священные,
Как склеп чистилища, где ждёт меня дрема,
Которой слаще нет из всех огней геены,
И пытку манит поганая тюрьма.
Отчаянье, как смысл вселенной, как разгадка
Последняя всех тайн, отчаянье, как хмель,
Со мною шепчется так вкрадчиво, так сладко;
“Все жизни марева — лишь путь ко мне; я — цель.”
“Я смерч, Я смерть, Я смех волшебницы Морганы
Я в белом саване, твоя Мари Бланпре...
Чу, похоронные по ком гудят органы?
И свечи перед кем горят на алтаре?
“Иди к Мари: умри. На снежные поляны
Мари зовёт: умри. Иди к Мари, к сестре.
Я — цель. Я — смерть. Я — смех мерцающий Морганы.
Вся в розах, я — скелет: закружмся в игре...”

Летом 1924 года случилось у нас событие и давно желанное и одновременно неожиданное. 1924 год был годом пушкинского юбилея, 125 лет со дня его рождения.

Вячеслава пригласили в Москву для выступления на торжественном чествовании Пушкина в Большом Театре. Он уехал один, а мы с Димой продолжали нашу мирную ежедневную жизнь. Вдруг получается из Москвы телеграмма от Вячеслава с сообщением, что мы едем в Венецию, и с поручением, забрав все вещи, прибыть в Москву. Это сообщение меня так взволновало, что всё, что последовало за этим, мне казалось полусном. Я хорошо знала, что существует на свете Венеция и вообще какая-то "заграница". Но за событиями в России все это стало так далеко, что воспринималось мною как нереальность. Есть только Россия, а позади где-то, что-то — неясное, туманное.

Речь Вячеслава в Большом Театре имела успех. Он воспользовался благоприятной минутой, чтобы возобновить просьбу пустить его с семьей за границу.

В правительстве всегда было чередование полос: то все идет легко, просто, все позволено, то всех подтягивают, во всем отказывают. Прощение Вячеслава попало в благой момент. Он был командирован на шесть недель в Венецию по случаю открытия Советского Павильона на Biennale. И что было самое невероятное, его семье разрешалось его сопровождать.

Приготовления к путешествию были восприняты мною как смутный сон. Не помню ни хлопот, ни как нас провожали на вокзал, ни как мы с Димой очутились в поезде, ни как мы испытывали горечь расставания с друзьями, с родными Настенькой и Сержиком (его потом арестовали и он погиб).

И вот, после довольно сложного путешествия, мы оказались в Москве. Нам отвели комнату рядом с Вячеславом в Цекубу, учреждении, находящемся на улице Кропоткина (тогда Пречистенке) и последовал длинный период бесконечных бюрократических хлопот для выезда за границу.

Мы оказались в Москве в период НЭПа. Не знаю, как описать угнетающее, мрачное настроение, которое меня охватило при приезде. Я уехала в 1920 году из города, где царил кошмар, где были пережиты голод, болезни, смерти, но душа его была жива.

В 1924 году было куда страшнее. Материально не было плохо, но стоял какой-то дух тления, потеря всякой надежды. Я говорю, конечно, о своих личных ощущениях, но мне кажется, что они разделялись и моими друзьями, с которыми я повидалась перед отъездом. Одно только было благотворно для меня. Если бы я не видела при отъезде НЭПа, у меня была бы страшная тоска по Родине. НЭП избавил меня от этой невзгоды.

К этим двум — трём месяцам, которые Вячеслав провел в Москве, относится и начало новой дружбы, которой было предопределено всё время расти и длиться всю его жизнь. Я говорю об Ольге Александровне Шор. Она стала любимым членом нашей семьи. Позже, в Риме, Вячеслав пишет в одном из посвященных ей стихотворений:

Тебе, хранительный мой гений,
Душевных ран и плоти врач,
Вождь в сумерках моих видений,
Земной судьбы моей толмач;

Тебе, кто, за чертой явлений,
Небесных помнишь мир селений
И слышишь ангелов полет,
Житейский правя обиход

Смиренномудро, безымянно,
Затем что, кто ты, несказанно, —
Как звать тебя, сказал бы тот,
Кто слышал ангелов полет.

Мы ее называли "Фламинго". Прозвище это ей дала я. Она была брюнетка и вообще непохожа на белозаревую птицу с крыльями на подкладке перьев, розовых, постепенно переходящих в цвет пламени. Она внутренним своим ликом походила на фламинго. Была еще забавная подробность. Она любила стоять на одной ноге, как это делают фламинго, и часто надолго застывала в этой позе, в особенности когда перед нею возникала какая-нибудь философская проблема. Она мне как-то рассказывала, что у нее впервые зародился интерес к Вячеславу Иванову на его лекции в Обществе Свободной Эстетики. Ей было только 14 лет, но мать взяла ее с собой, считая, что это полезно для культурного разви-

тия. Вернувшись домой, Оля всех поразила: она смогла изложить во всех подробностях труднейшую лекцию какой-то даме, которая сожалела, что не могла на нее пойти. С тех пор О. А. стала следить за творчеством Вяч. Иванова. Познакомилась она с ним позже — в 18 или 19 году.

Вячеслав и ещё кто-то (может быть, философ Г. Шпет) были приглашены как-то вечером к Гершензону. Гершензон жил в это время один, был беспомошен в хозяйстве и попросил молоденькую О. А. прийти к нему, чтобы взять на себя роль хозяйки. Она страшно смутилась и обрадовалась. Это было ею воспринято как большое переживание.

Пребывание Вячеслава в Цекубу сблизило их. О. А. заходила к нему ежедневно, происходили долгие беседы. У Вячеслава было много дел и О. А. принесла существенную помощь. Впервые, бесконечные бюрократические формальности для выезжающих за границу. Например, каждый путешественник имел право взять с собой 3 рубашки, а на 4-ю уже требовалось разрешение. Разрешение выдавалось в соответственном учреждении, с соответственной очередью и волокитой. Нужно было получить столько разных разрешений из разных учреждений, что в последние 10 дней мы бегали все втроём, т. е. О. А., я и Дима — и все порознь.

Помню, как за три дня до отъезда, когда все у нас было готово, пришла прощаться с Вячеславом поэтесса Майя Кудашева и подарила ему маленькую вазочку, умоляя его взять этот сувенир с собой.

Чтобы собрать всё, что мы хотели взять, мне пришлось сделать большое усилие над собой и войти в квартиру в Афанасьевском переулке — нашем последнем жилище в Москве. Этот адрес у меня был связан со столькими страданиями, что я его избегала, как побитая собака боится вернуться на место, где ее били. Вошла я с черного хода. Наши комнаты (в квартире, которую мы разделяли с соседями) стояли так, как мы их оставили 4 года назад. Мы взяли три сундука, некоторые рукописи, кое-какие книги и одежду. Остальное осталось в Москве на попечении Кассандры.

Вячеслав с радостью встречался со старыми и новыми друзьями. Помещения Цекубу были переполнены с утра до вечера

людьми, которые желали с ним повидаться.

В письме к Ф. А. Степуну от 24 апреля 1963 года О. А. Шор вспоминает: "Что В. И. откладывал отъезд — это совершенно неверно: было сложно вызвать из Баку детей, где Лидии нужно было всё ликвидировать, было волокитно получить все пропуска и разрешения. А что В. И. чествовали — это верно, хотя слово "чествовали" не совсем удачно. Не было ничего официального и организованного. Только вдруг к В. И. со всех сторон стали стекаться люди для наставления, для интеллектуального и душевного укрепления. Помню, как однажды, незадолго до отъезда В. И., я, спеша к нему для подписи каких-то бумаг для каких-то разрешений, почти бегом направлялась в Це-Кубу, где В. И. жил как почетный гость. Еще издали увидела я длинную, извивающуюся людскую "очередь"; она начиналась у двери, ведущей в комнату В. И., тянулась через коридор, спускалась по небольшой лестнице и терялась где-то в саду. "Здорово (мелькнуло у меня в голове), очередь за словом поэта, точно за хлебом или за сахаром". Приблизившись, я увидела среди толпы Пастернака. Он, слегка склонившись, что-то карандашом чертил в записной книжке. "За чем Вы здесь стоите, Боря", — подошла я к нему. Он вскинул свое смуглое лицо белого араба, сверкнул своими пронзительными, темными, с безуминкой, глазами: — "Зачем стою? — отозвался он грудным, немного театральным голосом, — пришел сюда со своими техническими сомнениями, да и не только техническими". Я рассмеялась: "Помилуйте, я не столь индискретна, чтобы задавать такие вопросы. Спрашиваю, зачем Вы стоите в общей очереди". Мы прошмыгнули боковым ходом. Боясь опоздать в соответствующее учреждение, я сразу ушла. До сих пор жалею, что не осталась тогда при их последней встрече. Быть может, та их беседа подтверждала Ваше восприятие Пастернака как последнего символиста".

Были вечера у друзей. На одном из них, после прочитанной Вячеславом лекции, публика — как это часто происходило — стала требовать: "Стихи! Стихи!". Вячеслав наотрез отказался, заявив, что в Баку стихов не писал и что вообще больше поэзией не занимается, а лишь наукой. Он настаивал, что он не поэт, а "профессор".

И вдруг распространился слух, что Вячеслав Иванов в Баку

написал либретто для оперетки. Любопытство было возбуждено до крайности. В Цекубу было назначено частное собрание для чтения "Любовь-Мираж?". В обширном зале собралось изрядное количество знакомых. Вячеслав читал, а я за роялью намечала музыку Михаила Попова и напевала главные мелодии. Стихи многих пленили и возникло желание сделать публичное чтение этой вещи. Уже были назначены место, день и час, готовы программы и приглашения, и вдруг чтение было официально запрещено, а пьеса объявлена "неморальной". Выяснилось, что многие были возмущены: "Как? Вячеслав Иванов, воспеватель недостижимых идеалов, умопостигаемых сфер — вдруг пишет оперетку!" Это воспринималось как моральное падение.

Что в этой вещи могло смутить строгих моралистов (к ним позже в Сорренто присоединился и Максим Горький) мне неясно.

Приближался день нашего отъезда. И вот, почти накануне, случилось маленькое осложнение с Димой. Дима был патриотом, обожал гражданские праздники, парады, развевающиеся красные флаги — никаких других праздников он в своей жизни ещё не видел. Как раз во время нашего отъезда Дима узнал, что Гера, старший из его бакинских друзей, поступает в комсомол. Это окончательно усилило желание Димы поступить в пионеры и он заявил Вячеславу, что хочет это сделать как раз теперь, до отъезда за границу. Вячеслав ему говорил, что это очень важный шаг, требуется время, чтобы обдумать. Дима плакал, говорил, что он "принципиально" хочет сделать это теперь, что он всё уже обдумал, что запретить ему так поступить есть тирания. Бедный Дима очень страдал, но Вячеслав был непоколебим.

Между тем наступил час нашего, казавшегося нам невероятным, отъезда в Италию. Были забраны три сундука, чемоданы. Мы отправились из дома с запозданием и еле успели попасть на поезд. Были милые лица провожающих. Поезд тронулся, вокзал исчез. Мы сели в вагон, где уже устроилась огромная собака и карлица, которую выписывала, кажется в Грецию, труппа актёров-карликов.

Потом была граница: паспорта, длинная процедура таможи. Опять все сели в вагон. Поезд тронулся, сначала поехал медленно — медленно. Красноармеец, сидящий с пачкой каких-

то документов в руках, встал, подошёл к двери вагона и прыгнул. Поезд стал прибавлять ходу. Перед нами в окне появилась длинная канавка и прикреплённая на двух столбах большая надпись, направленная в чужестранную сторону: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Минута была торжественная. Осуществлялось, наконец, страстное желание Вячеслава — "Я еду в Рим, чтобы там жить и умереть".

Лидия Иванова

ПЕРЕПИСКА И. А. БУНИНА С М. А. АЛДАНОВЫМ

Письма И. А. Бунина к М. А. Алданову и его жене написаны в 1941 г. и до смерти Бунина в 1953 г. Письма Бунина к Алдановым до 1941-го года были потеряны во время второй мировой войны. В архиве Алданова находятся копии его писем к Бунину. За исключением нескольких пропусков Бунинские письма публикуются полностью и печатаются по новой орфографии. Из Алдановских писем даются только отрывки, поясняющие содержание Бунинских писем. Все они говорят о никогда не уменьшавшейся преданности Алданова Бунину, как художнику и человеку. Публикацию можно считать продолжением ценных статей с отрывками Алдановских писем к Буниным профессора Эдинбургского университета, М. Грин, появившихся в "Н. Ж." в 1965 г.

Письма публикуются с оригиналов, хранящихся под рубрикой Mark Aldanov Papers в Колумбийском университете, в Архиве им. Бахметева в библиотеке редких книг и рукописей. Я сердечно благодарю главного библиотекаря К. А. Лоофа за разрешение опубликовать данный материал.

Выражаю также глубокую благодарность Н. В. Соллогуб, А. В. Соллогубу и А. В. Бахраху за оказанную помощь при

подготовке Бунинских писем к печати. Своей ассистентке, Силии Вандеркамп, очень благодарен за аккуратность, с которой она перепечатала текст рукописей.

*А. Зверерс, германо-славянское отделение
Ватерлооского университета
в Канаде*

En russe

8.3.41

Дорогой друг, съездить в Нишу теперь целое событие, поэтому только письменно добыл Ваш адрес у Полонских. И вот извещаю Вас, что *до сего дня* не имею от Вас *ни единой* строки! А еще извещаю, что мы холодны, голодны и накануне полнейшей катастрофы в смысле нищеты. Из Америки получил до сих пор всего 1100 фр. (от А. Льв. Т[олстой], зачем-то, почему-то через По)¹. Было это уже давно и съедена была эта тысяча мгновенно.

Вот и все наши новости. Упорно жду от Вас хоть открытки и целую Вас и Т[атьяну] М[арковну]².

Ваш Ив. Бун.

1. По всей вероятности в связи с отъездом Буниных из Грасса в Lafrançaise (возле Montauban) в июне 1940-го г. См.: письмо Бунина к Зайцевым от 5.VII. 1940 (*Н. Ж.*, 136, стр. 133).

2. Жена Алданова.

[Алданов Бунину]

8 марта 1941¹

Дорогой друг, только что получили, наконец, Вашу открытку и чрезвычайно ей обрадовались, как она ни грустна. Но отчего же Вы все-таки ничего не сообщаете о своих планах? Я Вам писал о Лиссабоне, о Нью-Йорке, меня здесь в с е первым делом спрашивают, приезжаете ли Вы и когда, а я ничего ответить не могу!! Повторяю, советовать Вам ничего не могу и не хочу... Если журнал создается, то мы хотим в первой же книге поместить начало "Темных Аллей". Ради Бога, пошлите мне тотчас один экземпляр, отметив, что еще нигде не появлялось (хоть я и сам знаю) и с чего начать. Но тоже ради Бога: помните

о существовании в С. Штатах законов! (Это относительно сюжета)...

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), 118. М. Грин даст ошибочную дату 1 февраля.

En russe, Russian

20-3-41

Дорогой друг, сейчас получил через Полонских Ваше письмо (единственное за все время) от 3 февр. (а ныне 20 марта). Планов у меня никаких, ибо с чем же мне ехать куда-нибудь? Клянусь Вам, я так ниш сейчас, как никогда в жизни не был, и смотрю даже на самое близкое будущее как на форменную голодную смерть. От одной брюквы с одной солью и горячей водой (супом!), без капли масла, я становлюсь худ как Ганди, а у В[еры] Н[иколаевны] летают "мухи" перед глазами. Дом ледяной, мы его не топим, для кухни осталось сто полен — дров покупать нам не на что. А тут еще требуют налога за этот дом чуть не две тысячи. А что будет со мной, если я уеду? Вот даже Вы, Вы пока заработали всего 125 дол.! А что я могу? Я все-таки не ожидал даже подобия того зверского равнодушия, которое вижу к себе от Америки. Кому только не написал, ни доллара ниоткуда! Писал Назарову — ужели он не мог бы написать в газетах обо мне? Если бы написал, был бы большой толчок: погибает Нобел[евский] Лауреат! Молю Вас — скажите ему. От Толстой получил всего один раз. Зачем, зачем она шлет через По? Книгу свою новую высылаю, журналу буду рад ужасно¹.

Целую Вас и Т. М. От всех поклоны.

И. Б.

1. Это — будущий *Новый Журнал*.

[Алданов Бунину]

15 апреля 1941¹

... Получил сегодня Вашу открытку от 20 марта и очень расстроился, читая ее. Повторяю, я не могу и не хочу ничего Вам советовать, — ответственность слишком велика. Но если Вы

питаетесь одной брюквой и если у В. Н. "летают мухи", то как же Вам оставаться в Грассе?! Подумайте, дорогой друг, пока еще можно думать. *Возможность* уехать вдвоем — *есть* ...Как Вы будете жить здесь? Не знаю. Как мы все — с той разницей, что В а м , в отличие от других, никак не дадут "погибнуть от голода"...

1. См.: *Н. Ж.* 81 (1965), 118.

En russe

16. IV. 1941
Villa Jeannette
Grasse, A. M.

Дорогой Марк Александрович, недавно я писал Вам 2 cartes postales (avions-recom.), извещая Вас, что рукопись книги моих новых рассказов Вам отправлена. Я писал Вам, что в ней три отдела (I—II—III) и что второй отдел кончается рассказом "Натали": этот рассказ я посылаю Вам нынче *в исправленном виде*; — тот список, что послан Вам 8 Апреля, есть почти черновик, очень прошу Вас поэтому выкинуть его из книги (не читая!) и заменить этим *новым* списком.

Получил вчера письмо от одной моей знакомой, Наталии Владимировны Кодрянской — 104 West 70 Street, Hotel Walton, New-York, — она пишет, что затевается издать два сборника рассказов русских зарубежных писателей на русском и англ[ийском] языках, и просит меня дать что-нибудь для того и для другого. Я отвечаю ей, что послал Вам целую книгу своих новых рассказов, из которых еще ни один не переведен и 13 еще даже не напечатаны, и что я попросил бы Вас дать ей что-нибудь и для одного и для другого, но что гонорар ее, при всей моей дикой нищете, для меня невозможен: она предлагает мне всего *один* доллар — за страницу! (т. е. 43 франка?). Если увидите ее, поговорите с ней, узнайте, что это за сборники, и дайте ей что-нибудь хотя бы по 3 дол. за страницу и немедленной высылки по телеграфу аванса.

Если будете печатать меня, молю о *моих* знаках препинания.
Целую Вас и Т. М.
Ваш Ив. Бунин

P. S. Второй отдел моей книги до "Натали" кончается 185-ой страницей. Значит, "Натали" — 186 и т. д.

Будете ли Вы приглашать Гребеншикова?¹ По-моему, следовало бы непременно.

George (Георгий Дмитриевич) Grebenstschikoff, "Churaevka", Southbury, Conn.

1. Г. Д. Гребеншиков (1882-1964), автор эпоса "Чураевы".

En russe. Russian

6 мая 41, Grasse A. M.

Дорогой Марк Александрович,

получил Ваше письмо от 15 апр., очень благодарю Вас за его сердечность. Телеграфного перевода от Александры Льв[овны Толстой], о котором Вы сообщаете, еще до сих пор нет.

Живем мы все хуже и хуже, истинно на пише св. Антония, но и эта пища становится уже до смешного дорога. Кроме того, пропадаю от налогов — плачу *taxe de séjour* за всех своих домочадцев, — не выгнать-же их на улицу без гроша в кармане! — выплачиваю квартирный налог (почти 2 тысячи) и должен, оказывается, заплатить еще около *четырёх* тысяч налога, причитающегося с хозяйки нашей виллы, уехавшей из Грасса еще 30 сент. 39 года: раз, говорят, она уехала и не может платить, платите вы, Мг. Voupine, из той суммы, которую вы ей должны платить за виллу; я отвечаю, что я ей за первый год уже все заплатил и имею на то расписки, а за второй не плачу и не буду платить до окончания войны, не имея на то никакой возможности; но меня не слушают, — мы, говорят, ничего этого знать не хотим и, если не заплатите, будем вас "преследовать". Написал в Виши министру финансов, но навряд он мне поможет* Но оставим мы это — равно как и все то прочее, что я переживаю. На днях умер в Париже В. В. Барятинский — думаю, что от подобных переживаний.

*Да, требуют еще за парижскую квартиру 2900 фр.!

"Темные аллеи" Вы теперь, верно, уже получили — от Сергея Николаевича Барсукова, русского американца, известного пианиста, жившего в Cannes (хорошего знакомого Рахманинова) — он уже около двух недель тому назад вылетел из Лиссабона в Нью-Йорк. Второй отдел этой книги кончается рассказом "Натали", но тот текст его, что повез Барсуков, никуда не годится, он почти черновой, и потому я послал Вам 18-го апреля заказным пакетом *исправленный* текст — с просьбой *уничтожить*, по получении этого исправленного текста, *барсуковский*.

Повторяю: эту книгу я послал Вам прежде всего потому, что мне часто приходит в голову: "мало ли что может со мной случиться, пусть будет один экземпляр моей новой (и, верно, последней) книги в сохранности, в надежных руках — для потомства. А на печатание ее теперь, даже частично, я мало надеюсь: ведь Вы и сами еще неуверены, будет ли журнал и сколько времени он просуществует; это раз, а второе то, что опять-таки я Вам уже писал: если журнал и будет, возможно ли мое участие в нем? Вы говорите об этом, как о возможном. Но не ошибаетесь ли Вы, подумали ли об этом серьезно, т. е. не упуская из виду мои обстоятельства? Ведь журнал не альманах.

Словом, я послал Вам книгу и в этом смысле *на всякий случай*. *На всякий случай* посылаю Вам и список тех поправок и сокращений, смягчений (ежели окажется в них крайняя необходимость), кои будьте добры внести в мои рассказы, если им будет суждено "появиться в свет". (Вы мне писали о строгости нравов у вас, — ужели они, правда, так строги? И даже среди русских читателей? Как же тогда читали у Вас "Любовника Лэди Ч.") *Если* что-нибудь напечатаете, *молю* Вас о редакторской смелости, — если кто будет *меня* ругать, чорт с ним. Но за всем тем поступайте как хотите, *не запрашивая меня*, если эта смелость будет для Вас *невозможна* и ответственность будет падать *на Вас*.

Теперь о нашей поездке. Недели 2 тому назад я получил письмо от 19 марта: "Emergency Rescue Committee, 122 East 42nd Street, New York, N.Y. Dear Mr. Bunin, Mr. Herman Kesten has asked me to give you the good news to tell you that your application for a Special Visa has been sent on to Washington on March 6th

1941. We trust that you will receive your visa very shortly." Подписано: Lotta Loebl. Case Department.¹

Что же мне теперь делать? Очень, очень благодарю Вас за Ваши заботы и прошу передать благодарность Александру Федоровичу [Керенскому]. Но — как решиться ехать! Доехать, как Вы говорите, мы можем. Но опять, опять что дальше? Вы пишете: "погибнуть с голоду Вам не дадут". Да, в буквальном смысле слова "погибнуть с голода", м. б., не дадут. Но от нищеты, всяческого мизера, унижений, вечной неопределенности? *Месяца два-три* будут помогать, заботиться, *а дальше бросят, забудут* — в этом я твердо уверен. Что же до заработка, то Вы сами говорите: "будут случайные и небольшие — чтение, продажа книги, рассказа...". Но сколько же раз буду я читать? В первый год, один раз... м. б., и во второй еще раз... а дальше конец. И рассказы, книги я не могу печь без конца — главное-же, продавать их.

И самое главное: очень уж не молод я, дорогой друг, и В. Н. тоже, *очень большая и слабая В. Н.* Вот даже частность: Вы пишете, что "на первое время предоставят нам комнаты в имении, в 45 м. от Н. Й." А каково в наши годы жить даже "первое время" где-то у чужих людей, из милости, подлаживаясь к чужой жизни — и т. д.! Короче говоря — ни на что *сейчас* я не могу решиться. Визу иметь на *всякий крайний* случай — (который, конечно, вполне возможен) буду рад. И если ее длительность будет хоть *полугодовая, может быть*, мы ею воспользуемся.

Целую Вас и дорогую Т. М. с большой любовью и грустью.

Поклон друзьям.

Ваш Ив. Бунин.

P.S. Вчера в газетах: Secrétaire d'État au Ravitaillement déclare: "Pour mai et juin la situation sera tragique"² даже насчет хлеба.

1. Дорогой г-н Бунин, г-н Херман Кистен попросил меня сообщить Вам хорошую новость: ваше прошение о специальной визе было 6 марта 1941 послано в Вашингтон. Мы полагаем, что Вы получите Вашу визу весьма скоро.

2. Статс-секретарь по снабжению заявляет: "В мае и июне положение будет трагическим"

Exp. J. Bounine, Villa Jeannette, Grasse, A. M.

9.VII. 41

Дорогой друг,

дивлюсь и беспокоюсь — последнее Ваше письмо, полученное мною, было датировано *16 апреля*. С тех пор от Вас ни звука! Здоровы ли? Послал Вам заказ[ные] авионы: 6 мая (со списком изменений во 2-м отделе "Темн[ых] Аллей"), потом 3 июня; 21-го июня телеграмму: "pas nouvelles ni argent"¹. А от Вас все ничего. Послал и Толстой — зак[азной] авион — 11 июня. От нее тоже ни слова уже месяца четыре. Слава Богу, хоть от Долгополова² получил, а то бы пропадать. Недели 3 тому назад один господин повез Вам "Натали" еще с мелкими поправками. Живем плохо, дороговизна все растет — о прочем и не говорю. На днях сидел 24 часа дома. Страшно трогательное сочувственное письмо от Andre G[ide] (он, оказывается, возле нас, в Cabris).

Целую Вас и Т. М.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Ленья [Зуров] и Аля [Бахрах] не были дома 4 дня.

1. "Ни новостей, ни денег"

2. Д-р Н. С. Долгополов, который был связан с Земским Городским Союзом (Земгор).

[Алданов Бунину]

2 августа 1941

...Снова повторяю, что Ваши рассказы я получил и страшно Вам благодарен. Они чудесны, от многих я в полном восторге. Но смелый Вы человек, дорогой Иван Алексеевич! Ведь ругать Вас за вольность некоторых сцен будет всякий, кому не лень: будут говорить: "порнография!", "лавры автора лэди Чэттерлей" и т. д.

С журналом дело обстоит так: по смете каждая книга, при даровой даже работе редактора, обойдется в тысячу долларов. Я хотел начать, имея 2 тысячи. Обещали мне золотые горы. Когда дело дошло до выполнения, то оказалось, что немедленно можно получить 500!... Я кое-как живу своим трудом: приехал с 70 долл., а сейчас у меня в кармане 90! Пишу в американских жур-

налах, — по-русски или по-французски (по-английски не решаюся), а они переводят сами¹. Напечатал несколько статей (одну резкую — о Горьком, в "Десижен")², в первый раз в жизни согрешил рассказом (он по-русски, разумеется), он помещен в "Амэрикан Меркури"³, это один из лучших ежемесячных журналов...

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), 118, 119 и 135.

2. Алданов напечатал "Recollections of Maxim Gorki" in *Decision* (Nov.-Dec., 1941, 25-31). По всей вероятности Алданов называет статью "резкой" потому что он м. б. пишет: "Lenin, in my opinion, is the second key to the Gorki enigma [the first key being a dreadful fear of being regarded as "old hat"]. — A. 3.] — if, indeed, enigma it be. Gorki, the great revolutionary writer was in truth a weakling". (p. 28) "Ленин, я думаю, — второй ключ к Горьковской загадке (первый ключ — жуткий страх прослыть ретроградом — А. 3.) — разумеется, если тут вообще есть что-либо загадочное. Горький, великий революционный писатель был, в действительности, слабак".

3. "A Day with the Prime Minister [Алданов, ясное дело, имеет в виду "Черчилля"]". — *The American Mercury* (July, 1941), 74-83.

[Алданов Бунину]

25 октября 1941

...В первой [книге *Н. Ж.*] на первом месте появятся "Руся" и "В Париже". Я Вам говорил о 100 франках за печатную страницу размера "Совр[еменных] Записок", но фактически Вы получите несколько больше... Оба рассказа небольшие. Но во второй книге, если она выйдет... мы напечатает "Натали"; это, по моему, самый лучший и просто изумительный рассказ, одна из лучших Ваших вещей вообще...¹

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), 119.

[Алданов Бунину]

29 июня 1942

...Я надеюсь, что Вы получили и мое письмо от 27 мая. На всякий случай повторяю кратко его содержание. "Руся", "В Париже" были напечатаны в первой книге нашего журнала (я Вам послал оттиски), "Натали" — во второй (тоже послал). "Генрих" будет напечатан в третьей, которая появится 1 сен-

тября. Кроме того в сборнике "Ковчег", выпущенном недавно Мансветовым, Марией Толстой (дочерью Андрея Львовича, женой Мансветова, поэтессой) и Кодрянской, появился рассказ "Зойка и Валерия". И, наконец, в маленьком журнальчике Софии Прегель "Новоселье" напечатаны "Три Рубля". Приветы, Вами полученные, относятся ко всему этому...

J. Bounine, Villa Jeannette, Grasse, A.M.

28-VII-1942

Très cher ami,
je vous prie de faire tout possible pour obtenir visas pour moi et
Véra. Je vous embrasse, vous et Tatiana Marcovna!

Votre
J. Bounine

1. "Мой дорогой друг, я прошу Вас сделать все возможное для получения визы для меня и Веры. Обнимаю Вас и Татьяну Марковну".

In Russian, en russe

8-VIII-42

Наконец-то письмо от Вас, дорогой друг. Да, я оч[ень] ошибся, что не поехал. Недели 2 тому назад послал Вам открытку — av[ion] и депешу — просьбы о визах мне и В. Н. Она так несказанно худа и слаба от язвы в желудке и голода, что твердит, что не доедет. Ну а здесь, что будет с нами осенью и зимою, которые будут гораздо хуже прежних *всячески*, да еще при том, что я теперь уже ничего ниоткуда не получаю, живу тем, что распродаю последнее, и должен еще заплатить за парижск[ую] квартиру, которую одно время уже описали (вместе с 9 чемоданами моего архива), 12 т[ысяч] долгу и которую я никак не могу ликвидировать? Нас теперь четверо — Г[алина] Н[иколаевна] Кузнецова и [Маргарита Августовна] Степун бросили нас еще 1 апр[еля] — нашли богатую сумасш[едшую] старуху, которая их прекрасно содержит¹ — нас четверо, еще немало при одном моем пустом кармане. "Помирать буду, сказал Макар — и лег в снег". Оч[ень] благодарю за добрые слова о моих писаниях. Рад буду, если Цвиб[ак] издаст в своем

изд[ательстве] мою книгу — надеюсь прислать уже совсем, совсем исправленную рукопись. Кнопфу² я продал мои прежн[ие] книги не за единовр[еменную] сумму, а за проценты, горячо прошу М[ихаила] О[сиповича]³ поговорить с ним. Сердечно обнимаю Вас всех. Что пишете про Ангелину⁴, я не понял.

Ваш Ив. Б.

1. Это — Mme Émile Mayrisch, née Aline de Saint-Hubert (1874-1947), подруга Андре Жида.

2. А. А. Кнопф — нью-йоркский издатель.

3. М. О. Цетлин (1882-1946), первый редактор *Н. Ж.*

4. Дочь М. О. Цетлина.

Villa Jeannette

17-I-45

Grasse A.M.

Très cher ami, le 19 Décembre j'ai envoyé à Paris, à Mikhailoff¹ ma lettre à vous et mes trois récits — avec la prière d'envoyer tout cela à vous — et je ne sais pas jusqu'à présent le résultat de cette démarche! Reçu votre carte du 10 Oct. et celle de Zwibak de 2. Nov. Il m'écrit: "Votre livre a été publié² et a eu beaucoup de succès, mais le tirage ici est très limité" — et c'est tout à propos de ce pauvre livre! Alors, pas un sou pour moi? Cependant je suis diablement pauvre — et malade: le foie. Reçu votre argent — 4900 frs seulement! Horreur! Et la famine, le froid et la maladie — peut être quelque chose de "la mort d'Ivan Ilich"³! Écrivez-moi encore un peu, ayez pitié de moi! Nous vous embrassons-vous et T.M. Nos meilleurs sentiments à tous nos amis.

Votre Ivan Bounine

P.S. J'ai écrit encore un livre (comme "Les allés sombres")³

1. П. А. Михайлов, юрист, друг Буниных.

2. Это — нью-йоркское издание *Темных ал ей* 1943-го г. в издательстве "Новая земля".

3. "Мой дорогой друг, 19 декабря я отправил в Париж Михайлову письмо к Вам и три моих рассказика — с просьбой послать все это Вам — и до сих пор не имею никакого понятия о результате этого предприятия! Получил Вашу открыт-

ку от 10 октября, а также от Цвибака от 2 ноября. Он мне пишет: "Ваша книга напечатана и пользуется успехом, но тираж здесь весьма невелик" — и все по поводу этой несчастной книги! Что же, ни копейки для меня? Я же тем временем чертовски беден — и болен, ей Богу! Получил Ваши деньги — всего лишь 4900 франков! Ужас! А тут голод, холод, болезни — нечто вроде "Смерти Ивана Ильича"! Пишите мне хоть немного, имейте сострадание! Мы Вас обнимаем — Вас и Т. М. Лучшие пожелания нашим друзьям. Ваш Иван Бунин. P. S. Я написал еще одну книгу (вроде "Темных аллей").

Villa Jeannette, Grasse, Alpes Maritimes

le 21 Mars 1945

Très cher ami

Reçu votre télégramme — Desolé! Vous avez reçu ma lettre et "short [sic!] stories": c'est à dire deux récits seulement? Mais le troisième, beaucoup plus grand ("Lundi blanc") — où est-il? Quant aux colis, j'en ai reçu quatre petits, à moitié vides, déchirés. Je vous remercie beaucoup, mais je vous prie de cesser les envoyer — c'est à mon compte, n'est-ce pas? Alors, je préfère l'argent, je suis tout à fait pauvre! (Et très faible). À la fin d'avril nous quittons (à jamais!) Grasse pour Paris (I, rue Jacques Offenbach). Je répète: j'ai reçu votre carte du 10 Octobre — et c'est tout!

Je vous embrasse, vous tous, très cordialement. Ma femme aussi.

Votre dévoué

Ivan Bounine.¹

1. "Мой дорогой друг, получил Вашу телеграмму — В отчаянии. Вы получили мое письмо и короткие рассказы: то есть всего два рассказа? Ну а третий, более длинный ("Чистый понедельник") — где же он? Что до посылок, я получил 4 маленькие, *наполовину пустые*, распотрошенные. Весьма Вам благодарен, но, пожалуйста, больше не посылайте — ведь это за мой счет, не так ли? Я предпочитаю деньгами, я вконец обеднел. (И весьма ослабел). В конце апреля мы (навсегда) покидаем Грасс и отправляемся в Париж... Повторяю: я получил только одну Вашу открытку от 10 октября! Я вас всех обнимаю весьма сердечно. Супруга тоже. Преданный Вам Иван Бунин".

[Алданов Бунину]

23 марта 1945

...Прежде всего, "Темные Аллеи". Согласно Вашему указанию, я передал их Цвибаку. Они были изданы. Но... могу Вас уверить, — мы спросили адвоката — некоторые Ваши рассказы не могут быть здесь напечатаны: на издание был бы немедленно наложен арест с преследованием. Поверьте, я не шучу¹. Здесь "насчет нравственности строго"... Отзывы в немногочисленных русских пер[иодических] изданиях были восторженные, но русская колония в Америке книг вообще не читает... Один из рассказов, "Натали", удостоился большой чести: его взяло в антологию мировой литературы рассказов американское издательство Фишера...

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), 135.

En russe

[Вероятно начало мая 1945]

1, rue Jacques Offenbach

Paris, 16

Дорогой Марк Александрович, мы, наконец, в Париже, навсегда покинув Грасс. Получил Ваше письмо от 23 марта. Буду писать Вам подробно завтра. Сейчас спешу сказать два слова насчет тех денег мне, о которых Вы мне писали и сумма которых оказалась, по словам Т. А. Осоргиной, равняющейся семи с половиной тысячам франков. Не могу принять такой суммы. Полонские (с которыми вижусь каждый день) очень одобряют такое мое решение и составили для меня телеграмму к Вам, которую я и отправляю сейчас.

Обнимаю Вас, целую руку Т. М.

Вера шлет Вам обоим самый сердечный привет.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Зайцев тоже отказывается получить от Осоргиной деньги: ему выходит всего 2 тысячи. Осоргина известила меня так: "Получила от литературного представителя Мих[аила] Андр[еевича]¹ распоряжение вручить Вам 7500 фр."

Не понимаю, зачем (*при таком* способе уплаты мне гоно-

пара!) понадобился "представитель Мих. Андр." и сама Осоргина!

И. М. Осоргин — псевд. Михаила Андреевича Ильина (1878-1943).

En russe

28 мая 1945 г.

I, rue Jacques Offenbach
Paris 16^e

Дорогой Марк Александрович, мы в Париже с 3-го мая. Приехав, тотчас написал Вам коротенькое письмо, а 14 мая послал телеграмму, составленную вместе с Яковом Борисовичем [Полонским]: "Ossorguina offre règlement impossible accepter stop. Nécessaire lui donner indications stop. Sinon, adressez-vous Ose."

Получили ли Вы эту телеграмму и письмо, равно как и письма, посланные еще из Грасса? Весьма вероятно, что нет. Теперь пишу, наконец, с большей уверенностью. Мое здоровье лучше, дай Бог не сглазить, но печень еще увеличена и слабость большая, а вот В. Н. хуже: ослаблено сердце, общая слабость, бледность и худоба ужасные, принимает что-то для сердца, стараемся ее немного лучше питать, покупаю масло (которое стоит 600 фр. кило!). Деньги ужасно нужны, но принять 7500 было никак невозможно (Зайцев тоже не принял)¹. Свои парижские впечатления (в некоторых отношениях очень неприятные) напишу Вам как-нибудь подробнее, — сейчас чувствую себя очень неважно — видите, какой почерк и как тупо и бестолково выражаюсь. Повторяю то, что уже писал Вам об Америке: *чем же мы там будем жить?* Совершенно не представляю себе! Подаяниями! Но какими? Очевидно, совершенно нищенскими, а нищенство для нас, при нашей слабости, больше уже не под силу. А главное — сколько времени будут длиться эти подаяния? Месяца 2, 3? А дальше что? Но и тут ждет нас тоже нищенское, мучительное, тревожное существование. Так что, как никак, остается одно: домой. Этого, как слышно, очень хотят и сулят золотые горы во всех смыслах. Но как на это решиться? Положду, подумую... хотя, повторяю, что же делать иначе?²

Здесь, как Вы, верно, уже знаете, стали выходить "Русские Новости"³ (еженедельно). Я дал в 1-й №. рассказ. Газета прилич-

ная. И вообще — ничего не поделаешь...

Продолжаю получать иногда посылки от Вас и от других друзей (очень всегда разворованные, но все-таки очень, очень спасительные): горячо благодарю и Вас и всех за них! Передайте, пожалуйста, всем друзьям мои самые сердечные чувства.

Целуем Вас и Татьяну Марковну с неизменной любовью.

Ваш Ив. Бунин

P. S. С нетерпением жду том 1, 2 экземпляра "Темных аллей".

[*Приписано*] Ваше письмо от 23 марта мне переслали из Грасса.

1. В письме от 29 июня 1945 Алданов написал Бунину следующее: "Я получил Ваше письмо от 28 мая и другое, без даты, о деньгах Осоргиной. Телеграфировать об этом было совершенно бесполезно. Но скажу по существу. Разве Татьяна Алексеевна Вам не сказала, что эти деньги были ей получены не вчера, а тотчас после кончины Михаила Андреевича, в связи с *единственной* тогда открывшейся возможностью? Вы спрашиваете меня: "Не понимаю, зачем при таком способе уплаты мне гонорара понадобился 'представитель Михаила Андреевича' и сама Осоргина"! Мы имели основания думать, что Вы и Борис Константинович [Зайцев] остро нуждались в деньгах (по совести я и до сих пор не понимаю, как жили и живут Зайцевы?). Никакой другой возможности не было. Марья Самойловна [Цетлина] также послала деньги Ангелине. *Она и Мих. Ос.* решили и взяли на себя перевести деньги и Вам. Может быть, это была ошибка? Мы ее в последнее время исправили".

2. По этому поводу Алданов послал Бунину детальное письмо 30 мая 1945. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), 120, 121.

3. *Русские Новости*, № 1, 18 мая 1945. На 4-ой стр. напечатан рассказ Бунина "Холодная осень".

[Алданов Бунину]

29 июня 1945

...Убьете ли Вы меня, если я скажу, что изменил одно слово в "Чистом Понедельнике"?!! У Вас "я" зашел в Благовещенский собор и увидел там "надмогильные плиты московских царей". — Цари похоронены в *Архангельском* соборе. Я поставил "Архангельский" вместо "Благовещенский". Не убивайте меня...

En russe

17.VIII.45

Ставров послал Вам, дорогой Марк Александрович, рассказ

для "Нов. Ж." и просит меня написать: сделайте одолжение замолвить за него словечко в редакции! Помогите ему напечататься!

Вы как-нибудь упрекаете меня, что я мало даю для "Нов. Ж." Но почему же из всех многих рассказов, что я послал Вам уже года три тому назад, редакция взяла *всего 4* рассказа? Я только недавно узнал это и, по правде сказать, слегка уязвлен. И даже не слегка.

Что за странный человек М[ихаил Александрович] Чехов! Много очень хороших страниц в его воспоминаниях, но очень много и вполне дурацких, наивных и таких, что не знаешь: жулик или сумасшедший? Знаю, что был одно время и впрямь сумасшедший, но ведь *был*, а не есть. К чему журнал завел эту череполосицу — то старое правописание, то это "новое", заборно-вульгарное! Для кого это последнее?

Тэффи настояла, чтобы я дал ей прочесть некролог о ней¹. Прочла и промолчала. Думаю, ужасно оскорблена. И я понимаю ее. А к Бальмонту Мих. Ос. все еще болен любовью, все еще верит, что Б. был суший испанец! Но это, конечно, пустяки², а вот его настоящая болезнь меня очень огорчает и беспокоит, Что с ним? Передайте ему и М[арье] С[амойловне] мои самые сердечные чувства.

Обнимаю Вас, целую руку дорогой Т. М. Как грустно, что Вы отложили свой приезд!

Неизменно любящий Вас Ив. Бунин.

Нельзя ли получить *первые 3* книги журнала?

Пожалуйста, напишите, кто такой Александр Курилович из Pittsburg, Penna.

Воображаю, что набрехал про Гоголя этот с. с., Сирин!

1. Он появился в 6-ой книге *Н. Ж.* и был написан М. О. Цетлиным.

2. [Приписано почерком Алданова]. "Я не писал ему, М. А."

Милый, дорогой Марк Александрович,

Получил вчера еще одну Вашу посылку (посланную 15-го июня) — очень тронут, очень благодарю — и очень смущен: мне

очень совестно, что Вы на нас все тратитесь! Уже просил Вас больше не делать этого — и опять прошу!

Где Вы? Отдыхаете где-нибудь? Мы, конечно, сидим в Париже, слишком бедны для выезда куда-нибудь на несколько дней; да если бы были и богаты — не поехали бы никуда — так безобразно сложны и тяжки эти выезды! Но и тут мне просто мука: тесная квартирка, загроможденная чемоданами, крик и плач детей в грязном дворе, весь день ревущее над головой радио, мерзкая погода... Бываю только у Зайцевых и Полонских, писать, конечно, ничего не пишу... А как Вы с Вашим романом? кончили?

Десятая кн[ига] "Н. Ж." еще не пришла — боимся (я и Полонские), что пропала.

На днях был у меня только что приехавший из Америки И. Л. Френкель (адвокат, милейший человек), привез вести о многих из Вас — и мою книжку, составленную оч[ень] непонятно для меня. Очень жалею, что решился на это издание! А тут еще "послесловие" издательства: "остальные рассказы издадим второй книгой". Избавь Бог, очень боюсь — а вдруг и правда издадут! Ни в каком случае не хочу этого!

Не знаете ли, кто такой Alexander N. Kurilovich, 347 5th Av, Pittsburg, Penna? Желает быть моим представителем в Америке, устройте переводов моих вещей. Пожалуйста, напишите мне о нем, — если сами не знаете о нем ничего, спросите кого-нибудь.

Получил книгу Зензинова — очень, очень интересную. Где он, что делает?

Целую Вас, наш самый сердечный поклон Т. М.

Ваш Ив. Бунин

1. Послесловие, о котором Бунин пишет, появилось к концу *Темных аллей* в нью-йоркском издании "Новой земли" 1943-го г.: "Темные аллеи" выходят без авторской корректуры. Издательство не имеет, к сожалению, возможности снестись с И. А. Бунинным. Между тем, оно вынуждено было разделить книгу знаменитого писателя на два тома. Настоящий том заключает в себе лишь половину рассказов, составляющих эту книгу. Автор ее, естественно, не несет никакой ответственности за раздел и за другие недостатки, которые могут быть у издания. Редакционная коллегия "Новой Земли" считает себя обязанной довести

об этом до сведения читателей в надежде, что они, как и сам И. А. Бунин, примут во внимание исключительные условия нашего времени".

Май, 1943 г.

От Издательства.

En russe

17.8.1945

Милый Марк Александрович, дорогой друг, мне нестерпимо стыдно, но что же делать — я опять о своей нищете! Ехать мне некуда, а прожился я совершенно (и долга у меня под сто тысяч, как я уже Вам писал), главное же то, что вот-вот (в октябре) мне 75 лет: так нельзя ли, под эту милую годовщину собрать ли для меня, хотя бы некоторую сумму у Вас, в Америке?

С полным отчаянием написал я эти строки — и кончаю, обнимая Вас и целуя руку Т. М.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Вчера тоже писал Вам (о другом, вообще кое-что о себе) и послал авионом.

Получили ли Вы рассказы Ставрова? Дрожит за судьбу их!

[Алданов Бунину]

27 августа 1945

...Получили ли Вы от нас еще 7500 франков за "Мадрид" и "Второй "Кофейник"? Если еще не получили, то скоро получите. Деньги уже отправлены. Получили ли Вы десятую книгу с "Чистым Понедельником"?

Мы напечатали всего шесть Ваших рассказов. Конечно, мы могли бы в свое время напечатать еще другие из "Темных Аллей". Но нам категорически сказали магазины, что если мы напечатаем всю книгу в журнале или большую ее часть, то ее никто покупать не будет, так как все возможные покупатели "Темных Аллей" читают "Новый Журнал". Думаю, что это было верно... "Темные Аллей" прошли лучше всех других книг. По поводу Вашего 75-летия "Новый Журнал" намечает большую статью о Вас. Одна большая статья (Зензинова) была о Вас в третьей книге.

Что до разделения "Темных Аллей", то ведь о причинах его

я Вам давно писал. Эти причины остаются в силе и следовательно в *Америке* второй том напечатать нельзя, если б "меценаты" и дали деньги. Во *Франции* этого препятствия, конечно, не было бы. Не скрою, Михаила Осиповича очень пугают и две-три строчки в "Мадриде" и в "Кофейнике" — Мих. Ос. теперь главный редактор...

[Алданов Вере Николаевне Буниной]

28 августа 1945

...Но Вы, вероятно, понимаете, что "Мадрид" и "Второй Кофейник" в некоторых "пуританских" кругах Нью-Йорка должны были бы вызвать недовольство. Нам это довольно безразлично, однако на успехе банкета это могло бы отразиться: богатые дамы и так гневаются или делают вид, что гневаются: их девичья стыдливость оскорблена Иваном Алексеевичем. Поэтому лучше в *одиннадцатой* книге дать сегодня полученные мною рассказы, а те два поместить лишь после банкета. Кроме того (это уже другое дело) говорю для примера (*конфиденциально*), если бы вдова и дочери Шаляпина обиделись из-за "Второго Кофейника"... то на успехе банкета это отразилось бы очень сильно... Мы уже отправили в типографию "Речной Трактир" и "Дубки"...

En russe

28.VIII.45

Дорогой Марк Александрович, вот Вам еще один рассказ; итого у Вас теперь *шесть*: "Мадрид", "Второй Кофейник", "Пароход Саратов", "Дубки", "Речной трактир" и вот этот — "Месть". Полонские мне сказали, что Вы пишете о желании "Новоселья" иметь что-нибудь мое (странно, что это "Новос." не обратилось прямо ко мне!); Цвибак уже давно просил дать что-н[ибудь] для "Нов[ого] Рус[ского] Слова"; если найдете возможным, дайте из имеющегося у Вас что-нибудь и в "Новоселье" и в "Нов.Рус. Слово", а если не дадите, я сам могу послать и Прегель и Цвибаку — при условии приличной платы. (Не согласятся ли они кроме того напечатать меня по старой орфографии? Верно, нет, так что не настаиваю, а так хотелось бы!).

Если видите Кодрянскую, мой поклон ей и то, что она моло-

дец сделала большие успехи!

Получил журнальчик со статьей Вл[адимира] Михайловича [Зензинова] — очень ему благодарен, отличная статья.

Получил 10-ую кн[игу] "Нов. Ж.", читал Вас¹, куря папиросу за папиросой — так интересно, так волнует.

От Вас сто лет ни строчки: теперь Вы, верно, уже вернулись с отдыха — напишите пожалуйста. От Цетлиных, которым писал, тоже ни слова, а мы очень беспокоимся о Мих. Ос.

Новостей у нас особых нет.

Целую Вас и дорогую Татьяну Марковну.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Вчера был у меня с Вашим письмом П. П. Тутковский². Я ему сказал, что хочу Вам написать только одно: ничего дурного про него я не слыхал.

Взяли ли Вы для "Нов. Ж." что-нибудь Ставрова?³ На днях, уезжая с женой в Нищу гостить у Адамовича, он опять просил меня "замолвить словечко" за него. Вот и опять "молвлю" — он не хуже других.

Что этак воспламенился Сухомлин?⁴

1. Т. е. роман Алданова *Истоки*.

2. Работал барменом в русском парижском ресторане "Доминик".

3. П. Ставров ничего не печатал в *Н. Ж.*.

4. См. письмо от 1 октября 45.

En russe

3.9.1945

Милый, дорогой Марк Александрович, которого я, вероятно, уже больше никогда не увижу! — нынче Ваше письмо к В. Н. от 28-го Авг[уста]. Вы пишете, что "вчера" Вы написали мне, а Т. М. — В. Н-е: эти письма, д. б., пропали. Чрезвычайно благодарю Вас за доброе желание помочь мне устройством моего ужасного "юбилея" и, разумеется, ничего не имею против Вашего плана обратиться к нью-йоркскому комитету нобелевск[их] лауреатов, — обращайтесь вообще куда Вам угодно. Очень огорчен судьбой "Мадрида" и "Вт[орого] кофейника", — не понимаю, что в них похабного, — они так чисты, просто-

душны, "героини" их, по-моему, просто очаровательны — и что это за "богатые дамы", кои вообще гnevаются на меня? — ведь *все то, что у Вас было напечатано*, так невинно! И уж совсем не понимаю, почему вдова и дочери Шаляпина могут обидеться на мою архиневинную выдумку, что Ш. заехал с Коров[иным] в тот извозничий трактир похмелиться, где служила "героиня" "Вт. кофейника", и там, шутя, кричал?! Вы говорите, что "имена вообще лучше было бы выпустить", — никак не могу с этим согласиться; и не выпускайте, пожалуйста, если все-таки решитесь печатать эти два рассказа (кои, конечно, гораздо лучше "Дубков" и "Реч[ного] трактира"). Напишите все-таки мне, пожалуйста, решитесь ли? т. е. *после* "юбилея", ежели таковой состоится...

Написал последн[ие] слова, этот вопрос с некоторым даже ужасом: да что же это за институтские нравы у Вас?! и как же это Вы все с ними все-таки считаетесь?! (Терпеть не могу этого соединения — вопросительного знака с восклицательным — но не могу не употребить его сейчас!) Вообще, на редкость грустна судьба моей последней книги (она, кстати сказать, теперь стала вдвое больше того, что Вы знаете) — очевидно, что напечатать ее по-русски мог бы я все-таки только во Франции, если бы была тому материальная возможность; но Вы, верно, знаете, что об этом и мечтать нельзя — на это нужны совершенно дикие деньги! Я продал ее одному новому французскому издательству, но Вы знаете, что такое переводы и что такое французский писатель!

Вы послали мне недавно 7500 фр.? Ничего еще не получал. Через кого и *как* послали?

Бесконечно благодарим за новую посылку, о которой Вы пишете. Это от фонда?

А. И. Коновалову, Зензинову, Николаевскому и всем прочим друзьям самый сердечный привет.

Целую Вас и Т. М.

Ваш Ив. Бунин

[неразб. слова] некот[орые] старые книжки "Совр[еменных] Записок". Сколько интересного! сколько чудовишного! Напр. "Дар" Сирина! Местами Ипполит из "Войны и М[ира]".

4.9.45

Дорогой Марк Александрович, вчера послал Вам заказ[ой] авион — в ответ на Ваше письмо к В. Н. Нынче пришло Ваше письмо (вместе с письмом Т. М.) на мое имя. Еще раз горячо благодарю за Ваши заботы обо мне — и повторяю: обращайтесь насчет меня куда Вам угодно — мне, жалкому старику, уже давно терять нечего! Впрочем и оправдание есть: я ведь уже давно безработный, хотя еще пишу не хуже прежнего, несмотря на крайнюю физическ[ую] слабость, для которой есть причины и помимо лет, всякому понятные, — даже никакому Томасу Манну не понять до конца того, что пережил я физически и морально! Передайте пожалуйста мою благодарность и Ал[ексandre] Львовне [Толстой] и Александру Федоровичу [Керенскому] — ему и его жене, кроме того, и самые сердечные соболезнования и наилучшие пожелания. (Кстати — вспомнил: где М[ихаил] И[ванович] Ростовцев¹ и что с ним? Уже давно был слух о его смерти — не был ли он серьезно болен?) Насчет премии: нет ли у Вас слухов о ней? Будут ли выдавать ее в нынешнем году? И если да, как думаете — кому дадут? Ужели Шолохову или Леонову? А очень, очень похоже на то! О Вас я в нынешнем году не писал — раньше не было почтового сообщения, теперь есть, да уже поздно. Влад[имиру] Мих[айловичу] я уже давно (месяца 1½ тому назад) писал, благодаря его за его книгу (и прося его выслать мне его статью обо мне в третьей кн[иге] "Нов. Ж.) — ответа нет. Нет ли у Вас этой статьи? Очень обрадовали бы, если бы вырезали и прислали².

Об издании моих сочинений Академией Наук было в газетах. Правда ли это, не знаю — знаю одно: не покупала у меня, не платила и, если издаст, то, конечно, не заплатит. Ведь не получал же я ничего (и, конечно, ничего не получу) за все то, что было уже издано из моих писаний в России (да еще в каком количестве экз[емпляров]!) А получить бы следовало (тем более — простите за нескромность, не для хвастовства говорю — что имел много доказательств последнее время о даже неумеренном восхищении мною читателей из России).

Целую Вас и руку Т. М.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Да, Зин[аида] Ник[олаевна] Гиппиус при смерти... Прости

меня Бог, что думаю об этом сейчас, но не могу не думать: чего только не останется после нее в смысле ее гадючьих дневников насчет многих, многих из нас!

1. 1870-1952, русский археолог.

2. В. М. Зензинов, "Иван Алексеевич Бунин", *Новый Журнал*, III (1942), 288-305. Зензинов пишет об оставлении Буниным России, о жизни его в Грассе на вилле "Бельведер", о присуждении ему Нобелевской премии, о любви Бунина к Пушкину. Здесь стоит процитировать следующие из дословных записей бесед с Буниным: "Одно хорошо: от жизни человечества, от веков поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно" (стр. 303).

1 окт[ября] 45

Дорогой Марк Александрович,

сейчас получил письмо от С[офии] Ю[льевны] Прегель — итак "Нов. Журнал" перекинул мои "Мадрид" и "Вт[орой] Кофейник" — "Новоселью"¹, сочтя их, очевидно, совершенно непристойными! я меж тем думал, что Вы дадите "Новоселью" что-нибудь маленькое — напр., "Пароход Саратов"...

От Вас давно нет ни строчки — уже не рассердились ли Вы за (никак не к Вам лично обращенные) слова à la Скабичевский насчет "оскорбления литературы и читателя" стихами Цветаевой?

Не знаю, куда засунул — не найду никак Ваше последнее письмо — Вы, кажется, сообщали мне насчет *новой* отправки мне семи с половиной тысяч франков: если не ошибаюсь, если действительно сообщали, как грустно опять! Лучше было не отправлять, подождать более подходящего случая... Прегаль пишет, что гонорар мне за "Мадрид" и "Вт. кофейник" она передала Марии Самойловне — пишу просьбу Прегель поскорее сказать Марии Самойловне тоже не спешить с пересылкой его.*

Целую Вас и дорожую Т. М. Вера тоже. Ваш Ив. Б.

*Будьте добры и Вы сказать поскорее это Марии Сам.

Р. S. Приехал Сухомлин. У меня не был. Уже появился со статьей в "Советск[ом] Патриоте"².

1. В 21-м № (1945) *Новоселья* появились "Мадрид" и "Второй кофейник".

2. Статья "Интересы России" появилась в *Советском Патриоте* 28 сентября 1945. По мнению эмигрантских журналистов, говорится в статье, "всякое усиление России, или, не дай Бог, расширение ее границ *при советском режиме* вредно и опасно, так как уменьшает шансы (якобы, еще существующие) на возвращение к власти почитателей "демократического капитализма"... Плановое советское хозяйство... не заинтересовано ни в каких захватах. *Вопреки утверждениям некоторых "знатоков России", агрессивная политика противоречит самому существованию социалистической хозяйственной системы Советского Союза...* Но в центре всех вопросов для него [Советского Союза] будет всегда стоять вопрос о *предотвращении новой германской агрессии...*"

3. Сухомлин был разоблачен, как многолетний советский агент. По разоблачении уехал в СССР. *Прим. редакции.*

11 окт[ября] 45

Дорогие Татьяна Марковна и Марк Александрович,

горячо благодарим Вас за поздравление (с моим столь грустным "юбилеем"!) и за хлопоты обо мне; сделайте одолжение передать мою благодарность и *всем*, кто составляет комитет по этому поводу. За "роскошное" издание "Речного трактира" немножко стыжусь — в нем кое-что неплохо насчет Волги, вообще насчет "святой Руси", но ведь все-таки это не лучший "перл" в моей "короне", хотя как раз этот "трактир" принес мне много похвал (я читал его тут многим).

А что за приписка моя на нем? Кажется, весьма печальная — это насчет того, что я очень слаб, не могу с достаточной зоркостью перечитать его, т. е. поправить могущие быть в нем описки? Впрочем, все равно... О моем приезде в Америку я говорил с Полонскими, конечно, не совсем серьезно: очень это было бы интересно, но уж очень трудно во всех смыслах! И хлопот куча и, пожалуй, не хватит у меня сил на такое путешествие и на все прочие "переживания"...

Письмо в Стокгольм пишу, но надежды у меня почти никакой нет. Вообразите себе: на днях получил письмо оттуда (от Сиопа, ведающего там моими литературными делишками): все мои книги по-шведски разошлись, но наследник моего издателя (Grebers'a) Кюпцель, заявил Сиопу, что *сейчас* переиздавать "эмигранта" "*не психологично*"! А в самой Москве меня меж тем продолжают издавать на днях прочел в московской "Литературной Газете" о выходе в свет каких-то моих "избран-

ных" произведений¹. Было в "советских" газетах (весной) еще известие, что выходит академическое издание моих сочинений. Это меня ужасно взволновало и продолжает волновать: навалят в это издание Бог знает что, без разбору, перемешают путное с ничтожным, ранним — и т. д., словом, сделают то, от чего многие, так уже изданные, в гробу переворачиваются! На днях поэт Корвин-Пиотровский позвал меня к себе на "литературную чашку чаю", я согласился и поехал (Пиотровский очень способствовал освобождению моей квартиры от неких Графов) — и застал у него С[ергея] К[онстантиновича] Маковского, Ладинского, Ставрова..., а затем приехал вдруг советский консул Емельянов и советник посольства Грузовский. Все, слава Богу, сошло хорошо — ни одного "политического" слова — любезный безразличный разговор о том, о сем... Но я все-таки не вытерпел, спросил Грузовского, как и с кем связаться мне с Академией насчет этого академического издания, и он обещал мне все это разузнать и известить меня об этом. Думаю, впрочем, что Академия вряд ли пожелает со мной разговаривать.

Опять очень смущен и опять горячо благодарю за посылки, о которых Вы, дорогой друг, пишете. Джин, виски, конечно, не дойдут, будут украдены и выпиты.

Привета от "Нов. Ж." через Гурвича еще не получал.

Если можно пришлите коробочку "Vitamins Plus" я, правда, довольно слаб. Да и Вера тоже.

Что за писатель Верман? Ничего-то я не знаю, даже страшно!

От всей души обнимаем Вас обоих.

Ваш Ив. Б.

P. S. На днях были за городом, в гостях у Сергея Петровича. Истинно протопоп Аввакум, как он сам себя называет! Кто это Мг. В. Vukhovsku, от которого я получил на днях посылочку? На коробке нет его адреса, — только фамилия, — не могу поблагодарить.

Вл. Мих. напрасно печатает выдержки из газетных писем о его книге. И ненужно и для некоторых вредно. Не понимает вполне нашей жизни.

Р. С. Недавно перечитал (уж, верно, в третий или четвертый раз) "Могилу воина"². До чего хорошо!

1. Согласно *Библиографическому указателю* К. Д. Муратовой, между 1928-м и 1956-м гг. произведения Бунина в Советском Союзе не издавались.

2. Роман Алланова, появившийся в 1939-м г. в журнале *Русские Записки*.

[Алданов Бунину]

14 октября 1945

...Получил Ваше коротенькое письмо от 1 октября. Помилуйте, почему бы мне было обидеться за то, что Вы ска-
зали о стихах Цветаевой?!... Во-первых, я с о в е р ш е н н о с
Вами согласен в оценке этих стихов. Во-вторых, я отроду не был
редактором "Современных Записок". В-третьих, я так Вас
люблю, что не обиделся бы даже если бы была серьезная при-
чина, — а здесь нет и не было ни малейшей причины мне оби-
жаться... "Новый Журнал", как Вы знаете, помещает в 11-ой
книге три превосходных Ваших рассказа. В беллетристическом
отделе этой книги на первом месте, конечно, Вы, потом "Давид"
Зайцева, Чехов и "Истоки". Для двенадцатой книги, мы наде-
мся, Вы нам еще пришлете?!...

1. В 11-ой книге *Н. Ж.* появились "Речной трактир", "Дубки" и "Пароход
Саратов", в 12-ой — "Месть".

[Алданов Бунину]

24 октября 1945

...Страшно Вас благодарю за то, что хвалите "Могилу
Воина". Вот не ожидал! Она через неделю выходит по-англий-
ски. Думаю, что будет полный провал.

24.X.45

Дорогой Марк Александрович, получил вчера Вашу
поздравительную телеграмму горячо благодарю всех
подписавших ее! Вас лично благодарю еще и за Вашу посылку от
14 (или 17?) сент[ября]. Получил и письмо Ваше от 14 окт[ября]
— очень рад, что Вы на меня не сердились и что не волновался

из-за меня дорогой Мих. Ос. (болезнью которого *очень* огорчен). Насчет Шалаяп[ина] и Коровина все-таки дивлюсь: да почему же Марии Вал[ентиновне]¹ может быть неприятна моя столь невинная (хотя и вполне правдоподобная) выдумка, что Ш. с К., шутя, потребовали, чтобы им подавала чай "Катенька", а "не сукин сын половой"? А еще больше дивлюсь на страх за д-ра Голоушева, умершего (и не оставившего ни жены ни детей) в большой старости 26 лет тому назад! Что ж тут дурного, что он "Катеньку пустил по рукам", т. е. рекомендовал в натурщицы художникам? Нет, неблагополучно у Вас в Америке по части шепетильности!

Получил из "Нов. Ж." кое-какие статьи и страницы, вырванные из первых книжек; среди них не оказалось, к сожалению, статьи обо мне Зензинова; есть, между прочим, Ваш некролог Мережковского — извините, дорогой друг, Вы его таланты преувеличили!²

Нужда у меня есть — вот, напр., уже холодно, близка страшная парижск[ая] зима, надо тысяч 10 на немедленную покупку угля, дров, но все же лучше ждать "случая", лучше занять у кого-нибудь.

Лилю [Кедрову] видел в прошл[ое] воскресенье на сцене, она играла в "Своей семье" Грибоедова и, как всегда, была соверш[енно] чудесна...

Сделайте одолжение передать при случае С. Ю. Прегель, что я нынче получил от нее с большой благодарностью новое милое письмо и странички из "Новос[елья]" с моими двумя рассказами. Страшно рад, что нет коррект[урных] ошибок.

Если "Нов. Ж." *не* из любезности просит меня прислать ему еще что-нибудь, с удовольствием пришлю (нечто уже соверш[енно] невинное).

Целую Вас обоих сердечно.

Ваш Ив. Б.

1. Жена Шалаяпина.

2. Алданов написал, между прочим: "Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разносторонней культуры — один из учнейших людей нашей эпохи" "Д. С. Мережковский", *Новый Журнал*, 2 (1942), 368.

5.XI.1945

Дорогой Марк Александрович,

Получил то, что Вы и Цвибак написали обо мне, получил телеграмму, подписанную Вами, Коноваловым, Николаевским и Зензиновым — всех благодарю от всей души! Получил и письмо Ваше от 24 окт[ября]. Да, 164! И Бог весть, что ждет нас! И не могу выразить, как тронут я тем, что Вы приписали к этому. ("Если бы мои, Вы и Зайцевы...")¹. Посылаю Вам свой давний, давний портрет. Здесь меня тоже немножко "чествуют" — "Рус[ские] Новости" (не банкетом, конечно, — статьками, номер с которыми вышлю Вам²).

Ужасно огорчен болезнями Сол[омона] Л[ьвовича]³ и М[ихаила] О[сиповича] — передайте им, пожалуйста, мои самые горячие чувства.

Обнимаю Вас, сердечный привет Т.М.

Ваш Ив. Б.

1. В письме от 24 октября Алданов написал: "Умоляю Вас, приезжайте. Если бы мои, Вы и Зайцевы были здесь, я, кажется, больше ничего не желал бы..."

2. В номере от 9-го ноября на 1-ой стр. появилась статья Редакции *Русских Новостей* "И. А. Бунин. К его 75-ти летию". На 4-ой стр. есть два рассказа Бунина "В одной знакомой улице" и "Качели", и статья Георгия Адамовича "Поклон Бунину". На 5-ой стр. есть интервью, подписанное Бор. Бродским. На вопрос "Какие из ваших произведений, И. А., вы считаете наиболее удачными?", Бунин ответил: "Все лучшее я написал за последние годы, в эмиграции. Мое отдаление от России мне не помешало... Мы, писатели, носим родину в себе..." На той же стр. есть и статья А. Бахраха "Четыре года с Буниным".

3. Поляков-Литовцев, журналист. Умер в 1945 г.

14.XI.45

Дорогая Татьяна Марковна, получил Вашу посылку, очень очень благодарю, целую ручки!

Дорогой Марк Александрович, простите за бессовестную похвальбу себе (бывшему, молодому), что написал на своей фотогр[афической] карточке, посланной Вам, — эта бессовестность объясняется тем, что —

Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo

felice

Nella miseria...

В квартире нашей уже настает собачий холод и я уже начинаю похварывать. Топить у нас можно только в столовой (пристроили там печку, привезенную — за 1350 фр.! — из Грасса) и вот уже купил я на 5000 мокрых дров и почти на 2000 сырой каменноугольной пыли — беру деньги в долг направо и налево, набрал уже около 15 т., а доход предвидится пока один — 30 т. с издателя французского, кои получу на-днях; (а за грасскую виллу осталось еще 45 т.!). Хозяйка ее, приехавшая из Англии, потребовала заплатить все *в один месяц*, между 20 ноября и 15 дек[абря]! Придется опять занимать и закладывать кое-какие золотые вещички, последние уцелевшие у нас с В. Н. Очень скверно! А все-таки, если есть что у Вас для меня, подождите посылать — все надеюсь на улучшение курса или на "оказию".

Зимы парижской вообще боюсь ужасно — как пережить ее — во всех смыслах! Верно, буду лежать не раз в grippe, а gripпы эти в мои годы... что бы дал уехать куда-нибудь в Монтрэ, в Вевэ — да даже и в Болье, на этот самый Кот д'Азюр, — на солнце на воздух, в теплый дом! М. б. еще пописать что-нибудь... Да чорта с 2 уедешь!

Любящий Вас обоих сердечно Ив. Б.

В. Н. очень кланяется!

На днях едет в Нью-Йорк на месяц Татьяна Сергеевна Конюс, дочь Рахманинова.

20 дек[абря] 45

Дорогой друг, пришло на этих днях 2 письма от Вас — опять и опять горячо благодарю Вас всех и Марию Самойловну за сбор и попрежнему прошу ждать наилучшей okazji, какой именно, Вам виднее. Пишу Вам пока только эти несколько слов, — в первый раз после трех недель в постели (очень порядочный грипп, чуть не воспаление легких) собрался с силами сесть в кресло. (Вера тоже тяжело кашляет — в доме холод, мерзнет в очередях, в ледяной кухне — *femme de mén[age]* нам не по средствам — 25 фр. в час!)

Кончиной М[ихаила] О[сиповича] огорчен бесконечно. Добужинскому напишу — горячо благодарен и ему, это мне

большая честь¹. Рассказа для Журнала не посылал, думая, что уже порядочно надоел журналу. Завтра — послезавтра осмотрую свой "портфель", м. б., что-нибудь выберу и пошлю — простите, на Ваше имя — адреса Карповича не знаю, не знаю, как зовут его.

Посылки от Вас были, только не знаю, о каких именно Вы говорите. А что за витамины? И что это такое? Их не было пока.

Целую Вас обоих от всей души.

Ваш Ив. Бунин

О телеграммах из Москвы, — о первой Вам, верно, уже писал Як[ов Б[орисович Полонский], но была и вторая, — повторение просьбы прислать мои нов[ые] рассказы, — напишу Вам вскоре.

1. В письме от 30 ноября Алданов написал Бунину: "Художественную часть издания [т. е. специального издания "Речного трактира", А. З.] взял на себя Мстислав Валерианович Добужинский, и, кажется, теперь оно в самом деле будет красивым. Это очень любезно с его стороны. Если Вы хотите написать ему...".

[Алданов Бунину]

26 декабря 1945

..."Речной Трактир" и в журнале всех приводит в восторг, даже Ваших нынешних политических недругов: у нас ведь есть читатели *всех* взглядов. Получили мы и Ваш превосходный рассказ [т. е. "Месть", — А. З.] для 12-ой книги, рдечно Вас благодарим. Мы всему, всему Вашему рады бесконечно. Мое личное мнение: самое лучшее из всего того, что Вы напечатали в "Новом Журнале", это "Таня", потом "Натали" и "Генрих". Но все решительно превосходно, никто так не напишет. Описание Волги в "Речном Трактире" и трактира — верх совершенства...¹

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), 137.

26.XII.45

Дорогие Татьяна Марковна и Марк Александрович, с Новым Годом, будьте счастливы и благополучны! Это от меня и от В. Н.

Я все еще болен, редко и с большим трудом выхожу, — все еще бронхит и ужасная одышка, слабость, — был у Полонских недавно (обед с Маклаковым) и Вы, верно, уже многое, касающееся меня, от Полонских узнаете. Но все же кое-что, на всякий случай, скажу. Во-первых, то, что они Вам не могли писать: с великою благодарностью получил — 1) посылку, посланную 19 окт[ября], от "Посл[едних] Нов[остей]"¹, — пожалуйста, передайте им мою благодарность, — 2) Вашу посылку, посланную 30 окт[ября], с витаминами, и 3) тридцать тысяч франков через Э. Г., — счастлив был бесконечно, ибо залез в страшные долги — развязался (за месяц от 15 ноября до 15 дек[абря]) с хозяйкой villa Jeannette, послав ей за этот месяц весь мой долг — около 42 т. франков. Затем сообщаю то, что, повторяю, Вы м. б., уже знаете от Полонских и о чем я, м. б., Вам уже писал (не помню точно — очень уж был не в себе от температуры, от болезни, начавшейся чуть не 2 месяца тому назад): была телеграмма из Москвы на имя писательницы Триоле² (с которой познакомился, побывав у нее, ибо она, возвратясь из Москвы, привезла мне небольшое письмо от писателя Телешова) — эту телеграмму она передала мне по телефону и в этой телегр[амме] была просьба прислать "не медля" сборник моих последних рассказов; я тогда отправился к Борису Данил[овичу] Михайлову, заведующему здесь "бюро прессы" по назначению Москвы, и попросил его запросить Москву, зачем и кому именно нужны мои рассказы (которые я все-таки уже продал для издания О. Г. Зелюку, кстати сказать); недели через три пришел ответ из Москвы — там желают *издать* эти мои рассказы (только для России) и еще что-нибудь из моих последних книг (что привело Полонских в *искренний* восторг), и я попросил Бахраха отвезти Михайлову рукопись моих рассказов (¼ их), "Освобождение Толстого" и "Жизнь Арсеньева", а также письмо к Телешову: вот, мол, посылаю, по желанию Москвы, кое-что из моих последних писаний "для осведомления", не будучи вовсе уверен, что это может быть интересно для Вас, ибо "я для вас человек уже "исторический", могу быть интересен разве только с этой точки зрения или с точки зрения искусства". Почти в то же время я получил от А. А. Гузовского, старшего советника русского посольства в Париже, извещение, что г. Посол желает со мной познакомить-

ся, и за мной был прислан из Посольства автомобиль с господином, уже лично передавшим мне это приглашение, и я поехал в 5 ч. дня и познакомился с г. Послом, вел с ним в течение полчаса совершенно не политическую беседу — только светскую — и откланялся, после чего заболел уже основательно, слег — и все имел слухи, будто я потому был в Посольстве, что собираюсь в Россию...

Вот, кажется, все, что я считаю долгом сообщить Вам. Что еще? Жить, конечно, очень тяжело особенно будучи больным — усиленно топим печечкой столовую, а в прочих комнатах собачий холод, — если переживу эту зиму, ни за что в мире не решусь на еще одну зиму в Париже, где чуть не все поголовно больны гриппом каждый год три-четыре раза за зиму.

Послал Вам дней десять тому назад рассказ "Месье"; если понадобится еще — *немедля* известите, памятуя, что книга у Зелюка выйдет, вероятно, в марте, в апреле. Как быть *теперь* (когда у нас позавчера прошел закон, установивший цену доллара в 119½ франков) с тем, что есть у Вас для меня, не знаю — *судите сами, Вам виднее*. Вы писали про то, что для меня собрано, — это во-первых, — во-вторых о 7500 фр. от "Нового Журнала" и о 30 долларах от С[офии] Ю[льевны] Прегель; какое отношение имеют ко всему этому те 30 тысяч фр., о которых пишу Вам в этом письме выше? И что, *по Вашему*, дальше делать?

Нынче письмо от Долгополова — есть посылка для меня (очевидно, одиннадцати фунтов — "приезжайте с большим мешком"). От кого это?

Итак, Вы получили наконец визу во Францию: как горячо буду рад обнять Вас обоих, если доживу до этого!

Мой французск[ий] издатель — новый — "Le Pavois". Книга выйдет, верно, не скоро — переводчик, некто Priel, живет где-то в Бретани, старик, копун, переводит медленно, плохо...

В Стокгольм писал давным давно, — между прочим и на имя Anders Österling;

Обнимаю Вас, дорогие мои. Ваш Ив. Бунин

P. S. Сейчас пришел один господин: "М[арк] В[ениаминович] Вишняк, кажется, весьма вами, И. А., недоволен". Вам так легко судить из "прекрасного далека"!

Р. Р. S. Книга у Зелюка выйдет по "новой орфографии" — я и этим болен!

Получаете ли Вы "Рус[ские] Новости"?

1. Не ясно, на какой журнал Бунин ссылается.

2. Эльза Триоле (1896-1970), жена Луи Арагона.

РАЗГОВОРЫ С Б. К. ЗАЙЦЕВЫМ

Зиму 1970-71-го года мне довелось прожить в Париже. Я проводил там свой отпускной год, читал последнюю корректуру готовившейся к печати монографии о Бунине на английском языке, и мне, понятно, было ценно каждое сведение людей, знавших Ивана Алексеевича. Таким образом я познакомился с рядом русских парижан, которые хорошо знали нашего первого русского лауреата Нобелевской премии (1933). Имена их известны в русском литературном зарубежье: В. В. Вейдле, Л. Ф. Зуров, С. П. Жаба, Г. В. Адамович, Б. К. Зайцев и другие.

С Борисом Константиновичем знакомство произошло как-то особенно быстро, просто, естественно. Мы с женой сдружились с его дочерью Наталией и зятем Андреем Соллогубами, у которых жил Б. К., и стали вскоре бывальцами на снимаемой ими вилле в 16-ом аррондисмане, возле остановки метро на авеню Мошарт. Свободного времени у меня была уйма и я рад был малейшему предлогу, чтобы забежать в их гостеприимный дом и вдохнуть старое московское радушие, ну и, разумеется, поговорить о том о сем с Б. К. Мои посещения стали со временем довольно часты и я провел не один вечер наедине с Б. К. в его уютном кабинете на втором этаже, беседуя о прошлых временах (для меня уже совсем легендарных), о собраниях на Телешовских "средах" в Москве, о писателях гремевших когда-то по всей России, с которыми общался Б. К., о революции, эмиграции, о жизни в русском Париже. Н. и А. Соллогубы, уходя куда-нибудь из дома просили меня посмотреть "за папой", а я был безгранично рад этому амплуа "baby sitter" при Б. К.

Кабинет Б. К. был олицетворением порядка. На большом,

начищенном до блеска, письменном столе ни пылинки, ни одной ненужной вещи, только стопка писем для ответа и несколько новейших книг для прочтения. Вдоль стен книги, сплошные книги, о которых Б. К. отзывался с такой любовью: "Живя среди катастроф, в приближении Вечности, не перестаешь любить разные милые вещи — книги, например. Смотрю на полки книжные, знаю, что недолго уже видеть их, и все-же, если была бы возможность, именно книги бы покупал, всю комнату заставил бы".

Внешний облик хозяина вполне гармонировал с видом кабинета. Всегда в отглаженном костюме, при галстуке, подтянутый, на вид гораздо моложе своих лет (ему тогда уже перевалило за девяносто), с очаровательной улыбкой, живым умом и отличной памятью, Б. К. имел в себе какую-то притягательную силу. Его тянуло к людям и люди тянулись к нему. Я как-то спросил у Б. К. разрешения записать одну из наших бесед на магнитофонную ленту. Мой шестнадцатилетний сын Миша притащил нужную аппаратуру, так как я в механических делах совсем швах, и вот и сегодня у меня звучит бодрый, совсем еще крепкий голос Б. К. Содержанием нашей беседы 21-го июня 1971 года я и хочу поделиться с читателями "Н. Ж.". Она была не подготовленной и передается с записи в "сыром" виде.

С. К. Существует мнение, в особенности среди советских литературоведов, что писатель, оторванный от родной почвы, становится или совсем бесплодным, или талант его скудеет. Что вы думаете об этом по собственному опыту и по наблюдениям за творчеством собратьев по перу, русских писателей-эмигрантов?

Б. К. Для того, чтобы ответить на этот не совсем легкий вопрос, вот вспомним литературную судьбу Бунина до эмиграции и после. Он некоторые вещи писал очень высокого качества до эмиграции, как например, «Господин из Сан Франциско», но и в эмиграции он не понизил своего уровня, а скорей даже повысил его, как в рассказах, например, «Солнечный удар», «Митина любовь», и большой вещью «Жизнь Арсеньева». Тут дело как будто в том состоит, что трудность нахождения в эмиграции конечно есть; она состоит в том, что человек всё-таки не в своей стране и не питается впечатлениями своей родной земли, в кото-

рой родился, вырос, но с другой стороны он становится более зрелым, так что с внутренней стороны вполне законно, что он дает как раз более зрелые, более совершенные вещи. Если же его рассматривать только как какого-то изобразителя общественных явлений, там, я не знаю, нравов и всего подобного, то, конечно, если он оторван от России, то в этой области он не может добиться успеха. Но для меня лично, как раз более дорого в писателе проявление его собственного внутреннего мира и этот внутренний мир в изгнании как раз сильнее выступает, может быть в связи с известной всё-таки горечью положения, затем вообще большей зрелостью и человека и художника, так что это палка о двух концах. С одной стороны в эмиграции труднее писателю, а с другой легче, то есть, результаты более плодотворны.

С. К. Какой период в вашем творческом пути вы считаете наиболее плодотворным?

Б. К. Разумеете ли вы просто хронологию?

С. К. Я разумею этот вопрос в связи с первым вопросом. Считаете ли вы, что вы были более плодотворны как писатель еще в России или за рубежом, во Франции?

Б. К. Знаете мне трудно ответить на этот вопрос о плодотворности. Черт его знает, может все это не было плодотворным ни там ни тут [смех]! Нет, я думаю, что конечно более... опять то же самое... более зрелые вещи были написаны во второй половине жизни. А это связано с эмиграцией. Да, да, с эмиграцией. Вот последняя вещь, которая еще вся вышла из прежней России, это «Голубая звезда», из более или менее больших моих вещей, но всё-таки, хотя она напечатана была в России, но написана уже как бы внутренним эмигрантом. Она напечатана была в сборнике «Слово», которое не было коммунистическим, но все таки оно издавалось в коммунистической стране. А затем то, что я написал здесь, в эмиграции, не всё, но некоторые вещи более зрелые и более совершенные по содержанию и по форме.

С. К. Среди вашего литературного наследия имеются разные виды словесного искусства: короткие и длинные рассказы, пьесы, романы, романизированные биографии, переводы. В порядке предпочтения — какой из этих жанров наиболее отвечает вашему писательскому дарованию?

Б. К. Я думаю, что тут ответ довольно простой. Некоторые роды литературного писания просто отпадают. Я занимался ими просто по недоразумению, например, драматургией. Конечно я никакой не драматург, но я всё-таки пробовал в этом направлении — ничего не вышло. Я тоже не считаю себя романистом, мне кажется, что главное мое занятие это небольшой рассказ или повесть, стоящая на границе рассказа и романа. Ну, вот, например, «Голубая звезда» и последняя, «Река времен».

С. К. А, например, из более ранних «Золотой узор»?

Б. К. «Золотой узор» не очень ранний. Он относится к 1924-1926 годам. Но это роман. Роман, который я не считаю особенно удачным. Но я написал его с некоторым азартом, да. Но всё-таки я себя романистом не считаю.

С. К. Мне кажется, что у каждого писателя должно быть свое любимое детище. Можете ли вы назвать, что из написанного вами вам больше всего по душе?

Б. К. Да, могу, конечно, приблизительно. И это будет разделено на полосы, на эпохи, потому что много лет прошло, знаете, да, много лет... Из самой ранней полосы — там уж были совсем маленькие, небольшие рассказы, которые, однако, как-то мне очень дороги, меня как-то выражали довольно сильно. Ну, например, был у меня такой рассказ, «Миф» назывался. Да, еще «Волки», это в другом роде. У меня, когда я был молод, были две совершенно противоположные струи. «Волки» и «Миф» это совершенная противоположность. Один очень мрачный и страшный, а другой золотистый какой-то. И к более раннему такому и светлому принадлежит рассказ «Вечерний час», связанный с Италией. А относительно более позднего имеются некоторые недоразумения. Например, есть у меня повесть «Анна», которая имела некоторый успех в свое время и, если хотите, она написана довольно, так сказать, правильно. Но я не люблю эту вещь, не люблю просто. Она меня, собственно, мало выражает. Она как-то забралась ко мне со стороны. В смысле внешнем, в смысле, так сказать литературной техники или мастерства, что ли, она довольно удачна, но несмотря на это, я ее не люблю. А из более ранних вещей — «Путешествие Глеба» — есть у меня такая штука с сильным автобиографическим оттенком — мне вполне по душе. О «Путешествии Глеба» трудно говорить,

слишком вещь эта со мной связана и, может быть, постороннему человеку она вовсе неинтересна. Но вот, что для меня несомненно — это последняя моя вещь в России, после этого я уехал, «Голубая звезда». Это подводит какой-то итог прежней всей жизни, московской, литературно-артистического круга Москвы. В книге этой изображены разные фигуры того времени, в ней чувствуется, по-моему, общий поэтический тон. Это я считаю из более ранней полосы моего писания лучшей вещью. А во второй половине вот написано «Путешествие Глеба», затем в самое последнее время — у меня чувство, что я уже больше ничего не напишу — «Река времен». Это рассказ, именем которого названа книжка. А вот жанры биографические и агиографические — «Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам» — второстепенные вещи. Правда «Валаам» и «Афон» только частично можно назвать агиографическими, но имеют отношение к религии, тесно связаны с ней. Но это всё-таки на втором плане.

С. К. А как вы смотрите на ваши романизированные биографии о Жуковском, Тургеневе, Чехове?

Б. К. Я их считаю второстепенными, потому что много там есть все же пересказа, много вычитанного из книг, а не взято из плоти и крови своей.

С. К. Простите за школьную цитату из Пушкина, из монолога Пимена: "... Недаром многих лет / Свидетелем Господь меня поставил / И книжному искусству вразумил". В равной мере вы можете сказать это о себе. За пятьдесят лет жизни в эмиграции вы встречались, а иногда и дружили со многими русскими литераторами. Как вы расцениваете вклад русских зарубежных писателей в русскую литературу? Бунина, Алданова, Мережковского, Ремизова, Куприна?

Б. К. Ну, видите ли, у меня всегда было такое впечатление, что первое место в русской современной литературе занимает Бунин. Правда, теперь уже всё несовременное, потому что все уже померли [смеется]. Да, насчет Мережковского. Я всегда считал, что это писатель выдающийся, но совсем из другой области, не чисто такой беллетристической, а такой мистико-философской. И вообще он фигура чрезвычайно своеобразная, которой нет параллели. Я не вижу такого писателя не только в русской литературе, но и в западной, европейской, ни по облику,

ни по силе таланта. Насчет Алданова вот я недавно в книге «Грасский дневник» Галины Кузнецовой читал, как выразился о нем Мережковский. И я почти так же думаю, почти так же. Он говорит, что если бы Алданов был исключительно журналистом, то он был бы первоклассным журналистом. Да, да, да — просто европейского, так сказать, мирового класса. А романы Алданова он не ставит высоко. Кстати это можно сказать и о самом Мережковском. Оба они, конечно, не журналисты, а скорее мистические философы. Но у Алданова всё-таки есть и в беллетристической области вещи выдающиеся.

С. К. А как вы объясняете сравнительно небольшую продуктивность творчества Куприна? Не отрывом ли, именно, от родной почвы?

Б. К. Не думаю, нет. Нет. Он просто начал увядать тут. Увядать и, не знаю, говорить может неудобно, он же пил очень много, чем он, конечно, разрушал себя с одной стороны. А с другой стороны, он был мало культурный человек, это тоже очень отзывалось. Такая, знаете ли, провинция. И среди его почитателей главная была масса русских провинциальных людей. Не только для книжного Мережковского, но даже для Бунина, которого тоже нельзя было назвать носителем высокой культуры, Куприн был провинциалом, хотя, например, для Блока или Андрея Белого вероятно сам Бунин был провинция.

С. К. В «Воспоминаниях» Бунин весьма резко судил о многих писателях-современниках. А вот несмотря на это он довольно беспристрастно отзывался о Куприне.

Б. К. Видите ли, Куприн некоторое время был, так сказать, приятелем Бунина, литературным и жизненным. Они в Одессе вместе по разным кабачкам ходили и затем у них есть общее. С Мережковским у Бунина ничего общего нет, а с Куприным есть. Вот любовь к жизни, к природе, к зверям, к звездам. В них было звериное начало, в обоих, чего в Мережковском уж и в помине нет. В вопросах высших, духовных и философских, Бунин был выше Куприна. Куприна это совсем не интересовало, никакого не занимало места в душе.

С. К. А вот говорят о Ремизове, что он занимает особое место в русской литературе по своему стилю, оригинальности. Иногда сравнивают его с Лесковым, отчасти даже с Гоголем.

Как вы смотрите на его творчество?

Б. К. Насчет Ремизова? Я считаю Ремизова вообще своеобразным писателем, так сказать, особенным, но у него есть одна, для меня по крайней мере, тяжелая черта. Его "à la longue" читать трудно, очень скучно. Вы можете две-три страницы его прочесть и скажете: да, это действительно какой-то вообще феномен, особый. А попробуйте прочесть его длинную штуку? Хотя у него есть отличная вещь одна, она называется, такая автобиографическая, да, вспомнил, «Взвихренная Русь».

С. К. Теперь, с вашего разрешения, перейдем к животрепещущему, современному вопросу. Долгое время литература на нашей родине была больна, анемична, а временами и совсем мертва. Но вот в последнее время наблюдается светлый луч в темном царстве. Прогремел «Доктор Живаго», заговорили вновь об Ахматовой, вышли за границу «Воспоминания» Н. Мандельштам, «Все течет...» Василия Гроссмана, звучит из опалы голос Александра Исаевича Солженицына. Видите ли вы в этих явлениях признаки возрождения русской литературы?

Б. К. Слово "возрождение" может быть не совсем точное тут. Мне кажется, окончательно русская литература не умирала вообще. В ней, конечно, было много такого наносного, связанного со страшными и грозными, патетическими событиями, но всё-таки какая-то струйка живой, настоящей литературы всегда была и она выражалась у того же Пастернака, у Ахматовой, открыто, конечно, но была. Была и надо надеяться, что в дальнейшем она будет развиваться. По крайней мере этого так хочется и поэтому так думаешь. Вообще-то человека вечно держать в наморднике каком-то невозможно. Придет такой момент, когда надоест эта вечная жандармерия над человеком. Даровитых, талантливых людей в России достаточно и если им немножко позволят что-то говорить, так они и скажут. Но, конечно, предугадать все очень трудно; не берусь. Вообще я считаю, что дело России вовсе не потеряно, не погублено. Я уверен, что всё-таки пробьется что-то со временем, но про себя скажу, что ничего этого не увижу. Это всё длительная история, но дело идет к развязке. Так выходит, что вернуться к прошлому невозможно ни в какой степени, ни в политической, ни в экономической, ни в культурной. Но получится что-то новое,

чего мы сейчас, мне кажется, не можем предугадать и определить. Получится ни то, ни сё. Не будет большевицкого намордника, но не будет ни золотого, ни даже серебряного века русской литературы.

С. К. Заслуженно ли была присуждена Пастернаку Нобелевская премия? Ведь это второй человек из русских писателей после Бунина, получивший эту высокую награду.

Б. К. Да вполне заслуженно. За «Доктора Живаго». В это время я находился в переписке с Пастернаком, у меня хранятся его письма. Очень характерно, что он совершенно отрекся даже от своих прежних писаний в пользу романа и в пользу другого направления. Он ведь писал раньше стихи и некоторые прозаические вещи совсем иного характера, в особенности стихи. И действительно его стихи в самом «Докторе Живаго» совсем другие и меня как раз эти стихи больше трогают. И он сам так на это смотрел. Я не знаю, читали ли шведские академики его стихи, понимают ли они по-русски и могут ли они оценить русское стихотворство. Во всяком случае всё это очень замечательно: и проза и стихи.

С. К. Я не думаю, что в Шведской Академии приняли во внимание поэзию Пастернака. Мне известно, что Нобелевская премия Бунину была присуждена за его прозу.

Б. К. Прозу, конечно. Но у Бунина дело другое. Видите ли, стихи Бунина находятся под большим сомнением у очень многих, но не у меня. Я Бунина стихи тоже ценю, но, повторяю, это все совсем иное, чем у Бунина.

С. К. Теперь, разрешите задать вам последний вопрос. Как вы относитесь к творчеству Александра Исаевича Солженицына?

Б. К. У меня есть даже статейка о нем, небольшая, ничего особенного не представляющая для меня. Там выражено мое к нему отношение. Оно приблизительно состоит в том, что я высоко ценю его писания — не все, по разному. Иногда в мелких, небольших рассказах он даже выше становится, чем в таких длинных повествованиях, как «Раковый корпус» и «В круге первом». В последнем есть длинноты и некоторые промахи. Его только что вышедшая книга «Август четырнадцатого» у меня есть, но я ее еще не читал, чуть-чуть только просмотрел.

С. К. А я уже кончил ее читать.

Б. К. Ах, вы прочли уже? Тогда я буду вас спрашивать.

С. К. Нет. Я воздержусь от каких-либо комментариев, потому что эта книга еще не кончена, это только первая часть, и очень трудно судить о неоконченной вещи.

Б. К. Но всё-таки характер, дух можно определить?

С. К. Отчасти можно. Можно определить, угадать, узнать авторское лицо Солженицына. Оно такое же, каким он проявил себя в предыдущих крупных вещах. Но опять я позволю себе обратиться к вам. Мне интересно, как вы, представитель старшего поколения литературы Серебряного века, относитесь к языку Солженицына? Некоторые критикуют его за употребление устарелых слов, за сложный синтаксис и т. д. Я как-то недавно читал статью видного русского критика, который даже возмущался языком Солженицына. Не шокируют ли вас его некоторые необычные для русского уха слова и выражения?

Б. К. У меня чувство такое, что он мог бы обойтись и без этого. Да... Не скажу, чтобы они меня раздражали, но некоторые мне все же не нравятся. Вот, как я говорил уже, я просмотрел «Август четырнадцатого». В самом начале я нашел слово "невыподым" — это странно звучит. Ни к чему это, ни к чему... И в других местах встречались слова выдуманные и не знаю для чего ему это, где можно другим обыкновенным русским словом то же самое определить.

С. К. Как вам кажется: носит творчество Солженицына больше гражданский характер или на первом месте мы должны видеть в нем и ценить художника?

Б. К. Вы о душе? Я думаю, что в Солженицыне есть и то и другое, но если бы были только гражданские мотивы, то, конечно, для меня Солженицын был бы совсем не важен. Я всегда чувствую за его писаниями глубокую и такую серьезную и хорошую душу человека. Да.

*

В одном месте нашу беседу прервал телефонный звонок. Звонили из префектуры полиции. Вот короткий разговор Б. К. с полицейским чиновником — разговор, который нельзя не вспом-

нить без улыбки, который так чудесно отразил незлобивый умор Б. К.

Б. К. Вам кого? Месье Эжен Замятин? Говорить с ним? Нет, совершенно невозможно... Impossible...

Чиновник. Mais pourquoi?

Б. К. Месье Замятин умер в 1937 году. Ему ни документов, ни прописки больше не нужно.

На другой стороне магнитофонной ленты Б. К. читает свой рассказ «Авраамий». Непередаваемое и вместе с тем странное чувство слышать его мерный, спокойный голос, чистую московскую речь.

В начале сентября мы улетали в Америку. Был очаровательный осенний день. Прощались в садике покрытом гравием. Банальные слова, суматоха, восклицания, надежды на скорую встречу...

Весной 1975 года мы были проездом в Париже, но Б. К. уже не застали в живых. Постояли только у земляного холмика на кладбище Сен-Женевьев-де Буа под Парижем, перекрестились и ушли. Ушли, унося с собой до конца жизни светлые воспоминания о человеке до мозга костей русском — принципиальном, честном, неподкупном. И о писателе, сказавшем о себе в конце своих земных дней: "Не вечно же тут жить. Не будет и меня. Жизнь идет — «жили-были». Не нами литература началась, не нами кончится. Все хорошо, все в порядке".

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий



SERGE
IVANOFF
1960
Paris.

Б. К. ЗАЙЦЕВ

Портрет работы худ. Сергея Иванова

ПИСЬМА Б. ЗАЙЦЕВА И. и В. БУНИНЫМ

(ПУБЛИКАЦИЯ МИЛИЦЫ ГРИН)

20 июня 1939

Дорогой дядечка, давно собираюсь тебе написать — соскучился по тебе — да знаешь мой быстрый характер. А тут еще вечер, занявший недели 2-3 времени ("все для войны"). Так что и за "Глеба" только сегодня опять принялся¹.

Смерть бедного Масло² всех нас тут взволновала. Знали, что тяжело болен, все-таки такого "мгновенного" конца не ждали. Слава Богу, он ушел не в злобе, очень помягчел, вообще сдвинулся. Подарил нам с Верой "Некрополь" — "Зайцевым с любовью и благодарностью": каково? Кстати сказать: и в книжке много смягчилось, а о Горьком, по-моему, написал почти апологетически. Я этот "Некрополь" "прочел с удовольствием". И представь, в среду 14 июня дочитывал последние страницы, вошла Вера, говорит: "Скончался". Он Вере раз, во время болезни, сказал нечто в том смысле, что уходит из него жизнь — не то, чтобы очень болезнь и страдания, а *вообще* ушло что-то (скажем — Витамин х., суммарный, который животворит все существо наше.) М. б., *это* начало уходить уже довольно давно, когда он перестал писать стихи. Он не *зря* оставил художество. Что-то кончилось в нем.

На похоронах все были, за искл[ючением] Шмелева и Муратова. В воскресенье на панихиде в ряд стояли три его жены — на левом фланге Марина — помнишь ее? Она теперь Маковская, мать 4-х детей. Говорят, старшая дочь красавица такая же, как и она была. Нина³ очень потрясена. Тоже в глубоком трауре, вид измученный, постарела сразу. Увезла к себе Олю в деревню

См. кн. 139, 140, 148.

после похорон — и в воскресенье после панихиды уехали туда же обе.

Могила почти видна из моего окна. Вообще это кладбище Thiers становится каким-то некрополем близких: Барановская, Шестов, Ходасевич — очень трудно и грозно подумать, что вот он там сейчас...

Ну, во всяком случае, "жизнь продолжается". После панихиды выбирали мисс Россию в "Илл. Р." — на 18, бульвар Фландрен, у Зурова. Снимали нас с Марко и Зуровым и с красавицей. Представляли ее нам — улыбается, но ни в зуб толкнуть, явно ни звука не читала, и понятия не имеет. "Мисс" очень хорошенькая, ваша, из Канн, фигурка такая, что Аполлонам, как мы с Марко, прямо и стоять рядом неловко ("убери живот!").

Планы летние скромны. В июле пригласили Ельяшевичи в Bussy. Думаю оттуда проехать по Бургундии (в Вензелэ, Бон, Дижон, что-нибудь в таком роде. Но не очень это прельщает). Или же в Авиньон и окрестности, на неск[олько] дней — но это гораздо дороже. В воскресенье вечером сидели с Марко у Fontaines, тебя вспоминали. Решили, что ты, наверно, среди лета или к осени соберешься сюда, что мы и приветствуем. Вспоминали и то, как ты поешь в Ницце. Как прошло все? Народу, наверно, было много, но удалось ли распространить дорогие билеты?

Наташенька сейчас в Риме. Представь, они попали на холода и дождь! В июне-то месяце. Spregiato, что уже все и кончилось.

Вера целует тебя и Верочку очень нежно, велела это передать. Я поступаю совершенно так же. А еще шлю привет всему дому — и самому Грассу, это для меня милые места.

Всегда твой Борис.

P; S: Тэффи, слава Богу, поправляется. В день смерти Х[одасевича] я был у нее, она перед моим приходом даже выходила немного на улицу. У ней сидела молодая дама, кот[орая] 1 ½ ч. рассказывала, как очарователен Милюков. Познакомилась с ним в мае в Aix-en-Provence и влюбилась. Дядечка, тебе еще 12 лет обольщать дам и девиц, minimum. Не уступай папаше. Нынче с базара Вера принесла известие, что Тэффи выезжает (или собирается) в Булонский лес на прогулку. Подай Господи.

P.P.S. Спасибо сердечное за доброе слово о вечере. Ехать на чтение, как всегда, было мерзко. А как вылез на народ, то уж и пошел чесать, тут некогда угрызаться.

1. Б. К. работал над продолжением книги "Путешествие Глеба" (Петрополис, 1937).

2. В. Ходасевич.

3. Н. Берберова.

Bussy-en-Othe
chez Eliachevich
(Yonne)

30 июля 1939

Дядечка, дорогой, пишу тебе из деревни. Две недели подряд дострачивал Глеба, теперь освободился и могу действовать. Ну что же, мы тут с 16-го числа, привозили милейшего нашего архимандрита (Киприана)¹. Он пробыл четыре дня, оставил в нижней комнате ладанный запах и уехал — так и называю теперь те две комнаты, где он жил (вторая маленькая): архимандричи покои. Нынче утром сам там занимался. Погода была мерзкая. Но дом очень большой, покойный; стены толстые — очень спокойно можно жить. 2-го авг[уста] В. Б. и Ф. О.² уезжают в Швейцарию на август. Мы будем одни — тут живет еще только дама с девочкой — М. Е. Сионская, это дружественная держава.

У меня есть такой план: съездить с Верой на неделю в Авиньон и окрестности (Les Vaux, St. Remy, Арль и т. п.). Но это, думаю, не раньше 16-го авг[уста] — боюсь жаров. Говорят, Авиньон самый жаркий город Франции. Может, вранье? Если не очень профершпилимся, возможно, съездим в автокаре в Aix. (Но это не наверно, и зависит, сколько возьмут за проезд). А вблизи Авиньона именно на автокарах и думаем поездить. Что если бы и ты собрался туда? Тоже на автокаре — прямо до Ав[иньона] — ведь это часа четыре от вас езды? (Помнится, Наташа из Ниццы выезжала в 7 ч. утра, и в полдень — Авиньон. По карте я прикинул: от Грасса 200 кил.). Прокатился бы, а там на острове Barthelasse, за рекой Роной пообедали бы на закате. — Жалко, конечно, что нет машины у меня. Я бы тебя там

пропёр по разным Château-renard'am, Cavaillon'am и пр. Винца бы хлопнули — хотя ты и нё любишь Château-neuf-du-Pape — а мы бы взяли Tavel, я его когда-то в Авиньоне пил. Вот, подумай. Мы с Верой очень бы рады были тебя повидать и пошататься с тобой. (К Петrarке в гости — обязательно).

Третий день здесь солнечно, прелесть. Жизнь деревенская вполне притыкинская, только богаче — и дом больше. Слава Богу, хорошо живем. Получил "Современные Записки". О покойном³ пишут чепуху и ложь ужасные — можно подумать, что был это святой старец Федор Кузьмич, А. С. Пушкин. Керенский в "Нов. Р." тоже вздор. Во всяком случае, Нина и Сирин отблагодарили за ту восхищенную чушь, какую он о них писал — "сторицею". Вообще меня эта кн. рассердила. ("Явление вальса"... где мы? В Кашире?).

Приедешь или нет, не ленись написать о себе, "как живет и работает", "планы будущего", и т. п. Обнимаю тебя, дорогой. И целую. Верочку тоже — передай ей непременно привет мой и Веры — и всему дому: дружба и поклон. Твой Борис.

Р. С. 28-го числа был чудный день — солнце, безоблачно. Ф. О. выставила мне бутылку Château-neuf, мы вспоминали, как ты с Верой был у нас в Пюжете 13 лет назад!

1. О. Киприан Керн.

2. В. Б. и Ф. О. Ельяшевичи.

3. Вл. Ходасевич.

2 окт. 1939

Дорогой мой дядя Ваня, очень рад был получить твою милую и ласковую открытку — сам я давно тебе не писал, одно время стеснялся писать закрытые письма и по-русски: но теперь, видимо, они доходят даже без особ[ых] опозданий, а потому и пишу — надеюсь, получишь нормально. Жаль, что ты не приехал тогда с Рогнедовым в Авиньон. Мы провели прелестный день (последний мирный) — ездили на Pont du Gard, были в Ниме, Арле. Очаровательно! В Арле к вечеру пошел дождь, мы уехали в Авиньон, а они в Марсель... — и началось!

Что будет дальше, не знаю. Пока можно так сказать: самые нервные дни были первые. Сейчас спокойнее. Может быть,

попривыкли к новой жизни, или начинаем привыкать. Настроение, разумеется, *не* легкое. Сильно похудели (с меня штаны прямо валятся). Но спим. Кормимся пока обычно. Видимо (по Островскому) "от думы человек худеет".

Наташенька и Андрей здесь. Он еще не зарегистрирован, это произойдет на-днях, а когда ему "идти" — и вовсе неизвестно. Может быть скоро, а то и неск[олько] месяцев просидит тут. Наташа очень крепится. На людях бодр и даже весела (плачет без публики). Много ходят в церковь. Я стал немного писать в "Возр[ождении]" — причина понятна, да и во многих отношениях это внутренне стало легче, там пишут совершенно то же, что и во всех франц. газетах. Первый мой фельетон уже появился. Думаю, буду помешать 1-2 раза в месяц (на круг вряд ли выйдет 2 раза. Я ведь пишу мало, ты знаешь.) Так, заметки о времени, войне — пока "Возр[ождение]" еще существует нельзя отлынивать. Галину и Маргу¹ видим довольно часто — были они у Веры на именинах. В четверг мы к ним идем. Они производят очень приятное впечатление и не паникеры. Моя Вера пока слава Богу. Плохо, что у нас нет теперь подъемника. Зимой, верно, придется заводить печку: топить не будут. Цо то бендзе! Надо запастись терпением. В пятницу приглашены завтракать к Марии Самойловне² в Севр на дачу. Ельяшевич сейчас здесь, но временно. Была у нас как-то Берберова, очень мило звала к себе во флигель жить. Если тут будет уж очень "громко", может быть и уедем. Не знаю. Я предпочел бы продержаться тут. Дорогую Верочку запоздало поздравляем оба с днем ангела. Открытку ее *очень* хорошую получили. Обнимаем тебя, дорогой друг, твой всегда Борис.

Р. S. Очень рад, что ты остался в Грассе. Это правильно.

1. Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун.

2. М. С. Цетлина.

2 ноября 1939

Дорогой мой Рыдалец, (дядечка), открытку твою получил, и

как тебя в ней почувствовал! Я по тебе так соскучился. То, что ты пишешь — в большой ли литературе, или на клочке бумаги (а по существу, это тоже большая литература) — всегда вызывает во мне какой-то звон. Может быть, это глупо сказано, но звенит, звучит, ты поймешь, одним словом. Вера нынче сказала: "Наверно, Иван скоро придет". Почему? Это ей так показалось. Но думаю, что не зря. У нее верный нюх.

Париж понемногу становится покойнее. Открываются театры, синема — правда, все до 11 ч. — И свету больше, и к темноте привыкаешь. Первое время тьма Парижа очень на нервы действовала. Теперь насобачились — ничего, "а мы без соли". Вчера видел Андрея впервые в военной форме — он приехал на 1 ½ дня в отпуск. Службой *очень доволен*. Говорит, что отношение лучше, чем в Barclay's Bank. Загорел, подсох, стал как-то крепче и больше мужчина, настроение хорошее. Его зачислили для поступления в офицерскую школу — через три месяца явно быть ему в Сен-Сире (но без хохлов над кэпи). Наташеньке дают место в банке (Barclay B.), вопрос теперь только в *carte de travail* (но обещали дать: она жена мобилизованного, это здесь нечто).

Приехали сюда на 2-3 дня Кульманы. Мы были у них. Н. К. ужасно тоскует в [неразб.] но Н. Ив. сюда нипочем не хочет ехать. Так что зиму проведут вместе с Бернацкими под Мантом (в 50 верстах от Парижа). Рыбу ловить негде, в бридж играть не с кем, впрочем, и здесь в Сорбонне все русские лекции остановились. Все-таки, здесь ему было бы вольготнее. Марко вижу редко. К Тэффи приехала дочь, они вместе живут сейчас в кв. Веры Рафаиловны. Но Валя со своими поляками (ясновельможными) уезжает в Angers — там будет "вся их Палестина и все жительство", как говорил один мужик в Москве своей бабе перед панорамой на Цветном бульваре "Палестина" (польск. художника — не то Костюшко, не то Ромейко-Гурко, не то Матюшко).

Читаю Мицкевича. "Крымские сонеты" прелестны — несмотря на перевод. Но в другом чуши масса, и вполне сумасшедший поляк. Напомнил мне Володю Высоцкого, Пшибышевского и К⁰. Нет, этим людям трудно существовать. Но претензии потрясающие. "Так, величайший из писателей-художников Станислав Трембицкий, принадлежит России и может быть причисленным к писателям эпохи Екатерины II. Жу-

ковский, напротив, по характеру своей поэзии, принадлежит к числу литовских поэтов". Какой-то клеп собачий Гошинский занимает место "между Державиным и Пушкиным". Вообще, у них был и Богдан Залесский, "величайший из славянских поэтов". Все было превосходно — и все это читалось на французском языке в *College de France*! Приводится и мнение "польских философов", что "Россия должна быть провинцией Польши". Все великолепно, так и вышло.

Дядечка, Вера уже спит, но ложась, велела тебя и твою Верочку поцеловать. Я присоединяюсь к этой деятельности. Привет также шлю Галине, и Марге, и Ляле.

Заносил недавно сербские деньги Шмудевичу.¹ Он уехал было в *St. Geneviève* к старикам, но вернулся. Сейчас здесь, на *Rue Voileau*. О Мережковских ни слуху ни духу. Вчера заехала к нам Нина Берберова — и расплакалась. Я дал ей валерьянки. Говорит, что война ее очень угнетает. Была очень мила. — Сегодня выяснилось, что она до нас была на могиле Ходасевича. Это почти рядом с нами, так что не одна тут война. Говорила о тебе очень нежно (она вообще тебя любит, я это давно знаю).

Очень меня тронули твои слова о моем писании. Господь тебя храни. Не впадай во мрак. Держи грудь колесом. Не мудрствуй, не старайся объять необъятного, понять то, чего никому из нас понять не дано. Разверни Евангелие, читай и плачь.

Обнимаю тебя братски. Твой Борис.

P. S. На похоронах Ньюшеньки² (спроси Верочку, она объяснит тебе, кто это) видел "напевного брата, пред которым все поэты предтечи". Н. лежала в открытом гробу прекрасная и живая — хотя и безмерно ушедшая от нас. Мертвый человек назывался Бальмонт. "Как Вы живете, Бальмонт?" "Борис, всякий глоток жидкости вызывает во мне страдание". (Водобоязнь — последствие сумасшествия). Он тих, мучителен, глубоко жалок. Вот тебе и "Будем как Солнце!" Все оказалось ложью и чушью, как у всех Пшибышевских. Длинная полубелая борода, седоватые клочковатости на голове, и т. д. — Мира сидит в тюрьме за безмерно просроченные документы. ("Моя

дщерь в заточении” — слова Елены, белой пены. Вся бутафория осталась).

1. И. С. Шмелев.

2. Анна Ник. Иванова, близкий друг Бальмонта.

10.XI.1939

Дорогой друг (и дядечка), у Зеелера был. Зеелер похудел так, что жутко смотреть. Говорит, что закалывает штаны на животе, загибая чуть не на поларшина. Потерял 15 кило. — Сказал мне, что все для тебя нужное уже отправил.

Последние три дня немцы все лезут к нам: какие-то разведочные аппараты. Во вторник вечером у нас сидел Рогнедов — принес бутылку Château-neuf-du-Pape, мы его мирно распи-вали, а в это время зенитная артиллерия ахала под Парижем. Теперь устроено так, что сирену пустят только при непосредственной угрозе Парижу. Доживем, разумеется, и до этого, а пока — очень разумно — по пустякам нас не беспокоят. Правда, мы стрельбы во вторник вечером не слышали, а у Нади и Ляли стекла в окнах вздрагивали.

Нынче ночью я проснулся часа в 3 ½ — 4. Было очень тихо. Слегка побуркивало в животе, а потом я различил еще знакомые (по первым алертам) звуки: очень дальнее буханье орудий. Встал, отворил окно. Тепло, тьма, Парижа нет, но верст за 50-60 кто-то по ком-то бухает. Сирены, слава Богу, не было. Веры я не будил, да и сам бы не услышал, если бы спал. Но потом лег и заснул отлично. Сегодня ходил встречать Наташеньку в Банк (6 ч. веч.). Она работает во всю. Послезавтра едет к Андрею. Сколько в ней молодости и энергии! Чтобы достать себе *carte de travail* (спешно), ей пришлось на той неделе в один день побывать в пяти местах прежнего своего жительства, получить удостоверение от консьержек, побывать в пяти комиссариатах, чтобы там засвидетельствовали, и к 5 ч. дня опять быть в Министерстве Труда со всей этой херовиной. Мне на такую операцию понадобилось бы недели две. Для воскресенья у ней нет *Sauf Conduit* на проезд к Андрею. Но она едет. Чувствует

себя во Франции как дома. Я бы ни за что не поехал в этих условиях. А она, твердо верю, доедет (говорит, что все "жены" так же ездят).

Видел Рощина. Зеелер худеет, этот толстеет. Совершенно мощный. Велел тебе всячески кланяться, что и исполняю охотно.

Обнимаю тебя и целую. Вера также. Передай своей Верочке мой привет сердечный и завет: пусть непременно продолжает "Беседы с памятью"¹. Твой всегда Борис.

Р. С. Я не знал, что она так хорошо и близко знакома с М. Сабашниковой (или забыл).

1. В. Н. Бунина работала над своими воспоминаниями.

11.IX.1939. Утром

Кончил тебе письмо, лег спать — в 4 ч. 45 м. сирена. В пять весь дом "встретился" в подвале. Продолжалось это час. Теперь сильно стали привыкать, и даже та чешка, с которой при первом алерте сделалась истерика, теперь была тиха (хотя и зелена). Вера молодцом. Вернувшись, мы все-таки заснули, особенно я. (Вера плохо спала). Бедная моя сестра Надя плохо переносит такие ночные путешествия. Какая она слабенькая и как вся дрожит!

Газету нам подают около шести утра, кладут в подъезд, рядом с "абри". Там я и вычитал, что Нобелевскую премию получил, наконец, финский старик, так долго сердившийся, что ему не дают. (Наверно, борода у него из-под подбородка и он говорит: "рицать копёк" — финны не произносят буквы "т").

Так. Значит, пожелай нам "спокойной ночи", или — покойных ночей. Пришла с рынка Вера. Говорит, что настроение "задумчивое". Веселиться, разумеется, не приходится. (Впрочем, канонады как раз и не было слышно — очевидно, остановили очень далеко).

9.XII.1939

Дорогая Верочка, нынче утром твое письмо. Съездил тотчас к Великану¹. Застал его за домашними работами ("Володя!

Труси! Труси сильнее!" — это Варвара Михайловна). Великан философически выслушал мою взволнованную речь, вынул бумажник, долго рылся там во всякой дряни, наконец, сказал: "Все сделано. Вот! Лоллий² получил полное удостоверение для В. Н. 2-го дек. 1939 г." — "Да может, ему не на что отправить письмо?" — "Я дал ему на марку".

Верочка, думаю, что ты уже все получила. Но на всякий случай Лоллию написал. (Имей при этом в виду, что теперь письма к Вам идут долго — твой экспр. путешествовал 3 суток).

Очень бы хорошо, если бы удалось тебе съездить сюда. Здесь жизнь медленно, но неуклонно выравнивается. Настроение совсем не то, что 3 мес. назад. Но все же, очень грустное. — Мы с Верой особенно тяжело переживаем Финляндию. Подымай, и Нина, и разные наши тамошние друзья, и Валаам... все как 20 лет назад в России! Пожалуй, и угадал я, прощаясь на последних страницах "Валаама" с обликом Родины.

Вера нежно тебя целует, я также. Она скоро тебе напишет. Попелуй от меня Дядечку. Я вот-вот ему также напишу, и, как всегда, люблю Вас обоих. Варвары идут! Мы — "последние римляне". Все равно, мы ничего никому не уступим и умрем со своими святынями. Борис. Завтра у Марии Самойл. встреча с польск. писателями.

1. В. Ф. Зеелер.

2. Л. Львов.

29.XII.1939

С Новым годом, дорогой мой Иван, очень перед тобой виноват, что не сразу поблагодарил за очаровательное письмо, за Тургенева, который очень мне понравился — хотя он порядочно "англизирован". (Кстати: "Дым", конечно, слаб, особенно начало?) Тургеневу сатира совсем не удавалась. Он по настоящему писал лишь то, что любил. Но не есть ли это и вообще закон искусства? Ведь даже уроды "Мертвых Душ" Гоголю как-то *нравились* (художнически). Он писал их возбужденно и радостно.

Вчера был у нас архим. Киприан, говорили о тебе. Я дал ему

довольно давно "Поздний час". Ему очень понравилось. А вчера он рассказывал, что читал это двум православным девицам — "сначала они вязали что-то солдатам, а потом бросили вязанье, слушали, разиня рот"... А еще он хорошо рассказывал про Синай. Там монастырь св. Екатерины! Ты ведь видел Синай? Я ему это сказал — и тебе позавидовал. Мне очень хочется побывать в Палестине и в тех краях — мало уже остается времени жить, да все еще эти мировые напасти идут — конца края им нет.

Письмо наше насчет Финляндии значение, по-моему, имеет малое, все-же подписать его надо. Все и подписали — за исключением Шмулевича. Этот не то обиделся, не то рассердился, не понимаю. У него был Марко Богатый и ушел ни с чем. Из Америки (третьего дня) ответов еще не было.

Оплакиваю Валаам. Сегодня вышел мой очерк о нем ("Дни", № 4). Вроде надгробного слова. Да — "заметают быстро вьюга все, что в жизни я любил" — какое зрелище развертывает перед нами хам? А? Вся почти наша зрелая жизнь — этот миленький пейзаж. Новый Год приглашены встречать к Марье Самойловне в Севр, но условие — обратная доставка. Подтверждения пока нет, так что, пожалуй, и не выйдет ничего.

Вера с неделю прохворала — грипп: она очень ему подвержена. Сейчас уже оправилась. Наташенька работает в Банке. Устает здорово! (Я ведь терпеть не могу "честной трудовой деятельности", не барское это занятие. Но Наташе этого сказать, разумеется, не могу). Андрея переводят в Vincennes (здесь в Париже), в офицерскую школу. Через 6-7 мес. он будет французским офицером... а дальше что? И что вообще будет летом со мной, тобой, Францией, Европой? Никто ничего не знает. Марко уверен, что вообще всё и вся погибнет. Я этого не думаю, но хорошего жду мало.

Дядечка, неужели ты не приедешь сюда? Я по тебе очень соскучился. Если теперь не выберешься — весной и летом будет труднее, "жарче!" Как бы то ни было, пока что обнимаю тебя дружески и целую. Верочку тоже, и Галине, Марге, Ляле — всем приветы и новогодние пожелания. Твой Борис. Вера целует также, разумеется.

17.1.1940

Четырнадцать градусов, дорогой Иван, — Sotto Zero! Топлю печку, сколько могу, в моей комнате терпимо, у Веры холодно, а в кухне — Петсамо (Печенга). По случаю холодов тяну понемногу ром. Но неужели можно еще драться там, когда вдвое холоднее? Приехали знакомые из Финляндии. Те края, где мы проводили лето 1935 — пустыня. Жители давно уведены, дома сожжены уходившими финнами — значит, от нашего пансиона, и от виллы Нины — одни фундаменты.

Нынче подали письмо с Валаама, от 14 дек. — первый день бомбардировки. Пишет знакомый молодой послушник привожу целиком: "Дорогие и милые Вера Алексеевна и Борис Константинович, усердно просим вас обоих помолиться Господу, да спасет и сохранит Он Страну нашу, Обитель нашу и всех нас. Пожалуйста, передайте просьбу эту и Н. М. и И. К. Денисовым и все другим, кто нас знает и помнит и кому дорога Обитель наша. Простите. Спасибо за все. Да хранит вас обоих Господь!" Молюсь-то я о них и так постоянно — а тут взревнул, должен сознаться. Ведь подумай, это только *первый день* — (а по газетам — бомбардировали неделю, как только позволяла погода). Да жив ли еще этот Ник. Андреич, плававший на их пароходе "Сергий"? Бог знает.

Читаешь-ли в "Возрождении" "Наши мальчики"? Подписано "Старый француз", а похоже на Рошина. Эпиграф взят "от Иоанна" — нигде у Иоанна этого текста нет: вполне похоже на Рошина. Оказывается, однако, что есть под Амьеном такой француз со знаменитой фамилией Прюнье (очень долго жил в России), который о русских солдатах во Франции и пишет. Тхоржевский мне третьего дня рассказывал в редакции, что не только француз существует, но так как о русских пишет любовно, то русачки тотчас сообразили: в редакции все спрашивают его адрес, и не скрывают, что из старого француза хотят вытряхнуть сколько-нибудь франчиков! Вот он, богоносец-то. Но нельзя отказать нашему народу в даровитости, ты сам знаешь: например, назвали министра Хор-Белишу — Хор-Ебелиша, это очень мило.

Вера просит тебе передать, что ты для нее всегда "внучек Ванюша", а она тебе "бабуса", а это она тебе написала только из

вежливости. Она тебя очень любит, так же, как я. Милый Ебелиша, обнимаю тебя, целуй Верочку, привет Галине, Марге, Ляле. Твой "старушек" Б.

Р. С. Казанова-Рогнедов угощал нас недавно обедом в "Праге" — представь, такой здесь ресторанчик. Но до *нашей* далеко. Казанова влюбился в одну высоченную и очень милую вдову, с которой я и чокался в этой фантастически-крохотной "Праге" близ Дарю.

21.II.1940

Дорогая Верочка, спасибо тебе большое за память, за доброе отношение. Мне очень приятно было получить твое письмо. У меня за последнее время все более острое чувство того, как мало осталось нас, душевно и духовно близких людей — ведь горсточка! — и разлука недалека, и хотелось бы, чтобы последние годы прошли в любви — или, по крайности, в добром расположении.

Вчера обедали мы с Верой у Ельяшевич. Были о. Киприан и Мочульский, много и хорошо вспоминали об Иване. Иван на предыдущем обеде был на 5+ — давно я его таким не видал, и очаровал о. Киприана. А вчера одно было грустно: у В. Б. в середине обеда начался припадок (спазмы его), и он должен был уйти к себе, так что мы даже не попрощались. Ф. О. тоже здоровьем неважна, у ней большой камень в желчном пузыре. Предполагалась операция, но пока откладывают. [...] Получили мы вести с севера такие 1) Маша, дочь Тани Полиектовой, переехала с детьми в Осло — очевидно, ее, как норвежскую подданную, выкурили из СССР — Яльмар, один из сыновей, уже жил (и учился) в Осло, теперь туда еще попали двое ее детей. Нина Кауше из Финляндии спаслась — находится в Стокгольме. От нее открытка: ждет *визу дальше*. Но куда? Не пишет. И никакого намека на возможность встречи с нами... — неизвестно, куда они с мужем собираются.

Представь, третьего дня свез Каплану в "Дом Кн." 2-й т. "Глеба". Дело еще не совсем решено, но обещает в мае выпустить 50 экз. мне с правом продажи, нумерованные. Если все так выйдет и доживем, то придется торговать ими, что-то

пытаться выручить — а то ведь зубы на полку! Сегодня у нас (после 2 ½ мес. перерыва) пустили горячую воду, Вера сидит в ванне и просит нежно тебя поцеловать, что и исполняю. И от себя целую. Ивана также. Галине, Марге, Ляле приветы. Господь Вас храни, дорогая Верочка, там на горке. Высоко! Твой Борис.

27.II.1940

Дорогой Иван, перед отъездом твоим не успел окончательно договориться с тобой насчет Гребенщикова, а между тем перспективы весны и лета более чем туманны ("в рассуждении чего покушать"). Может быть и неврдно начать в Америке "бить в набат?" Предпринимаешь ли ты или предпримешь что-либо в этом направлении? Мне пришло в голову и то, что, пожалуй, мне самому следует написать Г-ву. Но нет адреса его. Как ты смотришь? Если да, то пришли адрес — и я забыл его отчество — Дмитриевич? Вот-с. Вечер вчерашний оказался довольно тревожным: около 9 ч. на улице вопли *défense passive*: "Lumière, lumière!"; свистки, беготня. Выключено оказалось и радио: приближались немцы. Из моего окна очень красиво в небе была видна сеть златисто-серебряных лучей прожекторов — они образовывали какие-то географические фигуры: вершина многоугольника медленно передвигалась, как будто в ней был "зверь". Забухали орудия (недолго и не так много стреляли). Однако, сирен не пустили. Но настроение оказалось более даже нервным, чем при сиренах. В одиннадцатом часу мы улеглись, а в 4 ½ — сирены. На этот раз были гораздо спокойнее. Мы оделись, но в подвал не спускались, ждали канонады. Ее не было вовсе. В 5 ½ легли спать уже как следует. — Сегодня в газетах — что вечером к Парижу приближалась герм. эскадрилья, но была отогнана. А про ночную тревогу еще ничего нет. Нынче обедает у нас о. Киприан — будем тебя вспоминать, дорогой Иван. (Ты его совершенно покори).

Я перечитал теперь "Суходол". Очаровательно! По-моему, наиболее близкая из твоих вещей Тургеневу. "Деревня" мне дальше — как и раньше. Но про живопись говорить нечего, у тебя нет в этом соперников. Несмотря на глубокий мрак этой вещи, местами я помирал со смеху. Спросил Мочульского, знает

ли он, что такое транда — он "отговорился незнанием". А нет ли там и цензуры кое-где? "В городе за кабаком сучка *сеет* табаком" — не надо-ли *серит*? Но и так замечательно. — Дядечка, возьми себя за катышки, покатай их и напиши что-нибудь хорошее! Раскачайся. Теперь потеплело. — Обнимаю душевно, приветы, поцелуй. Борис.

16.IV.1940

Дорогой мой Иван, в воскресенье (14-го) разделался с "matinée", пишу тебе. Все прошло у Глафиры¹ благополучно. Дамы наши работали на совесть, я читал, потом был чай, мы с Марком Богатым и Казановой² хлопнули, разумеется, по коньяку. Была Наташенька с Андреем (в военной форме), разные дамы, барышни, иудеи мужеского пола. В глубине квартиры резались в бридж и еще какие-то игры.

Сбор, сказали мне, хорош, даже совсем неплох. В точности еще не знаю. Но по условию с Глафирой часть надо отдать Яблоновскому. Три-четыре монеты останется, по-видимому, мне. Последние дни занят был тем, чтобы не расхвораться: со среды кашлял, чихал во всю, так что и носу на улицу не показывал. Читал у Глафиры с небольшой т°, но после коньяку и перцовки у Ельяшевич все прошло.

Помнишь ты Кампанари? Елена, его жена, уже 2 года в санатории (туберкулез). Он, оставшись тут один, запутался, запил, завел француженку и растратил 30 тыс. чужих денег. Елена давно чувала, что дело плохо — наконец, приехала сюда, остановилась у нас (прожила 10 дней). Лев Дм. где-то "скрывался". А когда Вера с Еленой поехали на прежнюю квартиру Кампанари, которую пришлось взломать — вот там Л. Д. и оказался! Мертвый. Три недели тому назад открыл газ... К счастью, в самую квартиру их не пустила уже полиция — можешь себе представить, в каком виде был бедный Л. Д.! Страшная вещь. Эти 10 дней отхаживали, как умели, Елену. (Ты знаешь, когда Вера в запале любви и сострадания, ей удержу нет. Это ее жизненный талант). Теперь Елена уехала в горы, нынче первое письмо. Она сильная, Бог даст, выкрутится из болезни своей. Мы за это время устали, но у меня, в общем, осталось хорошее

ощущение — хотя это и может показаться тебе странным. (У Елены оказались верные друзья — и русские, и французы. Вокруг создалась атмосфера любви. Знаешь, что самое важное в жизни: *жить в любви*). Очевидно, заморились мы порядочно: в пятницу ночью просто *проспали* сильнейшую канонаду: было сбито два немецких разведочных аппарата, долетевших до Парижа. Я рад, что Вера не слыхала. На нее эта музыка действует нехорошо.

Вчера письмо от Верочки. Очень бы хорошо, если б она приехала! Да и вообще время идет: ведь я так понимаю, что к сентябрю все вы сюда переберетесь? Коли доживем, то рады будем. — Обнимаю и целую тебя и Веруна, привет дому. — Вера целует также. Твой всегда Борис.

1. Глафира Исааковна Добрая.

2. Рогнедов.

18.V.1940

Милый Иван, ты сам понимаешь, конечно, что сейчас нет никакого настроения идти в ресторан. А потому — если вы с Марком сами не передумали — то на меня не рассчитывайте.

Зайду на ближ[айших] днях. Всегда рад видеть тебя, обнимаю и люблю. Верочку целую дружески. Борис.

4.VI.1940

Дорогой мой Иван, милая Верочка, пишу вам "на другой день". Вчера все вышло довольно-таки особенно! Утром мы ездили в Кламар — причащались у о. Киприана. А потом расстались: я поехал на завтрак "Возрождения" (15 лет!), Вера осталась в Кламаре и далее отправилась по епархии. Отлично. Сели завтракать в "Киеве". Через 15 м. алерт. Наши генералы и полковники довольно спокойно слушали стрельбу, мы закусывали, ели кулебяку и т. п. — а там все лупят и лупят, все сильней. Только один генерал, по фамилии Суворов, сказал нерешительно: "А кажется, я слышал два разрыва бомбы". Так мы и дозавтракали с тем, что наше Д.С.А. est entrée en action, и немцы отогнаны. Возвращаюсь домой — только тут Вера рассказывает (довольно покойно), что в Vanves, куда зашла к Тэффи, попала в

настоящую бомбардировку. Видела и пылающие автомобили на улицах, и развороченные дома, и т. п. Отсиживалась у Тэффи. А сегодня утром из газет узнал, что было не "две бомбы", а тысяча. Но как быстро все это произошло! Канонада не более 15-ти минут.

Думаем о вас часто — только что письмо Верочки: а вспоминали и когда был рейд "в долине Роны". Но все это, конечно, еще только начало. (И у вас, и у нас). Что-то будет, трудно сказать. Надо терпеть. — Настроение, конечно, нервное. Но как-то все свыкаются с неизбежным. Из знакомых, как-будто, никто не убит и не ранен. Говорят, здорово пострадали дома на Voileau (рядом с Ремизовым), Exelmans, rue Poussin и т. п.

Читаю Библию. Очень поражен царем Давидом. Хочется написать о нем — вроде рисунка, "портрета" — не то слово, но другого сейчас не нахожу. А он меня волнует (поэтически). Может быть, завтра от комнаты моей останется одна пыль, да и от меня, от нашей малой жизни. Все равно, пока жив, хочется иной раз что-то сказать ("Я буду петь Господу, покуда жив, буду бряцать Богу моему, доколе есмь").

Обнимаю вас, мои дорогие, шлю привет душевный — когда и при каких обстоятельствах предстоит встретиться? Все воля Божия. Будем надеяться, что встретимся — и по хорошему. А все-таки, дядечка, я бы на вашем месте драпанул в По за Михайловым¹. Италия вот-вот... — невесело и у вас² будет. Ваш навсегда Борис. Домашним поклон.

P. S. Пришла Наташа. Ее приятели сидели в абгi. Вышли а квартира их вся разнесена. Ночевали в другом месте.

1. Д-р П. Михайлов, приятель Бунина.

2. Бунины во время войны жили на вилле "Жанетт" в Грассе.

22.VII.1940

Дорогие мои, вероятно, письмо Веры уже до Вас дошло, она подробно написала, основательней меня. Мы начинаем понемногу отходить — месяц относительного покоя¹. Питаемся

нормально. Но за время потрясений сильно похудели оба. Теперь чуть чуть пошло в горку. Наташа катает на велосипеде, загорела. Андрей нашелся и *не* пленный, она успокоилась. Мужья всех ее приятельниц молодых тоже отыскиались (и Виктор, муж Ляли, моей племянницы), за исключением одного: Станиславский, муж Марии Тверской (Верочка Тверских, по-моему, знает? Они живут на одной площадке с Наташей и эта "Манюся" очень переживала с Нат. все это тяжелое время ожиданий...) оказалось, муж убит: трое маленьких детей! Нынче на Дагу была панихида, самая раздирательная за все это время. Вдова, старики, дети — все на коленях всю службу. Масса народу. Какое горе! Наташа, конечно, тоже все с ними делит. Много русских получили отличия. Мой племянник (двоюродн.) Александр Зайцев — военный крест и произведен в офицеры. Жив ли, не знаю. Верочка, вот адрес Фаины [...] От Тэффи тоже письмо — очень грустное [...] Не с Вами ли Марко Богатый? Вряд ли остался он в Gironde, куда уехал отсюда.

В смысле продовольствия, цен здесь все довольно нормально. На улицах можно быть до 11 ч. вечера, приезжие ведут себя хорошо, никакого стеснения мы не чувствуем. На 7-е июля в Париже насчитали 1 миллион 50 тыс. чел. — 2 милл. ушло. Пустыня была! Теперь ежедневно прибывает народ. Что будем делать дальше и *чем* жить (т. е. какими пенёнсами), трудно себе представить. Пока дышим, благодаря апрельскому "утру", но известие из Амер.² было весьма целебно, дай Бог здоровья тебе, Верочка. Манны ждем! Шмулевич худенький, но ничего, Рем[изова] я не видел. Сербы отсюда уехали, вероятно, при французском правительстве. Ни слуху, ни духу. Попытки русских устроить здесь газету не удались. "Дом книги" открыт. В нем сидит Каплан и продает русско-немецкие словари (но не нас с тобой, Иван).

Милые мои, обнимаю Вас и целую. Вера тоже, конечно. Горсточка нас осталась! Галине и Марге сердечный привет. Ваш Борис.

Р. С. Ельяшевичи в 1 ½ ч. должны были собраться и бежать из Bussy [...] теперь вернулись туда.

P. P. S. Привет Цетлиным. Здоров ли муж Ангелины?

1. 14 июня 1940 г. Париж пал.

2. Вероятно, что-то насчет Америки, куда уехали многие писатели и общественные деятели — Алданов, Цетлины и др.

[Без даты. По всему судя, 1943 г.]

2, rue Rose Bonheur, Paris (15).

Христос Воскресе, дорогие мои Иван и Вера — давно собираюсь написать Вам, наконец, по-русски, да все выходит у меня медленно.

Мы уже более 2-х недель не дома. 4-го апр. Булонь наша сильно пострадала. К счастью, в то воскресенье Наташа пригласила нас к себе завтракать — после обедни и панихиды на Dagу по Рахманинову. В 1 ½ мы вышли (пешком) из церкви к Наташе, в 2 началась бомбардировка. Если бы поехали прямо домой, то как раз выходили бы из метро Самба́ прямо под бомбы. Там было плохо! Весь наш путь от метро домой обстрелян... Ближайшие попадания к дому — 75 и 50 метров. Когда в четвертом часу мы попали домой, квартира была полна битого стекла и мусора — все стекла вылетели, все это предназначалось нам в физиономию. Да, опять чья-то рука отвела беду.

Ночевали у Наташеньки, несколько дней у нее прожили. А потом Нина Берберова и Ник. Вас.¹ предложили у них поселиться — вот почему и адрес теперь иной. У них квартира огромная, мы занимаем дальнюю, никому не нужную комнату. Сам они бывают в Париже мало, Нина 1 ½ дня в нед., Н. В. — 3 ½. Они очень приветливы и гостеприимны; внешние условия здесь гораздо лучше, чем у нас на rue Thiers... — но все это не решение вопроса. Решением было бы найти квартиру в Париже. В принципе мы на этом и стоим, но квартир нет. Пока живем тут, а что дальше будет, не знаю.

Странно и грустно было уходить с чемоданчиками, под дождем в бурю из своего угла — какой он ни на есть, а все же свой. И книг набралось порядочно за одиннадцать лет. (Этой зимой я покупал кое что из старинного на Quais — Данте у меня отлич-

ный, Бокаччио, Бальбо и др.). Рукописи взял с собой. Жаль, Иван, ты далеко. Я бы тебе прочел 1-2 песни "Ада" во "взрослой" моей отделке — да и Верочка, наверно, послушала бы. В этого Данте я зимой сильно влез. И как удивительно: перевел его 25 лет назад, трижды получил под него авансы, трижды издательства разорялись войнами и революциями, а теперь я рад, что он не вышел в *прежнем* виде. Это было бы неприятно мне теперешнему. А "я теперешний" — уже последний, больше со мной ничего не будет, кроме смерти. Это последнее мое слово. Что знаю, что умею, то даю — изо всех моих сил. Рукопись завешаю Наташе, может быть, ей когда-нибудь и удастся ее напечатать (на свой и Верин век не рассчитываю). А тут я нередко его читаю вслух — находятся такие, кому нравится это занятие. Вот и на Пасху званы мы с Верой в один дом: читать и "вкусать".

Дорогие мои, скоро три года, как мы врозь! Когда увидимся? Вот неведомо! Но будем надеяться. Война ведь тоже идет под гору, не вечно быть ей. Значит, кто кого обгонит... Друзья наши главные здесь (не считая Наташи — это "самопродолжение"): Киприан, Мочульский. Лоллий бывает каждую неделю. Приносит бутылку вина. Обедаем. Он фантазирует насчет будущего. Вера чинит ему всякую мелочь — по-матерински. По вечерам я раскладываю 2 раза пасьянс и радуюсь, когда выходит. Вера в постели читает романы. А днем — сутолока у нее хозяйственная. Худы очень. Сейчас я еще похудел с этими переездами, тасканиями вещей, и т. п. Мало сил. Но Господь нас все же не забывает. Сейчас пятница Страстная. Вечером идем на Daqu. Вчера причащались в Кламаре у К., а веч. 12 Евангелий у Мочульского, на Lourmel. Он в стихаре читал Шестопсалмие. А после у нас обедал — мы сейчас одни — Нина и Н. В. в деревне. Сегодня Наташа с А. покатила к нам на велосипедах на три дня. Я очень за них рад. Наташа здорово устает на службе и с хозяйством дома.

Господь Вас храни, целую Вас обоих братски и с любовью в эти святые дни. Лене и Б-у² привет. Вера Вас также обнимает. Б.

1. Ник. Вас. Макеев.

2. В то время у Буниных жили Л. Ф. Зуров и Ал. Бахрах.

21.IX.1942. (Открытка)

Милый друг Верочка, с Ангелом! Поздравляю, целую. Твою открытку давно получил, благодарю. Пишу, как видишь, из Парижа, вернулись на днях. Вера прибавила в деревне 3 кило, я 2,2 (во мне теперь 58,2, в имениннице 60). Лето прошло и вообще хорошо. Жаль только бедного В. Б.¹ — он очень ослаб и исхудал от своей спазмы. — Об Илюше² печальные вести: он уехал к старшей сестре Марианны, при этом тяжело больной. По словам близких — "в полумертвом виде". Но лечиться не хотел (нечто желуд.-кишечное, рвота и пр.). Мы не увидим его, конечно! — Наташа работает теперь в бюро. Мы очень рады, что она бросила ресторан. Тэффи в деревне очень поправилась. Лоллий тоже, но здесь уже похудел. — Моя Вера целует тебя так же крепко, как и я. Приветы Ивану и Лене. Б.

1. В. Б. Ельяшевич.

2. И. Фондаминский.

23.VII.1943
Bussy-en-Othe.

Дорогая Верочка, давно собираюсь написать тебе, да ждал более спокойных дней — сама знаешь, деревня в этом отношении клад. Сейчас это и особенно чувствуешь. В Париже последнее время нам было очень беспокойно. Булонь сильно опустела — слишком в воздухе шумно и все ждали еще худшего. На воскресенье мы тоже уходили в город, а последние десять дней жили у Наташи в центре, там безопасно. Рукописи свои я переташил к ней, среди них и "Данте", над которым просидел всю зиму, сверяя перевод строчка за строчкой — работа, как ты знаешь, упорная и не столь благодарная — все же меня очень поддерживавшая. Перед отъездом сюда все кончил. В печати, наверно, не увижу, и вообще все это занятие — некоторое чудачество, но оно мне нравится. Перевезли с квартиры и носильные вещи, разные пальто, костюмы и т.п. (кое-что оказалось, все же), а теперь и старое — драгоценность. Твое милое письмо очень рад был получить. Да, о письмах Флобера мало с кем я могу

поговорить. Я как раз их ишу. Хочется перечитать. Но достать трудно, и Фаскелево издание и Конарово — все разошлось. На Quais, где нередко я шатаюсь теперь (и по Дантовой части кое-что выудил) видел раз эти письма, но вместе с Собр. Сочинений — общая стоимость 1500 фр. Это "без нас". Я покупаю в пределах 30-40 fr.

Очень рад за Веру — ей здесь покойно и отдых отличный. А в Париже она сильно замotalась — понизилось давление и ослабело сердце. Принимала строфант, дигиталис. Здесь сразу у ней другой вид. Мы приехали сюда 19-го утром, в час бомбардировки Рима (рана моего сердца — San Lorenzo я отлично знаю, замечательная базилика!) — впятером: В. Б., о. Киприан, его друг Киселевский и мы двое. Живем мирно, условия отличные, чего-же больше? (Да и вообще я всегда теперь Бога благодарю: терпит Он меня пока, не дает погибнуть, хотя я для жизни нынешней ни на что не нужен). В среду, на Казанскую отец Киприан служил в церковке рядом с его комнатой литургию. Мы причащались. Вот оно и получается что-то вроде скита.

Наташенька с А. завтра уезжают на 2 нед. в деревню, но не на запад, где-то в районе Анжера и Тура, мы очень за них рады. Наташа очень переутомлена. Целый день работа на службе, да еще дома хозяйство! А последнее время еще *femme de ménage* подвела ее, перестала до осени ходить — так и совсем мерзко.

В последний день перед отъездом, заехав к себе на квартиру, застали у двери Лялю Жирову. Вообрази! Она в Кламаре, и к нам приехала минута в минуту как мы вернулись. Встретились очень дружески. У нее вид отличный — все-таки юг и деревня! О Марко Богатом ты знаешь, вероятно. Рад за него. Ему идет получать деньги. Он их любит и они его. Ему надо быть богатым (на всякий случай сообщаю: премия за лучший роман — миллион с чем то *франков*). Хорошо, что он далеко¹. Там для него хорошо то, что здесь было бы плохо и довело бы его "до острова Святыя Елены".

А что мой дорогой дядя Ваня? Целуй его от меня крепко, как крепко я его люблю. Зурову привет сердечный — а себе самой от меня самый дружеский поцелуй. Как и от Веры, разумеется. — Нынче за завтраком вспоминали как раз с о. Киприаном Столовый и Скатертный переулки, где он жил одно время на месте

вашего прежнего особняка, в новом доме.

Господь Вас храни, мои дорогие, не забывайте старого друга. Твой Б.

Р. S. Бедная Берта² очень тоскует. Недавно попортила себе ногу, не могла даже быть на панихиде (40 дн.) по П. А.³ Семейю представляла Валя.

Остаться здесь предполагаем до половины августа. 17-го приезжают Тэффи, Лоллий и Струве.

1. М. Алданов уехал в Америку.

2. Б. С. Нилус.

3. Художник П. А. Нилус.

ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

СУДЬБА ЭМИГРАНТКИ

7 мая 1956 г. Ст. Потьма. Zubovo-Polyanskiy invalidnyy dom.

... "Входите. Отдыхайте", — сказал мне как-будто не без оттенка сочувствия дежурный надзиратель, распахивая передо мною дверь камеры.

Я остановилась на пороге. В небольшой камере, лишенной какой бы то ни было мебели, даже нар, на полу, на японских циновках-татами сидели три молодые женщины. За минуту перед этим, когда дежурный начал открывать тяжелый замок, из камеры раздался взрыв веселого смеха, вдруг замолкнувший в момент открытия двери. Я с изумлением тогда подумала: "Как можно смеяться, весело смеяться в тюрьме?"

А через несколько дней были минуты, когда и я смеялась с

От редакции. Несколько слов об авторе. Мария Лазаревна Шапиро — русская эмигрантка из Харбина, окончила в этом городе юридический факультет, была оставлена при нем в качестве преподавателя и лектора, а позже занялась журналистикой и 15 лет работала в качестве журналистки в русской эмигрантской прессе. Тематика ее статей охватывала вопросы судопроизводства в СССР (в основном по материалам советских изданий; речь шла исключительно о деятельности народных судов разных уровней; о существовании другого рода судебных и внесудебных карательных органов М. Шапиро узнала только после ареста) и эмигрантскую русскую литературу и поэзию. Занимаясь одновременно научной работой, она подготовила книгу о семейном праве в древней Руси. Книга эта погибла в НКВД.

В результате 7-дневной советско-японской войны Харбин был занят советскими войсками и начались аресты. М. Л. Шапиро была арестована по обвинению в публикации антисоветских статей (речь шла о

другими. О, животворящий смех, спаситель стойких душ, драгоценный дар награжденных от Бога чувством юмора! Смех — спаситель от отчаяния, потрясения нервной системы, даже сумасшествия! Только тот, кто может хоть иногда смеяться в тюрьме, остается нормальным до конца заключения. Если у него, к тому же, стойкая воля и крепкие нравственные убеждения, то он останется Человеком до конца своего срока, как бы ни была сломлена физическая природа его, ибо душе легко и спокойно, и не несет она на себе тяжелого груза предательства и духовной слабости.

Итак, я вошла в камеру. "Здравствуйте", — сказала я. "Здравствуйте", — ответили мне в один голос три молодые женщины, с сочувствием и любопытством разглядывая меня. Дежурный с грохотом и скрежетом запер тяжелый замок на двери, а я, обойдя трех сидевших на татами женщин, направилась к четвертому татами, незанятому и ближайшему к окну, и, как была, в шубе и маленькой фетровой шляпе, смертельно усталая и потрясенная, легла на него.

Помолчали. "Если вам хочется плакать — плачьте!" — сказала мне вдруг старшая из трех, все время смотревшая на меня внимательными зелеными глазами. — "Я не хочу плакать". — "Тогда давайте разговаривать".

Наутро она, оказавшаяся сестрой милосердия, мне сказала, что у меня, когда я вошла в камеру, было такое окаменевшее, трагическое лицо, что она хотела вызвать у меня слезы, чтобы мне стало легче.

Но вызвать их она не смогла.

Это было 29-го ноября 1945 года.

довоенных статьях, т. к. во время войны и после неё М. Л. Шапиро, из патриотических чувств не писала каких-либо статей с критикой СССР) и осуждена на 10 лет. По отбытии этого срока она последние годы жизни провела в инвалидном доме, где и скончалась. Мария Лазаревна не успела закончить свой труд. Последняя запись датирована 14 апреля 1962 года. Но и эта рукопись содержит 1700 страниц. Один отрывок из неё был опубликован в СССР в диссидентском сборнике "Память", № 1. Мы публикуем несколько отрывков из этой документально очень ценной рукописи, полученной нами из СССР. РЕД.

*

День начался обыкновенным образом, — мой обыкновенный трудовой день в Харбине в те нелегкие военные годы. Накануне или дня за два до этого я сдала своей новой редакции две статьи. В этой газете я успела поработать всего недели три до моего ареста, и, как ни странно, забыла даже ее название. Я помню, что успела написать только три статьи для воскресных номеров — одну о Репине, одну о Льве Толстом, а также, по просьбе редактора, статью о советском кодексе о браке и семье. Последнюю мне вернули, т. к. один из офицеров, очевидно из политработников, контролировавших новую газету, предложил дополнить ее упоминанием о поддержке многодетных матерей в СССР со стороны государства.

С приходом 16 августа 1945 г. советских войск в Харбин в результате недельной войны с Японией (9-16 авг. 1945 г.), последовавшей за этим капитуляцией Японии и прекращением существования государства Маньчжоу-Гоу, эмигрантские газеты закрылись. Закрылся и "Голос эмигрантов", и журнал "Луч Азии", в которых я работала. Город остался совсем без газет. Почти все редакторы и журналисты были арестованы. Оставались, за исключением меня и еще немногих, лишь те, которые за последние годы не занимались журналистикой, а где-нибудь служили. Военные бесплатно раздавали советские газеты на бульваре; их можно было прочесть в витринах магазинов, например, у Чурина, но они, естественно, приходили с запозданием на несколько дней, а свежих местных газет не было и в них чувствовался большой недостаток.

Во время войны настроение приблизительно 80% дальневосточной эмиграции сильно изменилось. Нашествие Гитлера на СССР, тяжелые дни первого периода войны, блокада Ленинграда, бои под Сталинградом — все это всколыхнуло русские сердца. Воевала Россия — пусть отделенная от нас другим мировоззрением, — но это была наша Родина, любимая, по которой мы тосковали столько лет в изгнании, землю которой теперь попирает враг. Многие из нас забыли старую боль и старые обиды и всей душой сочувствовали победе родины.

Эмиграция, проживавшая в Маньчжоу-Гоу, имела еще больше оснований для перемены если не мировоззрения, то в ка-

кой-то мере симпатий, т. к. японцы, фактически управлявшие этим государством—"сателлитом", создали в нем, особенно к концу войны, совершенно невыносимую атмосферу. Только люди, абсолютно связавшие себя с этим режимом, с работой у японцев, желали или делали вид, что желают, успеха "тройственной оси" (Рим—Берлин—Токио). Но даже многие из них в частных разговорах желали победы родине и горько критиковали японцев, союзников Гитлера, создавших в прежней вольготной Маньчжурии удушливую атмосферу доносительства и скрытого террора. Об этом периоде, конечно, со временем будут написаны и исторические исследования, и мемуары. История 13-летнего существования ублюдочного государства Маньжоу-Гоу пока еще никем не написана.

"Когда вы перестали писать против нас и почему?" — спросил меня на допросе один из моих следователей. — "Могу вам точно сказать: 22 июня 1941 года, когда я, возвращаясь с дачи, где пробыла два дня и не читала газет, проходя по Китайской, увидела возле гостиницы "Модерн" плакат от газеты, на котором была написана последняя телеграмма: Гитлер напал на Россию. В этот момент я решила: каково бы до сих пор ни было мое отношение к вам, мое и других людей, — это наши внутренние отношения. На Россию напал её исконный внешний враг, да еще возглавляемый таким человеком, как Гитлер. Кроме вас сейчас защищать родину некому, и потому не следует вам в этом хоть сколько-нибудь мешать".

Действительно, во время войны, несмотря на некоторое давление со стороны верхов нашего издательства, я не написала ни одной статьи с критикой советского строя, ограничившись исключительно статьями на литературные, исторические темы, темы по вопросам русской культуры. Отказалась я также писать статьи, восхвалявшие Японию и японцев. Кто-то из верхов издательства, видя мою твердость, сказал, как передал мне редактор: "Оставьте ее в покое. Пусть пишет, что хочет". Однако, на душе у меня все время было беспокойно, т. к. таких журналистов в Харбине было только двое: молодой Яворский и я. Яворский (псевдоним) усиленно писал статьи на биологические и, помнится, географические темы и ухитрялся ограничиваться ими, даже работая в "Харбинском времени" (японской газете на

русском языке). Но наступил день, когда его вызвали в Японскую Военную Миссию, и только заступничество начальника по другой его службе спасло его. Я ожидала своей очереди, тем более, что мой редактор предупредил меня, что в Я. В. М. уже заведено на меня досье. Но ожидаемый страшный день не успел наступить до капитуляции Японии.

Зато меня арестовали те, против кого, несмотря на вполне реальную опасность за этот отказ, я не желала писать во время войны. Арестовали, припомнив мне мою прежнюю критику.

*

Я часто думала летом 1945 г., радуясь от всего сердца разгрому Германии и победе России: "Теперь, очевидно, скоро будет разгромлена и Япония, окончится война во всем мире, *я смогу списаться с мамой и сестрой в США*. Я не знала тогда, что все тяжелое время у меня только впереди. Впереди были арест, следствие, суд, увоз в СССР и десять с половиной лет тюрем, пересылок и лагерей.

Приходится признать — хорошо, что человек не знает своего будущего или, по крайней мере, всего своего будущего; ибо, если бы он его знал, то сердце и разум его могли бы не выдержать.

*

Утро 29 ноября я провела дома. Материал в редакцию был сдан, срочных дел не было. В 3 часа дня у меня должен был быть урок английского языка с единственной остававшейся у меня ученицей, хорошенькой и милой Галей Н., жившей в нашем дворе. Надо сказать, что по мере возрастания числа арестов у нас в Харбине, мне, естественно, приходила в голову мысль о возможности моего задержания. Но я думала, что если бы это и произошло, то меня через дней десять выпустили бы. Такие случаи у нас в городе были, даже среди моих знакомых. Т. к. я не была связана ни с какими японскими учреждениями или газетами и уже 4 года, во время войны, не писала никакой критики по адресу той власти, которая теперь распоряжалась у нас, я наивно думала, что за прошлое меня при теперешнем отношении к эмигрантам карать не будут.

Я была очень удивлена, когда перед самым обедом пришел мальчишка-рассыльный из редакции и сообщил мне, что редактор просит меня прийти в редакцию. Сказав мальчику, что я пообедаю и приду, я наскоро пообедала, накормила и погладила Сёмку, собаку дворника, которую я прикармливала, все время удивляясь, зачем я могла понадобиться редактору, когда у него есть мои статьи для двух номеров. Уходя из дому в час дня, я еще зашла к Гале Н. сказать, что меня зачем-то вызывают в редакцию, и попросила её перенести урок с 3 на 8 часов вечера. Хорошо, что я это сделала. Благодаря этому мои друзья и квартирохозяева узнали, где и при каких обстоятельствах я была арестована. А то, как я ушла в 1 ч. дня из моей комнаты, так мне не суждено было больше никогда в неё возвратиться, и никто бы не знал, как я исчезла.

Сёмка, лежа возле своей будки, провожал меня любящими, ожидающими глазами. Но т. к. я его не позвала гулять, он остался лежать на месте. Недели за две до моего ареста он начал часто выть по ночам. Я выходила, успокаивала его. Он ничего мне, бедный, сказать не мог, ласкаясь ко мне, но, видно, его собачья душа и звериный инстинкт чуяли то несчастье, которое грозило обрушиться на меня, а стало быть, и на него, т. к., кроме меня, никто его больше в нашем дворе не кормил.

Моя новая редакция помешалась на углу Офицерской и Участковой улиц, в миниатюрном небоскребе, в котором в последние годы обитали редакции нескольких японских газет, в том числе и "Харбинского времени". В это время все эти газеты, конечно, закрылись, и здание пустовало, кроме одной комнаты на втором этаже, занятой редактором новой газеты А. В. Савицким, а также и помещения бухгалтерии и конторы газеты внизу. Поднявшись по лестнице на второй этаж гулкового, почти пустого здания, я постучалась в кабинет — редакционную комнату Савицкого и вошла к нему. Савицкий сидел за письменным столом, давая какие-то указания сидевшему перед ним сотруднику, по-видимому, репортеру. На диванчике, ожидая своей очереди, сидела журналистка Кармилова. Она была как раз одной из тех, кто был задержан и через три дня выпущен, и теперь начинала, как я, работать в новой газете.

В глубине комнаты, спиной к окну, стоял какой-то молодой

советский офицер. Так как за несколько дней до этого в редакции находился и майор Константин Викторович, с которым редактор меня познакомил, и который просил меня дополнить мою статью о советском кодексе о браке и семье, то я на него не обратила внимания. Сделав общий поклон, я, по приглашению Савицкого, села, ожидая своей очереди. Ждать мне пришлось долго, по крайней мере минут 40. Затем разговор со мною занял минут 20. Все это время офицер, оказавшийся орудием моей судьбы, неподвижно стоял около окна. Вся эта сцена — ненужный разговор Савицкого со мною и его роль в эти трагические минуты моей жизни — осталась у меня в душе тягостным и недоуменным воспоминанием. Уж не ему ли, только что выпущенному из-под японского ареста, было ясно, что меня пришли арестовывать, когда ему было приказано в неурочное время послать за мной? Неужели он не мог, когда я пришла, сказать мне: "Вот, с вами хотел поговорить младший лейтенант" — и таким образом отстраниться от всего этого дела? Зачем ему надо было в течение часа или больше ломать комедию, разговаривая с тремя сотрудниками в ожидании, пока третьего из них арестуют?

Еще более, чем я могу это выразить словами, осталось у меня впечатление чего-то разыгранного, трусливого, искусственно-оживленного в разговоре Савицкого со мной. Он не только так ненужно долго задерживал тех двух сотрудников, когда, предвидя, что разыграется сейчас перед его глазами, он мог отпустить их через несколько минут, но и меня задержал настолько наигранным разговором, что я с недоумением смотрела на него, не понимая цели этого излишнего неурочного вызова.

Наконец, Савицкий, закончив разговор, попросил меня сойти вниз в бухгалтерию, чтобы меня там зарегистрировали для получения гонорара. Опять ненужное дело: т. к. я за несколько дней до этого получила 100-рублевый аванс с разрешения Савицкого, то тогда же я и была занесена в ведомость сотрудников на получение гонорара. Мысленно пожав плечами и простившись с Савицким, я направилась к той двери на площадку лестницы, через которую я вошла. В это время от окна в глубине комнаты быстрыми шагами отделился неподвижно и молча стоявший там офицер и, нагнав меня еще до того как я дошла до двери, фамильярно-галантным жестом взял меня под

руку, и направляя меня к другой двери, незамеченной мною до этого, проговорил: "Разрешите мне проводить вас в бухгалтерию". — "Благодарю вас, я знаю, где она находится", — ответила я, но все-таки пошла с ним, думая, что он, наверно, знает более близкий ход, соображая при этом, как мне отнять руку, чтобы это не показалось обидным.

Только переступив порог соседней комнаты, оказавшейся совершенно пустой, я поняла, что здесь что-то неладно, тем более, что приказчиье-галантная манера моего спутника вдруг резко изменилась: выпустив мою руку, повернувшись ко мне лицом, он произнес голосом, внезапно ставшим металлическим: "Оружие есть?"

Даже в этот момент я, такая всегда чуткая к окружающей атмосфере, сразу почувствовавшая фальшь в разговоре Савицкого, еще не догадалась, что это — арест. У меня мелькнула мысль, что так как это дом, который незадолго до того был полон японцами, а японцы уже после капитуляции устраивали весьма часто нападения на советских военных и, конечно, всеходы и выходы этого дома были им известны, то что-нибудь подобное, наверно, произошло здесь и сегодня, и поэтому обыскивают всех входящих и выходящих.

Рассмеявшись в ответ на вопрос о наличии у меня оружия, я ответила: "Какое у меня может быть оружие?" и сама, расстегнув мою меховую шубку, вывернула ее внутренний шелковый карманчик, а также три кармана костюмного жакета. — "Вы арестованы", — произнес офицер и не ответил на мой вопрос "На каком основании?" В это время открылась маленькая дверка в глубине пустой комнаты, и в ней показался сержант-автоматчик. Тут я поняла, что все потеряно, т. к. присутствие сержанта, по недавнему разъяснению коменданта города, придавало аресту законную форму. Значит, это не было случайное задержание из-за происшествия в этом доме.

— "Следуйте за нами". Я молча повиновалась. Впереди по узкой задней лестнице, оказавшейся за маленькой дверью, пошел автоматчик, следом я, а за моей спиной — офицер, очевидно, несмотря на видимое отсутствие у меня оружия, все же опасавшийся меня! Внизу во дворе ждала легковая машина. Офицер

сел к шоферу, а меня посадили в кузов с сержантом-автоматчиком.

Черная мгла внезапно опустилась надо мною, наступил конец всей моей тогдашней жизни. Мои дорогие, с которыми я надеялась встретиться после окончания войны... Мои планы на будущее.. Самое будущее в его новом аспекте: отъезд из Харбина навсегда, разлука с друзьями.. Впереди: страстно любимая родина, которая встретит меня тюрьмой и лагерями — все эти мысли вертелись у меня в голове. Все же у меня хватило самообладания, чтобы следить, куда меня везут. Машина въехала на виадук и оттуда в Новый Город. Проехав несколько улиц, мы подъехали к зданию бывшего японского жандармского управления. Оказалось, что там наверху помещались следователи, а внизу — КПЗ — камеры предварительного заключения. Мой крестный путь начался.

*

Сразу по приезде, мимо часовых, охранявших вход и требовавших пропуск, арестовавший меня офицер провел меня наверх, во второй этаж, где помещались кабинеты следователей. Должна признаться, что, как это ни покажется невероятным (хотя это поймет всякий писатель и журналист), даже в этот трагический момент моей жизни я с любопытством озиралась кругом. Здание японского жандармского управления было овеяно мрачной славой; сообщения о пытках, совершавшихся там, передавались шепотом по городу во времена Маньчжоу-Гоу. Все всегда старались обходить это здание. Одна моя знакомая, возвращаясь как-то зимней ночью домой, проходя мимо этого здания, слышала страшные крики и, остановившись, увидела через низенькую ограду, как на морозе японские жандармы обливали из ведер водою какого-то неизвестного европейца, очевидно, русского. Теперь это здание тоже пугало своей таинственностью. Было известно, что в полуподвальном этаже сидят арестованные. Мимо дома часовые никого не пропускали.

Приведя меня наверх в один из кабинетов и предложив сесть, арестовавший меня офицер приступил к моему допросу. Он оказался следователем, младшим лейтенантом по фамилии

Усатюк, как я потом прочла в протоколе допроса. Любопытно, что следователи сами производили аресты. Так было и позже. Усатюк, по-видимому, недавно начал работать следователем и еще наслаждался своей ролью. Предъявив мне, к моему удивлению, два номера первой газеты "Русский голос", где я начала работать в 1925 году, с моей первой статьей "Юристы и Эхо", печатавшейся в двух номерах, и, помнится, еще несколько очень старых моих статей, он спросил меня, я ли писала эти статьи. "Смешно было бы отрицать, конечно, я", — был мой ответ. Не говоря уже о том, что я подписывала все мои статьи моим сокращенным именем "Мария Ш.", я бы вообще, если бы и писала под псевдонимом, не стала бы отрекаться от них. Далее он меня спрашивал о моей биографии, есть ли и где у меня родные и т. д. Во время допроса вошел какой-то майор, оказавшийся начальником следственного отдела Денисовым, поздоровался, подсказал моему следователю, что еще у меня спросить. Помнится, кроме этой моей первой статьи, следователь спрашивал меня и о других, но особенно яркого впечатления этот первый допрос у меня не оставил, хотя и длился он приблизительно с половины третьего или трех часов до восьми вечера. Впрочем, около 6 часов был перерыв.

Майор Денисов, войдя опять, прервал моего следователя и очень вежливо сообщил мне, что пока будут делать обыск у меня на квартире, мне придется подождать в коридоре. Он сам вывел меня в коридор, подвел к обитому бархатом креслу, которое, по-видимому, стояло там для такого рода ожиданий, и, извинившись, что у них еще нет гостиной (!) — это было сказано совершенно серьезно, — оставил меня одну в коридоре. Я высказала вслух беспокойство, которое, даже при моем собственном несчастье, терзало меня все время. Что при моем исчезновении будет с моим другом Сёмкой? Все, в том числе его хозяин, китаец-дворник, так привыкли к тому, что исключительно я его кормлю, что может пройти несколько дней, пока кому-нибудь придет в голову накормить его, не говоря уже о том, чтобы спустить его с тяжелой цепи. "Я очень прошу то лицо, которое будет производить у меня обыск, передать моим квартирохозяевам, что я обращаюсь с просьбой к ним и всем соседям во дворе не оставлять и кормить мою собаку". "Обязательно пере-

дайте”, — подчеркнуто внимательно и корректно обратился майор Денисов к младшему лейтенанту Усатюку.

Я знаю, что тому, что я скажу, трудно поверить. Надо самому испытать эту охватывающую вас полуобморочную, полусонную сердечную слабость, чтобы понять, как можно уснуть в такую минуту. Помню, что один друг, переживший гражданскую войну, рассказывал, как он однажды заснул в 20-х годах, раздетый догола сентябрьским холодным вечером, прислонившись к сосне в иркутской тайге, в то время, как два конвоя, — один, ведущий их, группу бывших офицеров, из лагеря, и другой, посланный навстречу из иркутской Чека, — спорили: расстреливать ли их на месте или вести в Иркутск, в Чека, как было приказано. Наконец, победил конвой, настаивавший, чтобы их доставить живыми. Их опять одели и погнали дальше и, таким образом, мой знакомый, проведенный после этого долгие месяцы в подвале Чека, был в конце-концов выпущен среди других лиц на волю. Рассказывая об этом случае, он, пожимая плечами и дивясь сам себе, говорил: “Можете себе представить — заснул! В такую минуту, уже голый, пока спорили — расстреливать или не расстреливать — заснул!”

Станным был мой сон. Я слышала все, что делалось в коридоре, и, между тем, спала. “Спит!” — с удивлением произнес, по-видимому, дежурный, проходя мимо меня по коридору. “Спит”, — произнесла, склонившись надо мною, машинисточка, спешившая с бумагами в какой-то кабинет. Мне показалось, что я спала недолго, минут двадцать, но на самом деле не могло не пройти меньше полутора или двух часов, нужных для того, чтобы съездить ко мне на квартиру, произвести обыск у меня в комнате, изъять бумаги при том большом количестве рукописей, какие у меня были, составить протокол и вернуться обратно. Когда меня позвали опять в кабинет, мне, в первую очередь, бросилась в глаза моя пишущая машинка под металлической крышкой, большой “Ундервуд”, стоявший на столе у следователя. Мне были заданы еще какие-то вопросы, касавшиеся моей биографии, и первый допрос окончился.

Пока я стояла в коридоре, из камеры, на дверях которой значился № 2, раздался, как я писала, взрыв веселого молодого женского смеха. Дежурный выбрал из связки ключей нужный ему

ключ и с грохотом стал отпирать замок. При первом же звуке смех сразу оборвался. "Входите, отдыхайте", — сказал мне дежурный. Я вошла. Круг сомкнулся.

*

После того, как старшая из сидевших в камере трех молодых женщин, присмотревшись внимательно ко мне в наступившей тишине, предложила мне поплакать, желая, как она мне объяснила на следующий день, вызвать у меня слезы, чтобы мне стало легче, а я ответила, что плакать мне не хочется, она предложила: "Тогда поговорим".

Она представилась: "Старокотликая". Ее необычная и знакомая мне фамилия даже в эту минуту привлекла мое внимание. "Не было ли у вас родственника-доктора в Благовещенскена-Амуре до революции?" — спросила я. — "Как же, мой отец".

Лидия Николаевна оказалась дочерью доктора невропатолога и психиатра Старокотличского (раньше эти две специальности соединялись в руках одного и того же врача), к которому обратились мои родители, когда у меня в 14 лет наступила хроническая бессонница на почве переутомления мозга. То, что я знала ее обожаемого отца и была его пациенткой, еще больше расположило Лидию Николаевну ко мне. Она была маленькой, полноватой шатенкой с зелеными глазами, 38 лет, очень веселой и подвижной. Ее бодрость, не покидавшая ее даже в самые тяжелые моменты ее весьма серьезного дела, очень хорошо действовала на нас.

Вторая из моих новых соседок была Женя Шемшединова, молодая, довольно красивая девушка с тонким кавказским лицом и черными вьющимися волосами. Она мне сказала, что она по матери русская, по отцу — полковнику старой армии — кумычка. От нее я впервые узнала о существовании этого маленького, всего в 6000 человек кавказского народа. Женю посадили за то, что она была одной из машинисток ЯВМ, куда она, между прочим, попала против своей воли и без своего ведома.

Третьей была молодая, привлекательного вида светло-волосая женщина настоящего русского типа. Звали ее Лизой,

фамилию ее я забыла. У нее был хороший голос, и она часто пела нам вполголоса русские песни, которым подтягивала Лидия Николаевна. Так я впервые в пении услышала знаменитую русскую песню: "То не ветер ветку клонит".

В последующие дни я ближе познакомилась с моими новыми соседками, которые отнеслись ко мне как к сестре по несчастью. Т. к. я следователей ни о чем не просила, я сидела в камере так, как пришла из редакции, т. е. не имея ни смены белья, ни гребешка, не говоря уже о других вещах, необходимых в обиходе культурного человека. Мои соседки поделились со мной тем немногим, что они сами имели: гребешком, полотенцем и мылом, которые у нас были общие. Помнится, предлагали даже зубную щетку, которая у них была одна на троих. Распорядок дня был такой: в 6 ч. утра подъем, который мы узнавали по грохоту замков отпираемых подряд камер. Пока выводили мужчин во двор "на opravку", мы успевали встать и одеться (наша камера была единственная женская). Затем очередь доходила до нас. Дежурный отпирал нашу дверь, здоровался довольно приветливо, иногда с шуткой, и мы выходили в его сопровождении вверх по лестнице (мы ведь находились в полуподвальном этаже) через задний ход в еще по-ночному темный двор. По возвращении дежурный вручал нам два ведра — одно с чистой водой, и другое — над которым мы мылись и из которого мыли пол. И начинался наш утренний туалет. После туалета и уборки нам приносился завтрак. Т. к. мы были в тюрьме, созданной *ad hoc** за границей, в прифронтовой обстановке, то не было специальной obsługi из "бытовиков", т. е. уголовных (всегда — с малыми сроками или по несерьезным делам), так же как и женщин-дежурных. Поэтому приносить нам пищу, воду, уносить наше помойное ведро приходилось тем же дежурным, которые все были сержантами, и это, по-видимому, им казалось несколько унижительным, хотя относились они к нам исключительно хорошо. Еда нам, четверем женщинам, давалась из солдатского котла, поэтому она, по тюремной мерке, была исключительно хороша и обильна.

После завтрака, особенно часов с 9-ти, наступало наше

*Для данного случая.

самое напряженное время. В эти часы начинали работать следователи и заключенных одного за другим начинали вызывать на допрос. Когда в конце коридора слышался стук и в ответ грохотал замок отпираемой изнутри двери, по коридору раздавались тяжелые солдатские шаги, останавливавшиеся то у одной, то у другой отпиравшейся двери, и начинался вызов к следователям — сердце замирало в тревоге и какой-то внутренний голос шептал: "только не меня, только не меня!" Но эти минуты душевной слабости и тоски были скрыты от посторонних глаз. Если же все-таки наступала моя очередь, я собирала все свои душевные силы, все умственные способности для предстоящей борьбы, ибо каждый мой допрос выливался в борьбу за мои убеждения, за моральные взгляды, в доказывание правдивости тех фактов, о которых я писала и в лживости которых и клевете меня старались обвинить.

Мне в лицо голословно утверждали клеветнический характер той или другой моей статьи. Я же, подкопившая в своей памяти за годы, истекшие со времени ее напечатания, новые факты, приводила их следователю, часто ставя его в тупик и заставляя экстренно менять тему. Но обычно отходить от темы, пока я не высказалась, я следователю не давала. Мои допросы приняли совсем необычный характер. Сколько я ни расспрашивала в последующие годы разных, в частности, очень интеллигентных и идейных людей, ни у кого не возникало такого положения. Обычно политических обвиняли в каких-нибудь *фактах*: в совершении каких-нибудь деяний. В громадном большинстве случаев, как показало массовое освобождение заключенных в 1955-56 гг., этих фактов или вовсе не было, или они были очень сильно преувеличены и неправильно квалифицированы. Таким образом, обвиняемому или обвиняемой нужно было доказывать несовершенство им или ею определенного действия, т. е. *отсутствие факта*. Меня, к моему великому счастью, этот ужас миновал. От меня не нужно было добиваться никакого признания: при первом же допросе первого следователя на вопрос: мои ли это статьи, я ответила: "Конечно, мои. Смешно было бы это отрицать".

Значит, факт установлен. Казалось бы, дальше дело обстояло просто. Нужно было доказать обвиняемой, настолько

упростившей тяжкую работу следователей, что она в своих статьях клеветала на советскую власть. Но, к огорчению первого же следователя, младшего лейтенанта Усатюка, и особенно второго, начальника I отделения майора Денисова, вызвавшего меня на другое утро, с необычной обвиняемой оказалось не так-то легко разговаривать. Каким-то непонятным образом роли во время допроса все время менялись: тихая и вежливая обвиняемая нет-нет да и становилась не только следователем, но и прокурором. И следователям приходилось, одному за другим, защищать себя, или, скорее, власть, которую они представляли, от потока убийственных, неопровержимых фактов, которые представляла им странная обвиняемая-обвинительница.

Поэтому-то обращались со мной так изысканно-галантно: хотели доказать *мне*, что я клеветала на советскую власть, что мои статьи — ложь. А я, признавая корректное обращение *лично со мною*, в то же время доказывала с фактами в руках всю правду того, что я писала в этих статьях, и отказывалась подписывать протоколы, где я будто-бы признавала, что я "клеветала" на советскую власть.

Но вот что еще поразительно: другим подсудимым вписывали в протоколы факты, которых не было, признания, которых они не делали; в мои же протоколы они, все пять моих следователей, не записали ни одного слова из *моих* обвинений *по их адресу*, прекрасно понимая мою цель: создать интересное для каких-нибудь будущих архивных исследователей досье, которое со временем стало бы обвинительным материалом для моих теперешних обвинителей. А на моей собственной жизни я и так уже поставила крест...

*

После нашего тихого вечернего разговора я уснула. Соседки мои дали мне два одеяла из имевшихся у них нескольких казенных, я постелила одно из них на мат, укрылась другим и шубой (в камере было очень холодно) и уснула опять тем же тяжким и в то же время чутким сном. Во сне я вдруг услышала голос. То, что он мне сказал, поддерживало меня в последующие долгие годы страданий, укрепляя надежду на будущее. Это был голос

далекого друга, который в моем сне обращался ко мне на "ты" и назвал тем ласкательным именем, с которым в последние годы жизни обращался ко мне отец. Слова эти врезались в мою память навсегда, хотя мне суждено было отсидеть не только все десять лет, но и пересидеть в лагере еще лишних полгода из-за отсутствия мест в инвалидном доме, куда меня оттуда направили. А обещание той ночи еще до сих пор не исполнилось. "Мусь, я найду тебя, — сказал голос. — Слышишь, слышишь, Мусь?" Под впечатлением этого сна второй мой тюремный день был освещен некоторой надеждой.

Наутро меня вызвали в дежурку на осмотр к врачу. Вскоре после возвращения от врача, часов в 9, меня вызвали на допрос. За нами обычно приходил один из двух солдат: или маленький Степа, или высокий красивый Митя, обладатель хорошего голоса, который часто по вечерам пел в дежурке, помешавшийся напротив нашей камеры. Оба, как и трое наших дежурных, были хорошими, добрыми парнями, фронтовыми солдатами, видимо, прикомандированными к нашему учреждению на отдых после боев и ранений. Им всем было неловко перед нами, они не верили в нашу, в частности, в мою виновность и старались, чем могли, облегчить нашу жизнь. Они легко могли бы превратить в ад жизнь четырех, потом трех женщин, а позже — мою, когда я осталась одна среди сотен мужчин. Но благодаря им она все-таки была кое-как терпима.

На этот раз меня вызвали наверх к майору Денисову, начальнику I отдела. Это был среднего роста блондин довольно приятной наружности со спокойными, сдержанными манерами, тот самый, который накануне извинился передо мною за то, что у них еще нет гостини. Но допрос оказался тяжелее, чем у вчерашнего лейтенантика, который меня арестовал. Закончив четырех или пятичасовой допрос или, вернее, корректный спор с возражениями и приведением новых фактов в подтверждение напечатанных в моих старых статьях, — с моей стороны (вместо извинений и признаний неправоты, как хотелось бы следователям), майор Денисов предложил мне прочесть протокол и подписать его. "Этого протокола я не подпишу, — твердо заявила я. — Здесь написано, что я будто бы призналась, что я клеветала на советскую власть. Этого никогда не было. Клевета есть заведо-

мая ложь, а я писала всегда правду. Я, как и всякий человек, могу в отдельных случаях ошибаться, но я, во всяком случае, всегда писала лишь то, что я имела все основания считать правдой”.

Майор Денисов посмотрел на меня, подумал и, по-видимому решив, что со мной ничего не поделаешь, спросил: “Как же вы хотели бы, чтобы я написал?” — “Я не отрицаю, что я критиковала советскую власть”. Майор Денисов взял протокол, зачеркнул везде слово “клеветала” и написал сверху слово “критиковала”, сделав внизу протокола отметку об исправлении протокола. “Это я готова подписать”, — сказала я, прочтя опять весь протокол в исправленном виде. Предложив мне подписать каждую страницу, майор Денисов вызвал, наконец, “выводящего” и отпустил меня.

Я много раз впоследствии задумывалась над тем, как при всем том, что я говорила им, следователи ни разу не мучили и не били меня, как это было в разных местах со столькими другими обвиняемыми, но, наоборот, оставались всегда корректными. Один только раз в самом конце следствия, как я потом расскажу подробно, ужас мучений реально встал передо мной, и я из него вышла с честью, благодаря Божьей помощи и заступничеству Николая Чудотворца. И исключительно этой же Божественной помощи я только могу приписать тот факт, что я не получила ни 20 или 15 лет каторги, ни 25 лет лагерей, а “всего” 10 лет лагерей — средний, наиболее распространенный приговор. То, как я была спасена тогда, в самую последнюю минуту надвигавшегося ужаса, еще более укрепило мою и без того крепкую веру.

*

Но я возвращаюсь к описанию нашего тюремного дня. Нужно напомнить, что наша камера, как и другие камеры КПЗ, помещалась в полуподвальном этаже, куда из первого этажа вела вниз лестница. Огромные окна нашего ряда камер выходили прямо на улицу, и поэтому они еще в японские времена были заделаны особенно крепко, а при советских властях укреплены и утеплены. Снаружи была железная решетка, затем железная сетка, затем — оконная рама; после этого, т. к. одно

стекло оказалось разбитым, во всю ширину огромного окна были набиты маты-татами, после которых шла вторая стеклянная рама, а внутри камеры всю ширину окна занимала ограда из деревянных крашенных столбиков. Лишь один луч дневного света — солнечный зайчик, светивший неизвестно через какую щелку, пробивался в нашу камеру часов около 11 утра, и я с нетерпением ждала его, как друга, особенно когда я осталась одна.

Когда у нас днем горела только 10-свечовая лампочка, а это случалось часто, т. к. дежурные постоянно вывинчивали днем нашу 100-свечовую лампочку и ввертывали 10-ти, — наша тюрьма походила на средневековое подземелье. И, как и там, только этот веселый солнечный зайчик, появлявшийся на каких-нибудь двадцать минут, напоминал, что где-то близко, за стеной сияет ослепительное маньчжурское солнце, сверкает снег (зима в этот год была теплая и снежная) и кипит жизнь большого и встревоженного города.

Нервное ожидание вызова к следователю продолжалось приблизительно часов до 2-х. После 2-х в работе следователя наступал перерыв, который продолжался часов до 6-ти. Подумать только, между вызовами к следователю иногда проходили недели три или месяц, а это нервное ожидание было каждый день. Вот откуда — массовые заболевания гипертонией и сердечными болезнями у тех заключенных, у кого их на воле не было, и сильное обострение этих заболеваний у тех, у кого они и без того были. В половине второго дня, в пять и в двенадцатом часу ночи нас вызывали на opravку, но прогулок не полагалось, т. к. двор был окружен лишь низенькой оградой. Таким образом, за почти три месяца, проведенных мною в харбинской КПЗ, я видела дневной свет в течение каких-нибудь 5-10 минут, когда нас выводили в час дня, т. к. в 5 часов зимою в Маньчжурии уже густые сумерки, а зимним утром и ночью было темно. Дневного света, как я сказала, в нашей камере не было, на улице мы его почти не видели. Неудивительно, что когда мы попадали днем на улицу, мы моргали, как совы, и слезы текли у нас из глаз от ослепительного солнца и снега.

За все эти три месяца при мне наша камера ни разу не проветривалась. Наше окно было заграждено шестью заграждениями, но из-за того, что где-то посередине было разбито стекло,

в камере было очень холодно, и от окна, может быть на счастье, дуло, иначе не выдержать бы было этой атмосферы. Любопытное явление, замеченное многими: большинство заболеваний или болей временного характера в тюрьме, на этапе или даже лагере, которые дома, в нормальных условиях, свалили бы человека, в этой необычной обстановке большого нервного напряжения проходят как-то быстрее и сами собой. По-видимому, собранность воли и концентрация нервных сил у заключенных ведут к такому исцелению, но все эти невылеченные заболевания в конце концов разрушают организм и влекут за собою гипертонию, разнообразные сердечные заболевания, а весьма часто и общее расстройство нервной системы и всей физической организации человека.

Во все это время тюремных будней я все сердечнее сходилась с моими соседками по камере. Лидия Николаевна Старокотлицкая была очень интеллигентным человеком. Она окончила Ориентальный институт, хорошо знала японский и английский языки. Несколько лет она прожила в Синьцзине (Чаньчуне), где была дважды неудачно замужем за японцами. Разойдясь со вторым мужем, больная, разочарованная, душевно потрясенная, она легла в больницу иностранных миссионеров, где двое женщин-врачей, англичанка и американка, очень сердечно к ней отнеслись. По выздоровлении она продолжала поддерживать с нами дружбу, что, в конце концов, привело к двум ее арестам и обвинению в шпионаже: в первый раз — со стороны японской жандармерии, а во второй — после прихода советских — с их стороны. Кроме того, обе стороны ставили ей в вину службу в немецкой конторе и то, что она своему бывшему директору, после его отъезда в Германию, отправляла ежемесячно посылочку чая. Впрочем, со стороны советских были еще и другие обвинения, как будто бы более обоснованные.

Лидия Николаевна приходила всегда с допросов внешне веселая и возбужденная. Она вообще была бодра и весела, по утрам делала гимнастику, но по ночам долгие часы стояла на коленях на молитве. Кроме того, она строжайшим образом соблюдала Рождественский пост, питаясь только чаем и хлебом, так что дежурные даже начали допытываться: не объявила ли она голодовку. Наконец, я уговорила ее есть картошку из супа,

хотя он и был скромный, говоря, что нужно считаться с идеей поста, а не с буквой. Наши харбинские священники и на воле считали, во время войны, что у нас — сплошной пост, и поэтому позволяли и Великим постом говеть всего два дня, допуская уже на третий к исповеди и на четвертый к причастию. Тем более, нельзя было быть слишком ригористичной в тюрьме. Лидия Николаевна согласилась со мной, и мы стали отдавать ей всю картошку из наших супов, которой набиралось с полтарелки, т. е. клали ее в суп щедро. Но и с этой помощью нужно было иметь большую силу воли, чтобы выдержать 40 дней такого поста.

Лидия Николаевна рассказывала нам интересные вещи о своем двух с половиной месячном сидении в японской тюрьме в Синьцзине (Чаньчуне). Тюрьма могла считаться вполне современной, образцовой. Передней стены у камер не было, вместо них была сплошная решетка. Лидия Ник. сидела вдвоем с какой-то молодой китайкой. Они должны были по 16 часов в сутки, т. е. все время, кроме сна и еды, сидеть на подогнутых в коленях ногах, в позе японских женщин, не смея пошевелиться или хотя бы повернуть голову. По коридору мимо решеток все время ходил часовой, который кричал на них при их малейшем движении. Немного легче бывало, когда вместо японца дежурил китаец. Тот делал вид, что не замечает легкого изменения в позе. Пить заключенным в этой образцовой японской тюрьме совсем не давали. В каждой камере в полу, на японский манер, был проточный унитаз, где все время струйкой текла вода, и воду для питья и умыванья несчастным заключенным приходилось брать оттуда. Кормили по 3 категориям: в первую очередь вызывали в столовую заключенных японцев, которых кормили сравнительно хорошо. Во вторую — китайцев, которых кормили значительно хуже. В третью — европейцев, т. е. нескольких сидевших там русских, которым давали только немного гнилого риса и моченой по-японски редьки. Лидия Николаевна (и я с ней) удивлялась тому, что ее там ни разу не пытали. Может быть, ее не считали по-настоящему опасной, потому что она два раза была замужем за японцами. Все же ее подозревали в работе в пользу СССР, а заодно японцам казалась подозрительной ее дружба перед войной с двумя вылечившими ее миссионерками-

врачами, а также добрые отношения с ее бывшим директором конторы — немцем. Для чего эта дружба с немцем, хотя немцы и были союзниками японцев? Все же через 2 с половиной месяца японцы разобрались и выпустили ее. Не дожидаясь пересмотра этого решения, оставив висеть шторы на окнах в своей квартире, чтобы не сразу стало заметным ее отсутствие, Л. Н. захватила необходимые вещи и уехала в Харбин к брату. Правда, Харбин был в том же Маньчжоу-Гоу, но власти на местах, от которых так много зависит в таких странах, были другие.

И действительно, в Харбине ее никто не трогал. Здесь она окончила курсы сестер милосердия и всецело перешла на медицинскую работу. Ее арест советскими объяснялся тем, что ей припомнили старые грехи. Кроме того, следователям, как и японским жандармам, тоже показалась подозрительной ее дружба с иностранными врачами-миссионерками, бывшая служба в немецкой экспортной конторе, а также два брака с японцами.

Я с Л. Н. далеко не во всем соглашалась, но нас сближало отчасти то, что я — бывшая пациентка ее отца, которого она боготворила и который после Октябрьского переворота и, помнится, многолетнего сиденья в советской тюрьме в Благовещенске-на-Амуре, умер там же, — в тюрьме. Мать ее была выслана куда-то в Западную Сибирь, а дети-подростки отняты у нее, для того, чтобы они получили чисто советское воспитание. Однако этот способ воздействия на юные души не увенчался, очевидно, особенным успехом, хотя Л. Н. во время своей службы на КВЖД до отъезда в Синьцзинь и брака с японцем, и была советской гражданкой.

Она была женщиной с некоторыми странностями. Например, она рассказывала, что у нее в Синьцзине было два маньчжурских полоза (огромных ужа), которых она держала у себя в комнате и выносила в парк на прогулку в корзинке, привязанной к велосипеду. Но, повторяю, ее бодрость, ее рассказы помогали держать себя в руках. Так, она нам почти дословно рассказала "Приключения Тома Сойера" Марка Твена. Затем "Путешествие капитана Гаттераса на Луну" Жюль Верна, и книгу забытого мною автора о любви знаменитых Абеяра и Элоизы. Мы слушали с удовольствием, стараясь мысленно уйти от

тюремной обстановки.

Женя Шамшединова напоминала мне пленного орленка. Она была машинисткой ЯВМ, и в Харбине было известно из писем прежде вывезенных в Хабаровск машинисток, что они живут все вместе на частной квартире, правда, под надзором, но ходят по городу и в кино, и одна из них, которую я раньше встречала у знакомых, писала своим родным в Харбин, прося их выслать ей ее платья и меха.

Женя, истосковавшаяся за время своего двухмесячного сиденья в нашем подземелье, мечтала о такой полуволе. Мы все верили этому странному факту, хотя и удивлялись, как это именно машинистки ЯВМ находятся в таком привилегированном положении. Позже оказалось, что такой "подход" был, очевидно, сделан с заранее обдуманной намерением, т. к. именно машинистки могли многое знать, что могло быть весьма ценным во время следствия по делам верхушки ЯВМ. Их всех потом судили, и все они были осуждены. Как раз подконец моего срока я услышала, что та машинистка, которая писала из Хабаровска, Зоя Ш., была впоследствии в одном из сибирских лагерей старшей сестрой в больнице, и там умерла от какой-то тяжелой внезапной болезни. Слышала я и о Жене, которая заканчивала срок в одном из сибирских лагерей, и несколько раньше, на пересылке Дубравлага, где я была два часа всего, — о Лидии Ник., которая находилась в лагерях Тайшет, в Иркутской области.

У Жени в Харбине в момент ареста была только мать. Ее жених, тоже служащий ЯВМ, был арестован еще до нее, а сестра с мужем, поддавшись на уговоры (иногда с применением давления) со стороны японцев, за несколько месяцев до этого выехала в Тооганский район в тайге, куда японцы собирались в течение 2-х лет выселить всех русских из Харбина для того, чтобы захватить их недвижимость, что они, вероятно, и сделали бы, если бы не приход советских. Пока что в обязательном порядке выселяли русских служащих некоторых учреждений. Специально созданное Переселенческое управление, после того, как выбранные русскими ходоками плодородные участки на высоком берегу реки были уже обработаны, и частично заселены, — в японской манере отобрало их и отдало японским пере-

селенцам (так японцы отбирали обработанные корейцами рисовые поля), а русских переселило в сырую, неплодородную низину. Там их захватило обычное маньчжурское августовское наводнение (после периодических дождей), и несчастные, разоренные, утратившие все имущество измученные люди дали откуда-то знать в Харбин телеграммой, что они пешком через тайгу возвращаются в город. Среди этих пострадавших были и сестра Жени с мужем, еще не добравшиеся домой до ареста Жени, и она очень волновалась об их судьбе.

Третья моя соседка по камере, Лиза, фамилию которой я забыла, была довольно красивой светловолосой молодой женщиной русского типа. Была она единственной среди нас советской гражданкой из вполне советской среды. Отец ее был квалифицированным рабочим, муж служил одним из механиков в механических мастерских Чурина. Если еще можно было говорить о вине перед советской властью хотя бы с точки зрения последней, нас троих, то у Лизы абсолютно никакой вины не было. Лишь в КПЗ я узнала, что переход через границу карается советскими властями, если он совершен после 1939 г., с какого времени, оказывается, граница считалась окончательно закрытой. Так как в Маньчжурии время от времени и до этого года появлялись люди, бежавшие из СССР с опасностью для жизни, нам как-то незаметен остался этот роковой рубеж. Между тем, бежавшие после 1939 года "получали срок", выражаясь по-тюремному, только за один этот факт, тогда как тем, кто перешел границу до 1939 года, этот факт даже не ставился в вину. Так, например, мне, перешедшей границу с родителями и сестрой во время боя в нашем городе, Благовещенске-на-Амуре, 27 февраля 1918 г. — этот факт ни одним из следователей не был вменен в вину, хотя я его и сообщила в данных о моей жизни.

Лиза также перешла границу с родителями в 1939 или 40 году. Была она тогда совсем юной — лет 16-17, а может быть, и моложе. К политике не имела ни малейшего отношения, и ничего в ней не смыслила. Она была молодой женщиной, занятой своим молодым мужем, хозяйством и пением. У нее был хороший чистый голос и русская природная музыкальность, и она без отказа пела нам русские народные песни, а по моей особой просьбе, как я уже говорила, полюбившуюся мне печальную

песню "То не ветер ветку клонит". Лизин случай был в своем роде исключительным. Ее отец, перейдя на китайскую сторону, все же продолжал оставаться советским гражданином. Будучи изобретателем-практиком, он во время войны тайно передал в советское консульство несколько своих ценных изобретений в области усовершенствования огнестрельного оружия, за что получил несколько благодарностей и, если не ошибаюсь, даже орден. Нужно представить себе обстановку японского политического террора в Маньчжоу-Гоу, особенно в последние годы войны, когда русских эмигрантов иногда вызывали и допрашивали: знакомы ли они с советскими гражданами, есть ли у них соседи или прислуга — советские граждане; когда советских граждан (как, впрочем, иногда и эмигрантов) время от времени замучивали в японских застенках, — чтобы понять всю смелость и преданность родине этого человека, рискнувшего своей жизнью и жизнью своей семьи, смертью от ужасных пыток, — ради передачи своих изобретений советской армии.

Когда же советская армия пришла в Маньчжурию и наступила эпоха расправы за прошлые "грехи", то даже советским следователям было неловко арестовывать за переход границы, совершенный много лет тому назад, советского изобретателя-патриота. Тогда они арестовали вместо него его дочь (жена его, помнится, к тому времени умерла), перешедшую с родителями границу девочкой-подростком. "Дабы не повадно было", — как говорили в древнем русском праве о лютых, бесчеловечных наказаниях.

Однажды Лидия Николаевна вернулась с допроса взволнованная: "Знаете, как называется наша контрразведка? "Смерть". Это название я прочла в протоколе". В следующий же раз я обратила внимание на это слово и увидела, что это не "Смерть", а "Смерш". — "Смерть шпионам", — расшифровывали мы, как, — что я узнала значительно позднее, — это слово расшифровывали и многие другие заключенные. Хрен редьки не слаще, — как говорит русский народ.

(Продолжение следует)

Мария Шапиро

КАК КОММУНИЗМ КАЛЕЧИТ НАРОДЫ

На примере нынешнего Советского Союза можно видеть, во что превращает коммунизм всякую страну и все народы, попавшие в его власть. От страны к стране различия второстепенны, но основные черты процесса повсюду одинаковы.

Первым действием коммунистов, пришедших к власти в России в 1917, было: откупиться от Германии 25, 30 или 40% русской территории, чтобы только на остальной удержать свою власть. (Этот высший принцип коммунистов — удержаться у власти любой ценой, хотя бы гибелью страны, народа и соседних народов, проходит единым стальным стержнем от Ленина до Брежнева, и Сталин был тоже всего лишь Лениным, доведенным до логического конца.) Тотчас же коммунисты повели внутреннюю гражданскую войну на уничтожение не только своих военных врагов, но всех невоенных слоев населения, расстреливая целыми селами, разоряя уезды, обезлюживая города и губернии. По вине коммунистов, отнимавших у крестьян даже семенное зерно, голод 1921 года охватил 30 миллионов человек, а умерло в Поволжье 5 миллионов крестьян. С тех пор массовые голоды не покидали нашу страну, в голоде 1933 вымерло еще 5-6 миллионов, в военные годы 1941-45 крестьяне ели травяные лепешки, в послевоенный голод 1946-47 люди умирали, а правительство вывозило хлеб за границу. От 1917 и по сегодня у населения уже никогда не бывало ни сытости, ни безопасности, ни

Эту статью А. И. Солженицын написал для Японской газеты "Йомиури" (Токио). Copyright A. Solzhenitsyn.

личной свободы. Надо ли удивляться, что при первом же столкновении с гитлеровской Германией в плен сдалось около 3 миллионов бойцов, население занятых областей ждало от чужеземных войск освобождения, и даже в месяцы явного крушения Германии только из тех советских граждан, кто оказался вне своей страны, в Освободительную армию против Сталина записалось несколько сот тысяч добровольцев. Но Гитлер вел войну не против коммунизма как идеологической чумы, а на захват и покорение народов СССР — и народ по вынужденности, защищая себя, защитил и спас коммунизм.

Для того, чтобы не иметь себе внутри страны никакой конкуренции, коммунисты еще в ходе гражданской войны 1918-20, а после ее окончания даже интенсивнее, ликвидировали все другие политические партии, все нейтральные культурные, религиозные, национальные и экономические организации, производили неуклонное массовое уничтожение всех, кто мог бы представить хоть в чем-либо оппозицию коммунистической власти. Уничтожали целиком сословия — дворянство, офицерство, духовенство, купечество, и отдельно по выбору — каждого, кто выделялся из толпы, кто проявлял независимое мышление. Первоначально самый сильный удар пришелся по самой крупной, русской, нации и ее религии — православию, — затем удары последовательно переносились на другие нации. Эти уничтожения еще к концу "спокойных" 20-х годов составили уже несколько миллионов жертв. Тотчас вослед произошло истребление 12-15 миллионов самых трудолюбивых крестьян. История последовательных уничтожений в СССР за все десятилетия посылно изложена мною в книге "Архипелаг Гулаг".

Какой же смысл был уничтожать лучшую трудолюбивую часть крестьянства? Мы ничего не поймем в коммунизме, если будем пытаться его понять на простой человеческой разумной основе. Пружина коммунизма, как завел ее еще Маркс, — это власть и власть любой ценой, не считаясь с потерями и вырождением населения. Важно, чтоб у коммунистической власти не было в стране экономически независимого, сильного соперника, чтобы крестьянство — а его было в стране 80% — обессилело и не могло бы противостоять власти. Колхозная система разрушительна экономически, но выгодна политически. Так сельское

хозяйство коммунистической страны строится не из расчета на урожай, а "идеологически". Ведется уродливым центральным бюрократическим планированием, которое не способно предусмотреть реальных обстоятельств и не задумывается о будущем, но хочет хищнически сорвать с земли как можно больше сегодня, как будто завтра на этой земле уже не жить. Десятилетиями власть спускает бредовые разрушительные приказы — и люди, не имея никакой свободы действия, вынуждены их выполнять. Крестьянин уже не привязан душевно к земле и работе, как было столетиями. Добились: омертвили крестьян до равнодушия, и они исполняют глупые приказы: посев не в срок, уборку не в срок; необратимую распашку лучших лугов под неудачную пашню; рубку лесов до пересыхания рек; или осушение хорошего озера, только чтобы формально выполнить "план мелиорации"; и сколько осушат земли мелиорацией в одном месте — столько гектаров зарастает в другом без рабочих рук. И добытый урожай зерна и овощей сгнивает от плохого хранения и недостатков транспорта вовремя. Сельскохозяйственные машины ржавеют зимами под открытым небом и быстро выходят из строя. Не успевают внести удобрения, сколько намечено "по плану", — остаток сжигают, чтобы не было уличающего следа. Или вот картинка: комбайнер продает по дешевке на сторону семенное зерно, вместо того, чтобы посеять его: его не проверят, сколько он посеял, и ему неважно, сколько взойдет. На два месяца в год еще пригоняют на гибнущие поля "на помощь" городских школьников и неумелое городское население: они бесполезно перебивают здесь время, которое им оплачивается государственной зарплатой в тех учреждениях, где они эти месяцы отсутствовали. За последние 10 лет советский импорт продовольствия вырос в 40 раз, 4 неурожая подряд — чего стоит такое сельское хозяйство!

За собранную колхозную продукцию государство десятилетиями платило искусственно ничтожно, так что труд колхозника отнимался вовсе даром — и наградой тому, кто весь день полон поле от сорняков, были только сами жесткие сорняки — для своей коровы или козы. Отобрав у колхозников полный рабочий день бесплатно — государство разрешало ему в остаток дня и вечера заработать себе пропитание на крохотном

приусадебном участке в четверть гектара. На этих участках отдают свои последние силы глубокие старики (до недавнего времени никто из них не получал пенсии, а сейчас получают мизерную), инвалиды и дети. (15 миллионов сельских детей не знают, что такое игры, сельские подростки ниже ростом и болезненнее городских.) Крестьянские приусадебные участки составляют около 2% обрабатываемых площадей страны — дают 1/3 всей продукции овощей, яиц, молока, мяса! Но так как до 1/3 этой продукции в колхозах еще гибнет от дурного хранения — то, значит, крестьяне, эксплуатируемые вдвойне, за счет своих индивидуальных участков, своих стариков и детей, и лишены всякой современной техники и удобрений, только руками как встарь — дают почти половину этих продуктов в стране! — и даже это не все могут продавать свободно на рынке, но и из этого должны уступать государству часть — раньше в виде еще нового "налога", теперь в виде "добровольной" продажи по дешевке.

Вдуматься: каково соотношение коммунистического сельского хозяйства, где все взрослое сельское население работает днем на 98% площадей — и 2% крохотных личных участков, где работают инвалиды, дети и по вечерам взрослые. Но даже и это последнее спасение власти уничтожают в идеологическом безумии: в последние годы все больше колхозов переводится в совхозы, то есть превращают колхозников в индустриальных рабочих, лишенных и этих приусадебных участков, не останется скоро и их. Сносят целые деревни, разрушаются остатки крестьянского быта, переселяют в многоэтажные здания, где уже нельзя держать скот и птицу. В который раз советская власть сама под собой уничтожает основу производства — зато "торжествует" идеологически.

Такая же несуразица во всей экономике. Полное взятие производства в руки государства разрушило производство. Несмотря на то, что 60 лет все речи вождей, газеты и радио гремят об успехах советской промышленности — вся она в болезненном состоянии, вся в язвах, которые залатываются только незаконными "микрокапиталистическими" путями, в обход социалистических. Основная задача советской экономики — не расцвет экономики, не рост общего производства, не даже произ-

водительность труда, не даже прибыль — а только функционирование мощной военной машины и изобилие для правящей касты. Партийная бюрократия не способна организовать ни производство товаров, ни торговлю — но лишь отнять произведенное. Это — система, не терпящая ничьей самостоятельности. Не имея способности эффективно управлять экономикой, власти заменяют руководство тотальным насилием. Экономика перепоясана и сдавлена множеством административных запретов, цель которых — не дать проявиться свободным социальным силам. Эти запреты тупо распространяются также на многие плодотворные научные направления — взамен того ведущая техника или закупается или крадется на Западе, производительность труда повышается за счет мирового технического прогресса, — это сопровождается фантастическими миллиардными иностранными долгами или оплачивается истощением недр: за время своего господства советские руководители продали и промотали запасы ископаемых, достаточные для своего поколения и для двух следующих — за сыновей и за внуков. Великая держава — все покупает, от электроники до зерна, а продает только недра и оружие. По жизненному уровню страна находится в четвертом десятке стран, а 12% государственных доходов составляет спекулятивная водка, спаивающая население до идиотичности, и бракованное вино, изготовленные антисанитарно: правительство спаивает народ, чтобы иметь деньги для своих мировых замыслов. Руководящий экономикой центральный "план" не предвидит никаких местных и конкретных событий, но неизменен к исполнению и оттого превращается в абсурд и хаос. Местные хозяйственники заняты только тем, как бороться с планом и обойти его — и на каждом шагу их сторожит за это уголовный кодекс. Невозможно никакое реальное строительство строго по закону — не будет ни материала, ни рабочей силы, — а только в обход закона, и все дрожат перед судебным наказанием, а иначе — вообще ничего не будет построено. Запреты так стягивают, что руководители производств не решаются вводить несомненно выгодную новую технологию: может нарушиться план, сроки, спокойнее — заявить на следующую пятилетку. Инициативные смелые люди то там, то здесь пытались создать в своем производстве свободу финан-

сов, чтобы платить не по мелочному государственному регламенту, а пропорционально количеству и качеству труда, — и всегда давали блистательные производственные результаты — и тотчас их обуздывали сверху новыми запретами, срезкой бюджета, а то и судебным наказанием: если появятся свободные экономические силы, то бюрократия упустит руководство событиями и саму власть. "План" составляется не по качеству товаров, не по богатству их ассортимента, но по общей стоимости, — и кто выпустит больше дорогих, ненужных, непродаемых вещей — тот "впереди" и премирован. Чтобы выполнить "план" — ежегодно рубят и сплавляют леса больше, чем потом могут вывезти, и он весь гнивает. Таков "план", что в Сибири, где больше всего энергоресурсов, — дефицит электроэнергии. Под обширный Камский завод бесплодно потратили площадь добротного чернозема. Объявлена "всенародной стройкой" Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, для нее не жалеют затрат, материалов и рабочей силы — а качество пути отвратительное, осадка, поезда сходят с рельсов, а стоимость 1 километра (5 млн. рублей) в 20 раз больше, чем строила в Сибири же старая Россия 80 лет назад (1 км — 50 тыс. рублей, старый рубль равен 5 советским).

К тысячам таких примеров надо добавить еще одно коммунистическое свойство: обязательную **систему лжи**. От самого рождения коммунистической системы одним из главных ее усилий было — скрыть от мира и исказить истинно происходящее. И это удалось ей тотчас же и затем во всех перипетиях десятилетий. (Остальной мир и хотел заблуждаться, он и хотел поверить в добродетели социализма.) Так и с 1-ой сталинской пятилетки 1928 года были, для внешнего престижа, объявлены невыполнимые задачи, и еще отягощены лозунгом "пятилетка в 4 года!", и ото всех потребовано под угрозами обязательное выполнение, — и всем звеньям управления не осталось никакого выхода, кроме ложных рапортов о несделанном, как сделанном, дутые цифры. А затем эти дутые цифры систематически ставились опорами новых планов, а в новом неисполнении снова лгали — и вот происходит наслоение лжей на полвека. СССР не дает истинной статистики не только для заграницы, но и сами вожди не знают подлинного положения в своей стране.

Нечего и говорить, что такое обезумелое руководство экономикой со взглядом вперед только на военные нужды и при полном презрении к народному бытию ведет к непоправимому разрушению природной среды. "План" любой ценой, а что при этом будет погублено — неважно, уж тем более — исторические места или заповедные уголки природы. Строят многочисленные гидроэлектростанции, перегораживая равнинные реки так, что под затоплением погибают посевные площади, сенокосы, жилые пространства, а от торопливых плотин гибнет рыболовство — во много раз дороже, чем полученная электроэнергия. Под этими новыми "морями", которыми коммунисты еще и хвастаются, уже погибло с десятков городов, много сотен сел, ценные леса. Напротив, драгоценное Азовское море, прежде дававшее рыбы больше трех больших морей — Черного, Каспийского и Балтийского, снизили по уровню Волгодонским каналом и обратили в яму для индустриального стока, рыбы в Азовском стало в 90-100 раз меньше, чем до Второй мировой войны. Разрушив ближнюю Европейскую Россию, перекинулись разрушать за Уралом. Уникальное озеро Байкал, пережившее все геологические катастрофы 25 миллионов лет, с самой чистой в мире водой, — отравлено навсегда стоками тяжелых металлов и целлюлозного комбината, дающего шины для тяжелых бомбардировщиков. Электростанцией под Алма-Атой высушили половину озера Балхаш. Освоением казахской целины превращено в пески 3 миллиона гектаров. Сибирский лес рубится хищнически, без воспроизводства. Неприспособленная лесная техника необратимо разрушает почву и губит таежный подрост. Неумелой постройкой БАМа непоправимо губится широкая полоса вдоль линии, поверхностный слой обращается в заболоченную пустыню; непомерным взятием гравия губят реки. Губит огромную площадь и нынешний судорожный газопровод Таймыр-Европа (которому помогает вся Европа и даже Япония, и который не обойдется без лагерного труда). И всем этим коммунистическая власть безоглядно платит, чтобы захватывать новые страны в Африке и Азии — и для такого же погубления (как хищничают и в мировом океане). Полвека назад уничтожили крестьянство для бредовой идеи колхозов — теперь удивляются, почему нет урожаев? Так исправить климат: реки, текущие в Ледовитый океан,

повернуть на юг! — новый безумный проект, который через несколько лет принесет новую гибель — уже не только русскому Северу, но почувствует и вся планета, когда нарушится режим Ледовитого океана. "План" для всех предприятий таков, что некогда и дорого беречь природу, строить очистные сооружения. И — уничтожается окружающая среда, все окрестности городов и заводов изуродованы и замусорены, все реки отравлены двойной и тройной "предельно-допустимой концентрацией" ядовитых веществ, а воздух в городах — десятикратной, и даже в некоторых — стократной. (И обо всем этом публично не оповещается, гибель природы и угроза людям так же засекречены, как и все в Советском Союзе, кто пытался о том громко заявить — попадал в психиатрическую больницу). Рак легких в нашей стране за последние 10 лет удвоился. Вместе с нашей природой умираем и мы сами.

Дети растут сиротами при живых родителях: из-за того, что заработка отца никогда не хватает и всегда работает мать, — миллионы детей начинают существование с перегруженных яслей и детских садов, в нездоровых нервных условиях, при недостатке персонала, без хорошего пригляда, но уже с "идеологическим воспитанием". И у миллионов же вся жизнь потом потянется через такие общежития — рабочих училищ, заводские — заброшенные, антисанитарные, где рано начинается пьянство и разврат и откуда молодым людям невозможно выбраться на отдельную квартиру: им не получить для этого милицейской "прописки". Они оказываются в крепостнической зависимости от начальников своих производств, которые эксплуатируют их безгранично: потеряв работу, они теряют и жизнь в этом городе. Это всеобщее в Советском Союзе положение: работодатель имеет и полную административную власть над работающим, каждый человек в любом месте, кроме отчасти Москвы, полностью лично зависим от административного начальника: он не может выставлять ему требований и не может никуда уехать. Зарплаты — бедственно низкие, они не оплачивают и десятой доли труда рабочего. У всех тесное и плохое жилье, в одной квартире живут по несколько чужих семей — и даже десятилетиями работая на одном предприятии, нельзя заработать права на отдельную семейную квартиру. Кроме Москвы, Ленинграда — товары по-

всюду низкого качества, и еще за ними долгое стояние в очередях. То вовсе исчезают — мыло, стиральные порошки, нитки, иголки, посуда, белье, вата, электролампочки, самое неожиданное. И никогда за 65 лет население не получало полноценной пищи и необходимого числа калорий. В провинции десятилетиями суший голод: нет мяса, рыбы, яиц, молока, даже макарон и круп (а риса не видят уже полвека), последние годы во многих городах введена карточная система — это безо всякой войны и стихийных бедствий! Нигде в мире женщины во множестве не работают на таких тяжелых физических работах без механизмов, как в СССР. И еще сверх работы на производстве советские женщины тратят на домашний труд и стояние в очередях по 30 часов в неделю. (И государство заинтересовано, чтобы люди были заняты заботой о пропитании и не оставалось бы мыслей ни на что другое.) Так называемое бесплатное медицинское обслуживание — отвратительного качества, больницы — убогие. По всей стране — массовый алкоголизм, и среди молодых мужчин высокая смертность от аварий. Все больше пьют и женщины.

Правительство грабит и землю и население в сотнях миллиардов рублей — подавленное население имеет только один путь реального сопротивления: встречно воровать у правительства свой кусок хлеба. Издревле в России воровство считалось тяжким грехом, сейчас воровать у государства — это общая, всем понятная жизнь, иначе не проживешь, через воровство у государства народ возвращает часть своих прав, и такой вид массовой народной самозащиты разрушительно вредит правительству. Многие предметы нигде в стране нельзя честно купить — но их можно украсть у себя на производстве (провода, гвозди, машинное масло, краски, удобрения) и затем продать на рынке краденого. На каждом производстве и в каждом колхозе расхищаются материалы, инструменты и продукты, все вместе тоже на миллиарды рублей, внося в производство хаос. Дети колхозников учатся воровать с 6-летнего возраста. На бесчестную власть никто не желает работать честно. Никто не получает достойной оплаты — но и никого не заставишь работать в полную силу — ни рабочих у станков, ни государственных чиновников, ни даже ученых в научно-исследовательских институтах:

каждый стремится устроить себе "отдых" в рабочие часы, чтобы иметь силы на вечерний приработок или свои занятия. Люди работают все ниже и ниже своих способностей — и чтобы создать на важных участках какой-то стимул, руководство предприятий само идет на обман государства, создает оплату по несуществующим должностям или дает возможность незаконного приработка.

От жестокой жизни, постоянного голода, жилищной тесноты и нехватки времени женщины не имеют сил на воспитание детей, и делают много аборт — у славянских народов свыше 4 абортов на одно живое рождение. От частых абортов следует вторичное бесплодие и выкидыши, их число возрастает на 6-7% в год. От плохого питания беременных, плохого медицинского обслуживания, отравленного воздуха в городах и женского алкоголизма растет детская смертность, а сохраненное потомство растет болезненным, у детей множатся генетические пороки. Одновременно с падением рождаемости в СССР растет и общая смертность и падает средняя продолжительность жизни. По расчетам, сделанным до 1917 года, по тогдашнему состоянию рождаемости — наша страна должна была иметь к 1985 г. — 400 млн. человек, а имеет только 266, таковы потери от коммунизма. Мы вступили в период необратимого вымирания славянских народов в СССР. Из-за растущего бесплодия женщин в самый детородный возраст и генетической инерции вымирание русских вряд ли может быть остановлено в ближайшие 100 лет даже благоприятными политическими и социальными переменами.

Над раздавленным народом возвышается угнетательский партийно-государственный аппарат, вместе с аппаратом пропаганды и репрессий — это 3 миллиона. Это — каста, обеспеченная всем в избытке — спецмагазинами (лучшие товары по резко уменьшенным ценам), доплатой секретных денег, не облагаемых налогами, лучшими домами и квартирами, особым лечебным обслуживанием, бесплатными санаториями, властью над населением, а сама не подлежащая судебной ответственности, — но зато платящая беспрекословным раболепным исполнением. Они обязаны быть равнодушны к страданиям своего народа в прошлом, настоящем и будущем: член касты — только пока он верен Системе, но выбивается из нее при малейшей

нелояльности. В центре касты находится олигархия партийных функционеров, тысяч 100, их потребности вообще не знают ограничений, так привольно не жил правящий класс старой России, — и их дети направляются так же привилегированно, чтобы по наследству остаться в той же олигархии. Вожди СССР по своим личным потребностям имеют чрезмерно и власти, и почета, и имущества — кажется, зачем бы им рваться завоевывать весь мир? Но так ведет их Коммунистическое Безумие, они — тоже пленники идеологической системы. В их руках — неконтролируемые финансы, военная мощь, международная политика — но тщетны надежды Запада, что смена одних вождей другими приведет к смягчению. Коммунистическое правительство уже держится непомерно долго по срокам отдельной человеческой жизни, оно выпило из подвластных народов живую жизнь, развратило, омертвило дух всеобщей обязательной лжи. Все-проникающая ложь — самая изнурительная черта режима. Уже больше полувека миллионы людей принуждаются к искусственному дутому "социалистическому соревнованию", "коммунистическим субботникам" (бесплатная работа в свободный день), издевательским собраниям и внедрению лжи в мозги на обязательных после рабочих часов политических занятиях. Народные волнения, частые в раннекоммунистические годы, как тогда подавлялись обильной кровью, так подавляются и теперь при малейшем возникновении (восстание в Новочеркасске, в Александрове, Муроме, Краснодаре, мятеж на балтийском миноносце, забастовки в Перми и нескольких волжских городах). Массы охвачены духовным упадком и равнодушием: бессильное чувство, когда видишь, что твоя родина уничтожается и изгаживается уже две трети века. Иногда стихийная злоба прорывается оскорблениями или взрывом официальных памятников.

Настойчивее же всего, как главных врагов, власти преследуют религию и национальное самосознание. Жестоко запрещается всякое религиозное воспитание детей. Все вероисповедания сжаты душащей петлей. В Прибалтике бандитски убивают католических священников. У баптистов и пятидесятников отбирают детей, а родителей бросают в тюрьмы. Жестоко наказывают тюремными сроками православных: священника Глеба Якунина, молодежную группу Огородникова-Пореша, издатель-

ницу сборников христианского чтения Крахмальникову. Но самые изнурительные и повторные сроки достаются выразителям национальных чаяний всякого подсоветского народа. Преследуется арестами и сроками простая милосердная помощь семьям заключенных от Русского Общественного Фонда, созданного мною на гонорары "Архипелага Гулага" и поддержанного сборами в стране.

Коммунизм по своей античеловечности исторически беспрецедентен, до XX века ни в одной стране ничего подобного не было, а сейчас — уже больше, чем в 20 странах. И уже много раз он должен был то там, то здесь крахнуть, но всегда устоявал, а сильные враги его, напротив, разрушались. Коммунизм — капкан, из которого не выскочил еще ни один народ никогда. Никакая личная тирания не сравнится с идеологическим коммунизмом: для всякого личного тирана есть пределы, где власть насыщает его. Но тотальную коммунистическую власть не может насытить никакая отдельная страна. Коммунизм — это такая умонепостижимая власть, которая совсем не имеет цели расцвета своей страны, здоровья и благополучия своего народа, — но платит и народом, и страной для достижения посторонних целей. Такая главная цель коммунизма не есть разумное, но фанатическое стремление захватить как можно больше внешней территории и населения, в желаемом пределе — всю планету. При коммунизме никакая страна не готова к длительному, здоровому, экономическому существованию. Но вполне способна на удар, захват, военную экспансию — это необходимая форма существования коммунизма. Этот закон внешней агрессии обязателен для всех коммунистических стран. Так и коммунистический Китай (это уже не подлинный, исторический Китай!), при своей военной слабости уже формировал убийц — красных кхмеров, поджигал индонезийскую революцию. А Северная Корея вторглась в Южную и только из-за американских войск не может кончить расправу. А Вьетнам, едва справясь с Америкой, обескровленный, — уже вторгся в Камбоджу, Куба — в Латинскую Америку и в Африку, Абиссиния — в Сомали, Южный Йемен — в Северный, Ангола — в Намибию. И характерно, что коммунистический империализм (в отличие от прежнего колониального) несколько не служит даже интересам

и обогащению той нации, которую гонит на завоевание, но ее-то губит в первую очередь.

Опасная иллюзия — различать коммунизмы "худшие" и "лучшие", более агрессивные и более миролюбивые. Коммунизмы — все античеловечны, а если какой ведет себя внешне смирнее, то он еще просто не набрался военной силы. Если о китайских, северо-корейских и вьетнамских лагерях нам почти ничего не известно, то только потому, что там еще жестче держат, чем в советских: не дают оттуда выскользнуть никому и никаким сведениям. Но и в Аддис-Абебе расстрелянных школьников складывают штабелями. Но священников расстреливают и в Албании и в Анголе. И во всех коммунистических государствах — не разумная, не практическая, но "идеологическая" форма собственности. Марксизм — враждебен и физическому существованию и духовной сущности любой нации. И тщетна надежда — найти с коммунизмом компромисс, улучшить отношения через уступки или торговлю.

Я понимаю, что японским читателям хотелось бы видеть успокоительную перспективу. Но мировой коммунизм грозит Японии даже больше, чем землетрясения, извержения вулканов и цунами, вместе взятые. С тем только преимуществом, что эту угрозу — можно предусмотреть, понять и тогда бороться с ней. Найти в себе внутреннюю и внешнюю стойкость против всех четырех соседних ьм коммунизмов: советского, китайского, корейского и вьетнамского.

Коммунизм — это отрицание жизни, это — смертельная болезнь страны и смерть всего человечества. И — нет на Земле страны с иммунитетом против коммунизма.

Исправить или улучшить коммунизм — нельзя. С ним можно только покончить — совместными усилиями многих народов, угнетенных им.

А. Солженицын
Сентябрь, 1982

НАРОД, ВОЖДИ, ЭЛИТА, ДЕМОКРАТИЯ

Что такое народ? Для одних народ это стадо, которое без пастыря, без вождя немедленно ввергается в хаос и несчастья или в бессмысленное буйство под воздействием своих неорганизованных инстинктов. Для других народ это высшая мудрость, высший судья, именем которого все в данном обществе совершается.

Говоря о народе, люди часто не отождествляют его с населением, сознательно или бессознательно отделяя в населении часть, "не принадлежащую к народу". Обычно это — часть власть имущих. Часто можно слышать также и: "Какой же это народ? Это дельцы, торговцы, а не народ". Или: "Какой же это народ? Это же банда преступников". В эмиграции можно слышать, что мы, мол, не имеем права ничего предрешать. Всё должен решать народ, а не Сидоров, Петров, Иванов или мы с вами. Таким образом, хотя "мы с вами и Сидоров, Петров, Иванов" принадлежим к народу, органически входим в его состав, тем не менее мы все не представляем народа. Не представляют народа и дельцы, торговцы, преступники. В то же время, какие-то люди называются народными вождями, выразителями "чаяний и интересов народа". Вся история, как правило, пишется тоже, как история вождей, королей, партий и вообще история форм и поведения власти, а не история жизни собственно народа.

Больше того, можно слышать множество заявлений от множества лиц, в которых запросто говорится об интересах народа, как будто есть какой-то абстрактный Иван Иванович с его интересами, который и является этим самым народом и от которого можно об этих интересах узнать.

Может показаться, что все эти представления не имеют значения в реальной жизни и поэтому нет необходимости разбираться в их смысле и правильности. Однако нетрудно сообразить, что эти представления прямо воздействуют на реальную жизнь. От того, каким представлением мы пользуемся на практике, осуществляя, скажем, нашу политическую программу, может буквально зависеть жизнь или смерть людей.

Если народ — стадо, то нужен вождь, который должен быть достаточно сильным, чтобы повернуть это стадо на "правильный" путь. Тогда, значит, этот вождь выражает интересы народа уже потому, что он стал вождем. В этом случае не следует жаловаться ни на Сталина, ни на Гитлера. Они вожди, они "выражают интересы народа". А то, что нам это может не нравиться, это наше частное дело овцы, которая не может выражать интересы всего стада. Даже и тысяча овец не может ведь выражать интересов всего многомиллионного стада. Кто бы ни стал вождем: Петр Великий, Иван Грозный, Николай Второй, Александр Македонский, Сталин — не наше дело их судить. Они знают интересы народа, а мы, члены народа, их не знаем. И то, что среди всего множества вождей человечества едва ли найдется один, которого бы мы, лично, одобряли бы полностью, тоже не имеет значения.

У каждого из нас есть, конечно, свои, личные интересы, но кто кроме вождя, может претендовать на то, что они представляют собой интересы всего народа? Именно вождь, появившийся в нашей среде, мистическим разумом или мистическим чувством знает и представляет эти интересы народа, хотя нам — членам народа — это может быть не по вкусу. Эта точка зрения (народ — стадо) прямо связана с политической платформой самодержавных монархистов, социалистов, "большевиков", "коммунистов", авторитаристов и, конечно, Благотельей, которые все стоят за необходимость самодержавных вождей, а некоторые же из них не прочь выступить в роли вождей и сами.

Любопытно, что весьма значительная часть представителей этой точки зрения искренне или неискренне, но крайне непоследовательно, тоже считает "народ" мудрым судьей, волей которого вождь и появился на свет. Поскольку народ — не

Иван Иванович и его волю выяснить невозможно, остается только этому верить или не верить.

Отсутствие "народа", как персоны, создает огромное число противоречий и неясностей в политической позиции "народников" и "непредрежденных". Как они ни стараются, их логика не идет ни в какое сравнение с "железной" логикой вождей. Приходится им поэтому заменять несуществующий "народ" на реально существующих "избранных" народа, которые будто бы этот народ представляют. Приходится считать, что власть "избранных народа" и есть власть народа. Отсюда уже тысячи лет существует определение власти избранных народа, как демократии, т. е. власти народа-демоса.

Давайте посмотрим, что же это за "избранники народа", которых "народ", якобы, наделяет такой, часто огромной, властью над собой. В Англии, например, всеисильные вожди тред-юнионов считаются "демократически" избранными, хотя большинство из них избрано всего 6% или меньше голосов членов профсоюза: члены профсоюза, как правило, на избирательные собрания не ходят. Дело с избранниками в органы власти, как и с вождями профсоюзов, усугубляется тем, что избиратели, как правило, не в курсе политических позиций кандидатов. Голосуют, фактически, не за определенную личность, а за представителя той или иной партии, имея, в лучшем случае, очень смутное представление о политической позиции партии, к которой принадлежит кандидат.

А кто может объяснить, как политическая программа или идеология партии может представлять собой волю народа? Партия ведь лишь очень маленькая часть народа. Как она может представлять народ?

Любопытно, что даже в США не было ни одного избранного президента, который бы получил больше, чем 37,8% голосов народа (Линдон Джонсон в 1964 году). Президент Джаксон был в 1828 году избран всего 12,4% голосов избирателей. Президент Картер в 1976 году был избран всего 27,2% голосов избирателей. Никсон в 1972 г. — 33,7%. Положим, однако, что "избранный народа" получил даже 60% голосов всех избирателей, а не только голосовавших. Можно ли сказать, что он отражает интересы всего народа? Что же, эта остальная часть

избирателей, которая не голосовала "за", не есть важная часть народа или ее интересы несущественны?

Таким образом, даже туманное древнее определение "демократии" можно только с очень большой натяжкой применить к реально существующим демократиям. В то же время оно само не соответствует смыслу слова — "власть народа". Власть не большинства и, тем более, не меньшинства, а власть всего народа. По сути дела, это древнее определение используется, как прикрытие происходящего лишения народа власти его "избранниками".

Две точки зрения ("народ — стадо" и "народ — мудрец") в древнем определении, вообще говоря, вполне сливаются. Только в одном случае "вождь" есть первосортный вождь, а в другом, — "избранник народа" есть тоже вождь, но несколько "низшего сорта", с меньшей властью.

Позиция "непредрежденных" особенно трудна. Решают за народ и за них, "непредрежденных", не вожди высшего класса вроде Александра Македонского, а "народные избранники" — люди явно второго или третьего сорта, вроде, скажем, Керенского или Миттерана. А несчастные "непредрежденные" должны от их управления страдать, да еще и унижаться: "это, мол, воля народа, а мы — люди маленькие".

Пожалуй, нечего удивляться, что логика точки зрения "народ — стадо" оказывается очень убедительной и среди "демократов" (по древнему определению) и весьма популярной даже среди некоторых беглецов от этих самых великих вождей (не только Сталина, но и Гитлера). Любопытно, но неудивительно, что Гитлер был вполне "демократически" избран и стал "выразителем надежд и чаяний народа". В этом случае две точки зрения совпали: "народ-мудрец" повел себя, как "народ-стадо". Следует подчеркнуть, что стандартная демократия нынешних западных государств не содержит в своей структуре или Конституции (за исключением Швейцарии) препятствий для превращения ее в вождизм социалистического или национал-социалистического государства.

Не удивительно, что понятие "народ" разошлось с понятием "население". Когда "избранники народа" или великие вожди начинают так управлять народом, что у того кости трещат, нет

никакого желания отождествлять с народом этих "избранных" или вождей, вместе с их аппаратом власти. Ну и кто же захочет считать, что убийцы, воры, низкие дельцы и т. п. принадлежат к народу? В этом выражается наша тенденция награждать "народ" только хорошими качествами, подобными нашим собственным. Как это ни покажется странным, но в этом выражается именно инстинкт истинной (нестандартной) демократии, который было невозможно отбить с помощью фальшивого определения и с помощью многих его воплощений.

Интересы народа

Как я уже отметил, много людей считает, что они знают "интересы народа". Им даже кажется, что определение "интересов народа" дело совершенно простое и ясное. "Народ" хочет, говорят они, хорошо жить, быть здоровым. В этом, мол, и заключаются его, "народа", интересы. Кто может с этим утверждением спорить? Никто. Беда начинается, когда приходится расшифровывать, что значит "хорошо жить", а, самое главное, когда нужно искать пути к удовлетворению этого интереса народа в "хорошей жизни и здоровья".

В США, например, существует закон о минимальной зарплате: никакой наниматель не имеет права платить никакому работнику меньше указанной минимальной зарплаты, даже если работник фактически ничего не делает. Кто же может сомневаться, что этот закон осуществляет "интересы народа"? Тем более, что закон установили "демократически избранные представители народа". Они ведь представляют именно интересы народа. Однако, сразу же нужно отметить, что для нанимателей такой закон представляет собой абсолютный экономический абсурд и явное нарушение их, нанимателей, интересов. Число этих нанимателей в США можно определить, примерно, в 18 миллионов. Поскольку закон осуществляет "интересы народа", есть только один логический выход — считать, что эти 18 миллионов из, примерно, 100 миллионов остальных трудящихся не относятся к "народу".

Однако это не снимает вопроса об экономическом абсурде указанного закона, осуществляющего "интересы народа".

Действительно, продукция нового работника, еще ничего не умеющего делать, непропорционально мала и плоха по отношению к его зарплате. В результате его непропорционально высокой зарплаты цена всей продукции предприятия оказывается выше, а качество продукции ниже. Поскольку же эта продукция попадет к потребителю, т. е. к народу, то народ и окажется пострадавшим. Выходит, что этот самый "народ" пострадал из-за осуществления этого самого "интереса народа"

Еще хуже. Квалифицированные и умелые выдадут доброкачественную продукцию в нормальных количествах. Однако за нее они получают зарплату, непропорционально меньшую по сравнению с зарплатой неумелого работника. Таким образом эти умелые работники, т. е. явная часть народа, страдают от введения закона, осуществляющего "интересы народа". И еще хуже. Поскольку неумелый труд вознаграждается больше, чем умелый, исчезнет интерес учиться, так как в этом случае и "корень учения" и "его плод" будут горькими. Эта незаинтересованность в умении и квалификации неизбежно распространится, приводя к понижению умения и с ним производительности труда всей страны. Зарплата при этом, конечно, не понизится, но не будет теперь подкреплена высокой производительностью труда. Можно ли тогда будет жаловаться, что конкуренция доброкачественных и дешевых товаров других стран (скажем, Японии) "разрушает" производство в данной стране (скажем, в США) и создает излишнюю безработицу (10,8 миллионов)?

И еще хуже. Если бы наниматели могли платить нанимаемым ровно столько, сколько они заслуживают, или даже меньше, то наниматели были бы экономически заинтересованы в найме не только неквалифицированных, но и в найме инвалидов и многих других категорий народа, страдающих от отсутствия работы. Ведь так называемое "перепроизводство" есть фикция. Оно лишь означает, что товары слишком дороги или никому не нужны. Форд создал массовое и дешевое производство и стал продавать миллионы автомашин, сделав их доступными почти каждому. Да и вообще, какое может быть перепроизводство, если даже в США существуют нищета и бедность. "Перепроизводство" просто означает все еще низкую производительность труда в производстве излишних товаров и необходимость пере-

хода на производство более необходимого товара. Таким образом, указанный выше закон "в пользу народа" приводит к безработице народа, создает инфляцию, ухудшает конкурентоспособность по отношению к другим странам, конечно, понижает международный курс валюты данной страны, создает дефицит внешней торговли (больше ввозится, чем вывозится). Вот вам и "интерес народа"!

Точно так же против народа работает множество и других законов "в пользу народа", как обязательная квота нанимаемых женщин, представителей меньшинств, как невозможность без страшной и дорогой бюрократии уволить неподходящего работника, как государственное регулирование цен и зарплат и т. п. Все эти законы, по существу, являются таким же опасным экономическим абсурдом, как и обсуждавшийся закон. Все они нарушают соотношение между качеством и количеством труда и зарплатой в пользу зарплаты, т. е. в пользу инфляции и безработицы, а также в сторону распространения нищеты. Все они доставляют больше всего несчастий именно тем беднякам, которым они должны были помочь.

Возьмем еще пример: прогрессивный налог и налог на прибыль. Прогрессивный налог в "интересах народа" конфискует в пользу государства разницу в зарплатах, скажем, разносчика газет и пилота самолета или, скажем, управляющего фирмой. Представим себе, что прогрессивный налог достиг своей цели и зарплата разносчика газет и пилота самолета или управляющего фирмой сравнялись. Я думаю, никто не возразит, что многие люди не захотят длительно учиться, чтобы стать пилотом самолета или даже просто стать квалифицированным человеком. В населении резко увеличится число разносчиков газет и, пожалуй, исчезнут пилоты или просто квалифицированные работники. Нетрудно видеть, к какой бездне нищеты и упадка это приведет. Ведь самая главная разница между "Третьим миром" и развитыми странами в том, что в последних работает неизмеримо больше квалифицированных людей.

Представим себе, что прогрессивный налог уравнивает зарплаты не совсем, оставляя "справедливую" разницу. Если эта "справедливая" разница не заинтересовывает достаточно людей, чтоб учиться и овладевать профессией, нищета и упадок будут

меньше, но будут. Любое "справедливое" государственное выравнивание разниц в зарплате ведет к беде для народа. Необходимо следовать не "справедливости", а экономическим (рыночным) интересам народа, выражающимся в соответствующих рыночных различиях в зарплате.

Таким образом, прогрессивность функции прогрессивного налога является фикцией. Что она выполняет очень исправно, так это то, что обеспечивает огромные расходы государства и кормит целую армию государственных (вполне излишних) чиновников, рассчитывающих и контролирующих взимание налогов. Самое главное, что прогрессивный налог, как и все налоги, неизбежно включается в цены товаров и услуг и народ уплачивает прогрессивный налог *вторично*, платя за товары и услуги завышенные прогрессивным налогом цены. Если же народ воздерживается от покупок (по причине высоких цен), то этим разоряет производителей, создавая себе же безработицу. Таким образом, и этот закон "в пользу народа" ведет к инфляции, безработице, нищете, т. е. к страданиям самого же народа.

Налог на прибыль капиталиста. Суть в том, что капиталист денег не печатает. Поэтому он ничего другого сделать не может, как включить, так или иначе, этот налог в цену своих товаров и услуг. Кто ее оплатит? Все тот же народ, покупая товары и услуги по завышенным налогом на прибыль ценам. Точно так же все остальные налоги "на капиталистов и богачей" оплачивает сам народ через повышенные ими цены на товары и услуги. Было бы гораздо для народа лучше и много дешевле, если бы все налоги были заменены простым и ясным единственным, пропорциональным (не прогрессивным) подоходным налогом и единственным налогом на предметы не первой необходимости.

Вы можете сказать, что, отказывая вам в знании "интересов народа", я претендую на него сам. Отнюдь нет. Я только рекомендую дать действие экономическим, рыночным регуляторам, т. е. внутренним в стране регуляторам, которые *находятся в руках самого народа* и отражают интересы самого народа.

Монстр государственной власти и истинная демократия

В чем выражается лишение народа его власти? Именно в том, что от него его "избранники" (управляющая государством

элита) отнимают целый ряд функций, которые он может и должен выполнять сам. Более того, на протяжении истории и выполнял в периоды молодости и процветания государств. Я уже отмечал, что "избранники" народа отняли у народа функцию регулирования экономики и социально-экономических отношений. В результате ничто не становится столь постоянным, как экономическая депрессия и застой.

Когда же эта функция выполнялась народом с помощью свободного рынка, то в ней участвовали миллионы мозгов и личных интересов. Можно ли сомневаться, что такое регулирование происходило именно в интересах народа и притом наиболее быстро и эффективно. Нетрудно наблюдать, как негибко, громоздко, замедленно и "не туда", происходит "регулирование" экономики государственной властью.

Если в условиях свободного рынка ошибка отдельного гражданина легко и быстро (немедленно) компенсировалась действиями миллионов других граждан, не отражаясь на жизни народа, неизбежные ошибки и некомпетентность государственной власти могут, буквально, "сломать шею" населению.

Совокупность действий миллионов граждан учитывает мельчайшие обстоятельства жизни по всей стране и движет страну в соответствии с равнодействующей миллионов волей в сторону наиболее оптимального соответствия интересам народа. Никакой государственный аппарат осуществить это не в состоянии. *Любой набор гениальных государственных мозгов является абсолютным идиотом по сравнению с коллективным мозгом совокупности миллионов граждан.* Даже в такой функции, как социальное обеспечение, которая, казалось бы, бесспорно принадлежит государству, оно создает весьма страшные последствия для страны и народа. Переложив заботу о стариках, больных, нетрудоспособных на плечи государства, мы начали разрушать те незримые связи между людьми, которые были в основе прочной семьи, в основе дружбы и взаимопонимания людей. Те связи, которые создавали, в конечном итоге, нацию и народ. Семьи начинают разрушаться, превращаясь в "половинки". Люди превращаются во врагов друг другу: начинается жестокая борьба людей, объединяющихся между собой не для жизни, а для единственной цели — "содрать" для себя по-

больше от государства. В этой борьбе больше всего страдают именно те, не способные к борьбе люди, для которых социальное обеспечение создано, прежде всего. Появляются целые огромные слои общества, которые кормятся на самом этом деле, отрывая ограниченные ресурсы именно от тех, для кого они предназначаются. Можно ли удивляться, что "вечные ценности" трудолюбия, дружбы, взаимопомощи, честности, милосердия постепенно разрушаются: все эти функции становятся государственными, а граждане от них "освобождаются".

Каков бы ни был идеализм родителей в воспитании своих детей, он не может не пострадать, когда обеспечивает детей государство, оставляя родителей в стороне. Зачем уважать родителей, если они "бесполезны". Как бы ни были плохи родители, государство может быть только много хуже в столь важных для страны функциях воспитания новых поколений. Эта передача собственных функций граждан государству нарушает не только нравственные устои общества, но и, конечно, экономические. Американец А. С. Browfeld показал, что в 1978 году 15 штатов с максимальными нормами социального обеспечения не только тратили на пособия на 20% больше, но одновременно имели на 15% больше безработицу и в три раза медленнее развивались, чем другие 15 штатов, которые имели минимальный уровень выплат социального обеспечения. Оказалось, что передача функции социального обеспечения государству и ее увеличение приводит к увеличению безработицы и тормозит развитие общества. О росте инфляции можно и не говорить: она всегда сопровождается массовое получение людьми того, что они не зарабатывали.

Конечно, никак нельзя винить "избранников народа" на Западе, что они стремятся лишить народ как можно большего числа его функций. Они просто стремятся улучшить управление государством, а это неизбежно требует расширения и укрепления государственной власти через соответствующий захват все новых и новых функций и через захват все большей и большей части национального дохода в свое распоряжение. Население же этому помогает, рассчитывая, что государственная справедливость Ивана Ивановича мистическим образом станет вне подозрений, если он попадет в государственный аппарат, став

“избранником народа”.

Указанная выше тенденция “избранных народа” есть тенденция любой власти, которой не поставлено специальных ограничений. Нет большой нужды много раздумывать, чтобы установить, что пределом расширения и укрепления власти государства (улучшения управления) на Западе и является единовластие социализма (или национал-социализма).

Все эти уже известные беды Запада, являющиеся прямым следствием лишения граждан права выполнять свои функции, достигли в странах социализма своего крайнего и отвратительного предела. Предела, который и будет причиной, как экономической, так и социальной, гибели социализма. Единовластное государство социализма, ликвидировав частную собственность и капиталистов, взяло на себя, наряду с множеством других функций, важнейшие экономически (и социально) функции монопольного хозяина-предпринимателя, монопольного продавца, монопольного банкира (функции, которые на Западе захвачены государством еще не полностью). Этим социалистическое государство стало выразителем интересов ликвидированных насильем общественных слоев капиталистов-предпринимателей, торговцев и банкиров. Как и капиталист-предприниматель, оно заинтересовано в минимальных зарплатах, в максимальном количестве и качестве труда, в отсутствии забастовок, в отсутствии такой помехи государственному управлению, как независимые профсоюзы. Имея в своих руках абсолютную полноту власти, социалистическое государство имеет все возможности для осуществления своих интересов. Следует тут же отметить, что указанные интересы социалистического государства весьма разумны и их осуществление безусловно ведет, по крайней мере, к экономическому процветанию страны. Вопрос только в том, можно ли их в этом случае осуществить? Ведь очень легко заметить, что интересы (личные) трудящегося населения страны прямо противоположны интересам “власти”, точно так же, как у трудящихся и капиталистов. Любопытно, что интересы и самих управителей выражаются, практически, той же формулой: тащи с государства все, что можно. Так как государство есть нечто абстрактное, то эта формула превращается в: — тащи с населения все, что можно.

Карл Маркс по своей исключительной марксистской глупости считал указанное выше противоречие "классовым" и невозможным в бесклассовом обществе социализма, в котором не будет главных носителей противоречия — капиталистов. Любопытно, что этим самым он отверг одно из принимаемых им положений диалектики, что всякое развитие осуществляется через борьбу противоположностей: в данном случае противоположности между капиталистами и трудящимися. Это, конечно, был грубый просчет. Противоположность не исчезла, а страшно усилилась, дойдя до противоположности между всем государством и всем населением. Хотя государство социализма имеет (вроде бы) на своей стороне всю огромную силу единовластия, но сила 140 миллионов трудящихся действует, как говорится, "на всю железку". Действует неорганизованно, стихийно, но крайне разрушительно. Эта сила противоречия не только не дает возможности социалистическому государству осуществить свои разумные интересы, но двигает все общество социализма к разрухе вместо процветания. В стране социализма процветает безделье, воровство государственного имущества, бракодельство, блат, взяточничество, приписки и очковтирательство и т. п. Нет сомнения, что сила населения страны возьмет верх и тем ликвидирует социализм, т. е. своего абстрактного оппонента — социалистическое государство.

Мы (не Маркс) должны сделать только один вывод: функции хозяина-предпринимателя, торговца, банкира должны быть (через возвращение частной собственности) возвращены гражданам, их миллионам. Они сами "решат" кому из них быть хозяином, а кому — работником, кому быть торговцем, а кому — покупателем, кому быть банкиром, а кому — вкладчиком или должником.

Нетрудно сообразить, что не только абсолютная монополия указанных выше функций ведет к разрушительным противоречиям в обществе, но и их концентрация у огромных корпораций (или профсоюзов) и, тем более, у любых монополий ведет к усилению противоречий и к росту разрушительных тенденций в обществе, как это легко наблюдать на Западе. Государственное устройство, законы (конституции) должны предусматривать наиболее равномерное распределение указанных

функций среди всего населения. Именно в этом случае будет обеспечено максимальное процветание общества. В противном случае, трудящиеся, капиталисты-гиганты или капиталисты-монополисты вместе или раздельно, в виде государства или отдельных фирм будут разрушать общество. Наиболее мощным разрушителем являются, конечно, трудящиеся, так как именно ими, в конечном итоге, создается все. Отказываясь добросовестно работать, трудящиеся все разрушают и страдают от этого разрушения больше всего (в первую очередь) сами.

Смысл истинной демократии в том и состоит, что все те функции в жизни страны, которые могут выполняться самими гражданами (народом), ими и выполняются. Государственная власть выполняет в этом случае строго ограниченный перечень функций и ограничена в расходах и штатах, чтобы оставаться нашим (народа) слугой, не превращаясь в нашего хозяина, как это происходит сейчас на Западе (за исключением Швейцарии) и в полном виде произошло при социализме в СССР и в других странах. Точно так же истинная демократия (через свою конституцию) не должна допускать образования экономических и политических монополий и гигантов, тоже нарушающих внутреннее равновесие общества и лишаящих граждан свободы выполнения их собственных функций. Истинная демократия характеризуется полной свободой конкуренции и соревнования.

Одной из главнейших функций государственной власти в истинной демократии становится организация обороны страны, обеспечение законности и порядка и полная ликвидация власти преступных и аморальных элементов над народом, которая ныне так характерна почти для всех стран мира.

Давайте сравним истинную демократию, демократию по древнему определению (т. е. представительную демократию) и социализм. Как решается, например, вопрос безработицы в трех этих случаях?

Социализм. Власть в Москве, конечно, не в состоянии знать, что, например, творится в захолустном городе Лодейное Поле. Вероятно вы даже не знаете, что такой город существует. У власти в Москве уйма забот и много более важных (и престижных) дел, чтобы обращать специальное внимание и предпринимать решения по поводу этого Лодейного Поля. Я бывал в

такого сорта городках. Трудно себе представить всю глубину их нищеты и заброшенности. Дело в том, что в крупных населенных центрах безработица, которая свирепствует в Лодейном Поле, просто отсутствует. В эти крупные населенные центры направляются все главные капиталовложения в промышленность и в создание новых рабочих мест. В них обычно ощущается сильный дефицит рабочей силы, а не ее излишек. На всякую же "мелочь" вроде Лодейного Поля средств никогда не хватает. Кстати и фараоны воздвигали престижные пирамиды, а не скромные дома для населения, за что они и до сих пор пользуются у человечества почетом. Советские "пирамиды", конечно, не тягаются с египетскими (уже не ново), но представляют собой вполне аналогичное явление: любому управителю хочется построить себе соответствующую "пирамиду", которую он себе и строит, поскольку имеет власть. Сталин в истории не был одинок, когда строил себе памятники вместо жилищ для населения. Власть есть власть.

За этими советскими "пирамидами" ни Лодейного Поля, ни многих тысяч других провинциальных городов с огромной безработицей просто не видно. Самое же главное не в безработице Лодейного Поля. Самое главное в том, что и в любом государстве можно было бы "решить" вопрос безработицы, понизив производительность труда и средний уровень жизни, взяв на работу всех за половинную или одну десятую нормальной заработной платы, как советская власть и делает. Советской власти, при этом, нет необходимости получать на такие действия согласие населения или его безголосых "избранников". Подумайте, между прочим, какое огромное число противоречивых мнений и рецептов предложило бы население, если бы его советская власть стала бы спрашивать. Советская власть "решает" всё в момент, единовластно.

Таким образом, "решение" вопроса безработицы при социализме характеризуется следующим.

1. Решение не распространяется на все население, а лишь на привилегированную часть его, живущую в крупных промышленных центрах.
2. Эта привилегированная часть тоже оказывается не слишком осчастливленной. Она работает, но ее зарплата нищенская.
3. Поскольку за "пирамидами" безработицы в

Лодейном Поле не видно, то безработицы и "вообще нет". Следовательно, не должно быть и пособий по безработице. 4. Решение принимается единовластно и "единогласно" и быстро (с помощью всесоюзного плана), но лишь по "назревшим" (не Лодейнопольским) вопросам.

А как "решает" этот вопрос представительная демократия Запада? Для того, чтобы попасть в "избранники народа", нужно подкупить "народ" соответствующими обещаниями соответствующих благ для "народа". В представительной демократии, следовательно, обещания "избранных" определяются прямо числом голосов, которые можно получить за данное обещание. Ясно, что и в этом случае "Лодейное Поле" окажется за бортом: оно представляет слишком мало голосов. Кроме того, и в представительной демократии вопрос должен "назреть", т. е. достаточно много избирателей должно от него страдать прежде, чем у "избранных" появится желание его "решать". Однако тут одного желания одного "избранника" слишком мало. Нужно большинство голосов в Парламенте по данному вопросу. Сами понимаете, что получить у нескольких сотен весьма самостоятельных "избранных" в Парламенте одинаковое мнение (положительное) по одному вопросу крайне трудно. Хаос мнений в Парламенте лишь в меньшем масштабе отражает хаос мнений в "народе". Возможность целесообразного и своевременного решения Парламентом "избранных народа" любого существенного вопроса близка к нулю. "Избранные", как и народ, "кто в лес, а кто по дрова". *Вместо этого* приходится Парламенту принимать "решения" совершенно противоположные тому, что целесообразно. Принимаются решения, по которым в народе есть единодушие. Какие же это "решения"? Все "решения", которые дают трудящимся (их большинство) те или иные блага: введение или увеличение пособий по безработице, повышение минимальной зарплаты, привилегии для женщин (их ведь половина среди избирателей), привилегии для "меньшинств" (они большие, эти "меньшинства" и объединены в своих интересах), законы, грабящие налогами "богачей" предпринимателей, законы, нагромождающие всякие ограничения на предпринимателей "в пользу трудящихся" (их большинство). Такие решения и проходят. Не трудно сообразить, что такие "реше-

ния": 1. Понижают общественную производительность труда, понижая средний уровень жизни, так как все эти "блага" не компенсируются дополнительным производительным трудом трудящихся. 2. Эти "решения" душат налогами и правилами "в пользу трудящихся" "богачей"-предпринимателей. Разоряют их, ликвидируют желание предпринимателей (и возможность тоже) вкладывать капиталы в развитие производства. Тут еще поспевает неправильно понятая "монетаристская" политика и душит предпринимательство окончательно ростовщическими процентами на займы.

Все эти "решения" (обязательные — иначе не станешь "избранником") нарушают социально-экономическое равновесие в стране в пользу наиболее многочисленной части населения — трудящихся. Это неизбежное в представительной демократии удовлетворение разрушительных личных интересов трудящихся не может не вести страну к упадку. Безработица, по понятным причинам, становится огромной, нищета растет, а не падает, растет неудержимо дефицит бюджета (нужды трудящихся не имеют границ).

Таким образом и представительная демократия возводит свои "пирамиды", создавая себе престиж в среде всемогущих трудящихся. Посмотрите, какой огромный и дорогой монумент себе воздвиг Франклин Рузвельт, сумев повернуть государство на путь нынешнего упадка с помощью нарушения общественного баланса сил в "пользу трудящихся". Что удивляться, что многие люди, познавшие советскую власть и представительную демократию, начинают отрешиваться не только от социализма, но и от демократии, вообще?

Как решает этот вопрос истинная демократия? Прежде всего, главные функции регулирования экономики находятся в руках самих миллионов граждан через механизм свободного рынка и конкуренции. Государственная власть обходится много и много дешевле и понятно, почему. Поэтому в руках граждан находятся почти все деньги и средства воздействия на экономику. Ни один слой общества не выделяется привилегиями по законам. Предприниматели не душатся налогами и правилами "в пользу трудящихся". Стать предпринимателем становится доступным любому гражданину. Зарплаты и цены регулирует

конкуренция и они поэтому соответствуют наиболее оптимальным экономическим уровням. Никому нет нужды обращаться к "избранникам" за решением вопросов их жизни. Безработица сводится лишь к части, определяющейся подвижностью работников при смене ими мест работы. Один гражданин решает вопрос своей безработицы получением профессионального образования или образования вообще. Другой решает согласиться на пониженную зарплату. Третий создает свое собственное, пусть и примитивное, дело. Граждан-предпринимателей появляется уйма. Работа есть даже в "Лодейном Поле" и "Лодейному Полю" нет необходимости "выбивать" из государства для себя привилегии или деньги. Это и есть настоящая *власть* народа.

Противники демократии говорят, что "дай власть народу и никакого решения получить будет нельзя. Будет хаос и никакого согласия". Они правы, но только в том, как я уже показывал, что для народа не может быть и не бывает решения, одинакового для всех, чего добиваются эти противники демократии. Народу нужно столько различных решений, сколько есть граждан. Противники же демократии хотят получить согласие от всех на одно "решение". Его они и собираются получить с помощью неупоминаемого ими насилия со стороны некоего авторитета или самодержавного управителя. Суть их ошибки в том и состоит, что для истинной демократии нет никакой необходимости получать всеобщее согласие. Каждый гражданин может действовать по-своему через свободный рынок, двигая таким образом всю страну в оптимальном для всех направлении. "Согласие" получается без референдумов и голосований. Я думаю, что подкуп избирателей или воля вождя едва ли способны дать более правильное решение. Что касается организации обороны, то, при условии строгой централизации и единовластия командования, решения будут быстрыми и гибкими. "Избранники" же будут создавать сильнейший отпор всегда существующим у военных агрессивным силам при всеобщей поддержке населения, не желающего войны. Таким образом баланс и в этом случае истинной демократией обеспечивается.

Легко видеть, что понятия плюрализма, свободных выбо-

ров, разделения властей являются лишь наименее принципиальной частью понятия истинной демократии. Истинная демократия есть истинная власть народа самому решать свои дела. Она освобождает огромные, именно творческие, силы народа и ведет к материальному и духовному процветанию страны. Когда противники демократии утверждают, что народ есть стадо и ничего не умеет, то приходится их спросить, а откуда же они сами появились? Вероятно, с неба сошли?

Элита и народ

Понятие "элиты" так же неточно и неопределенно, как и понятие "народ". Поэтому я предпочту разделить это неточное понятие на три более точных. Одну часть я бы назвал "управляющей элитой". Это та часть работников аппарата управления обществом, которая определяет основные свойства ("почерк") государственной власти. Другую часть я бы назвал "научно-технической элитой". Не принимая прямого участия в управлении, она, несомненно, на управление воздействует, осознавая и формулируя материально-технические задачи и пути их решения. Третья часть это "духовная элита". Это все те, активные люди, которые тоже воздействуют на аппарат управления, но в области, главным образом, духовных задач и ценностей. Ясно, что даже во всей своей совокупности элита не есть народ. Больше того. Интересы каждой из трех частей элиты существенно отличаются друг от друга.

Возьмем, например, управляющую элиту. Совсем нетрудно установить и исторически и практически, что интересы этой части элиты заключаются в "улучшении управления". Можно и не упоминать об интересе сохранения власти. Это неизбежно требует все большего и большего расширения государственной власти и ее всемерного укрепления. Это стремление в качестве предела имеет власть социализма, а еще задолго до этого предела ликвидирует демократию, превращая государство из слуги в хозяина. Таким образом эта часть элиты может увести народ в ловушку централизации и тоталитаризма. Вывод: необходимо иметь конституционные ограничения функций и власти этой элиты. Эта элита очень опасна для страны и народа.

Научно-техническая элита, не имея в руках прямой государственной власти, тем не менее старается увлечь государство от решения прямых нужд населения на путь грандиозных научно-технических задач (тоже "пирамид"), которым, конечно, нет числа. Эта элита сама не в состоянии решить, какие из ее задач наиболее интересны: построение пирамид до небес, создание космических городов, создание совершенного ядерного оружия? Всё представляет для нее интерес, но далеко не всё полезно для страны и народа. Я сам принадлежал к этой элите и знаю, что эта элита никак не может отражать интересы народа, неизмеримо более сложные, чем только их научно-техническая часть. Вывод: и эта элита опасна для народа.

Духовная элита, безусловно, обладает колоссальным воздействием и на управляющую и на научно-техническую элиты и на народ. Однако, можно ли считать ее (в организованном виде) безопасной для народа и его интересов? Ведь ясно, что интересы народа не исчерпываются лишь духовной их частью, в особенности, для наиболее бедной части народа. Мы знаем также, что первые две элиты подготовили своими ошибочными действиями материальную почву для революции в России, а духовная элита, в сущности, развратила народ, лишила его прежних духовных ценностей и возглавила революцию, тут же, впрочем, слав руководство большевикам, и уплатив за свой проступок тем, что была почти полностью истреблена.

Можно и сейчас наблюдать на Западе, как его духовная элита не дает себе труда разобраться в истории и изучить ошибки российской элиты и вместо этого без раздумия вовлекает народы Запада в ту же ловушку, в которой мучатся советские народы. (Приходится отдать должное нашей российской элите, что она совершила ошибку впервые, а западная — ее лишь повторяет).

Вывод должен быть только один: даже "лучшей" части народа — его элите — нельзя полностью вручить "возжи" управления страной. В особенности, если эта элита еще и высоко организована и выступает, как единая сила. В последнем случае она еще скорее может завести страну не туда, куда надо. Гораздо лучше, если элита останется лишь абстрактным понятием, а члены элиты будут взаимодействовать с остальными гражданами

(народом) на личном, персональном уровне. Тогда все возможные интересы всех граждан, включая и членов элит, будут находиться в динамическом равновесии через личные взаимодействия, двигая страну в направлении, наиболее благоприятном для существования народа. Как только интересы той или другой части народа, скажем, той или другой элиты, начинают преобладать с помощью соответствующих законов и с помощью нарушения истинной демократии над интересами остальных, страна начнет двигаться не туда, куда ей следует. Как показывает история, интересы любой части народа, включая элиту, будучи выпячены, к добру не приводят.

Поэтому не элита, как таковая, а элитарные граждане во взаимодействии с остальными крайне важны для страны. Они повышают общий уровень и качество знаний народа и, следовательно, его материальное и духовное благосостояние. Чем отличается, скажем, нищая и духовно и материально Индия от более богатых США? Именно тем, что в США неизмеримо больше знающих и умелых людей. Как только элита отделяется от народа и начинает действовать самостоятельно и организовано, тогда беда народу, самой элите и стране. Российская элита потому и "ходила в народ", что была отделена от него и чувствовала зло в этом.

Итак, да здравствует элита, как органическая неотъемлемая часть народа. Чрезвычайно ценная для народа, но только тогда, когда хорошо с ним перемешана. Долой элиту, организованную и отделенную от народа, совлекающую нас с пути истины в сторону ее, элиты, особых интересов.

А. Федосеев

А. Ф. ЛОСЕВ

К ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ

23 сентября 1983 года — 90-летие ныне здравствующего Алексея Федоровича Лосева, последнего выдающегося философа русского "Серебряного века". В ряде западных энциклопедий годом смерти Лосева назван 1937 год — к немалому удивлению Алексея Федоровича. Произошло это, вероятно, потому, что после 1930-1931 годов, когда Лосев был подвергнут Кагановичем (по наущению Деборина) критике с "амвона коммунистического собора" (XV съезда партии — "Мы всё еще почему-то терпим таких воинствующих идеалистов, как Лосев"), его, в лучших традициях советской власти, упрятали в лагерь, хотя всего лишь на 10 месяцев. Но вплоть до 1957 г. — времени появления труда "Античная мифология в ее историческом развитии" — кроме отдельных статей да перевода Николая Кузанского, сколько-нибудь солидных оабот А. Ф. Лосева не публиковалось.

В последние 25 лет А. Ф. Лосев поражает продуктивностью и высоким качеством своих трудов. Издано шесть томов "Истории Античной Эстетики" (ИАЭ), объемистая "Эстетика Возрождения", книги — "Античная философия истории", "Проблема символа", напечатано более двухсот статей, в том числе очень важная для понимания мировоззрения Лосева — "Проблема Вагнера в прошлом и настоящем" (в объеме целой книги). Кроме того, Лосев осуществил издание сочинений Платона и Секста Эмпирика, перевел "Первоосновы теологии" Прокла.

И весь этот гигантский труд тем более впечатляющ, что вот уже сорок лет Лосев слепой. Всю работу осуществляет под диктовку, с помощью секретарей и второй жены — Азы Алибековны Тахо-Годи, замечательной женщины высокого само-



пожертвования, обеспечивающей Алексею Федоровичу идеальные условия работы. Если бы рядом с Лосевым не было Азы Алибековны, мы, возможно, не знали бы второго, наиболее плодотворного периода творчества Лосева.

Вот уже два десятилетия Лосев пользуется большой популярностью в интеллектуальных кругах СССР. Его новые книги быстро исчезают с прилавков. Пользуется Лосев уважением даже со стороны т. н. "марксистских" советских философов (если они вообще еще существуют в СССР; кажется, там остался лишь один таковой философ, приятель Дьердя Лукача М. А. Лифшиц). В Большой Советской Энциклопедии (последнее издание) смастерена (исподтишка плагиатствующим на учителе фамулуsom С. Аверинцевым) соответствующая Лосевская биография, из которой следует, что "в работах 20-х годов под влиянием Платона, неоплатоников, Гегеля, Шеллинга и Гуссерля [Лосев] стремился построить методами идеалистической диалектики универсальные модели бытия и мышления... а в дальнейшем переходит на марксистские позиции" (БСЭ, т. 15, стр. 29).

Энциклопедического и многоядного С. Аверинцева трудно заподозрить в невежестве, но большинство "марксистских" философов невежественны вполне. Находя в работах А. Ф. Лосева последовательную критику субъективного идеализма, — да еще с блестящей аргументацией, которая им и не снилась, — а также ожесточенную критику буржуазного индивидуализма, "марксистские" философы вполне успокоились, причислив Лосева к "перековавшимся", к "своим".

А между тем А. Ф. Лосев в такой же мере "марксист", как скажем Фома Аквинский или Гегель. Он не только был, но и остался *убежденным объективным идеалистом* гегелевской школы.

Его монументальный труд "История Античной Эстетики" (термин "эстетика" — в данном случае — уклончивое определение всего объема античной философской мысли, употребленное, скорее всего, по издательским соображениям, но и — страха ради иудейска) — это глубокое, всестороннее *исследование протохристианской философской и религиозной мысли*, выполненное с четкой православной позиции. Это, по словам самого Лосева, — "протохристианство". А чтобы на этот счет не оставалось сомнений, стоит заглянуть в "Эстетику Возрождения", в научном и духовном плане тесно примыкающую к этим шести томам. Там Лосев с православной точки зрения дает критику католической и протестантской философско-религиозных и жизненных систем, хотя открыто и не декларируемой, но вполне четко прослеживающейся.

К сожалению за последние 25 лет ни один западный университет, ни одно западное научное общество не почтило А. Ф. Лосева каким-либо научным званием, и это — при столь впечатляющем объеме и высокой значимости его трудов! В СССР на Лосева тоже не сыплется град титулов. По его словам, он — "какой-то докторишко, заштатный профессоришко" сравнительно малоизвестного Пединститута. В академики его так и не произвели и, судя по всему, не произведут. Ведь там есть молодые, цепкие, юркие и амбициозные. Им нужнее!

"Бог верен, а всякий человек лжив, — говорит апостол Павел, великий диалектик. — ...Если верность Божия возвыша-

ется моей неверностью к славе Божией, за что еще меня судить, как грешника?" (I, 3, 4-7). Труд жизни Алексея Федоровича Лосева "возвышается к славе Божией". Он сам о себе говорит, словами глубоко почитаемого им ап. Павла: "Служу по силе, какую дает Бог". И еще, цитируя того же апостола: "Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам" (I, 14).

А. Ф. Лосев родился 23 сентября 1898 г. в Новочеркасске в донской казачьей семье. Его отец был учителем математики и музыкантом. В 1911 г. Лосев окончил с золотой медалью классическую гимназию в Новочеркасске, а также музыкальную школу Ф. А. Стаджи по классу скрипки и поступил на историко-философский факультет Московского Университета. В 1915 г. он окончил университет по двум отделениям — классической филологии и философскому — и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Уже в эти годы у Лосева проявилась усилившаяся со временем склонность к объединению филологии и философии с любимыми им музыкой (особенно в ее теоретических и метафизических аспектах) и математикой (теория множеств и конструирование разного типа пространств на основе произвольно выбранных аксиом). Тогда же Лосев вступил в многолетнее личное общение с такими выдающимися учеными, как акад. Н. Лузин, проф. Д. Ф. Егоров, проф. С. П. Фиников, проф. Н. И. Новосадский, акад. С. Соболевский. В 1914 г. Лосев совершил свою первую и единственную поездку за границу, в Германию, что, несомненно, было связано с его неослабевающим интересом к немецкой идеалистической философии. Он вернулся в Россию буквально за день до объявления войны.

В студенческие и первые военные годы Лосев принимал самое деятельное участие в работе многочисленных тогда и весьма плодотворных философско-религиозных обществ и кружков, горячо интересуясь актуальными вопросами православного богословия. Так, он всецело принял сторону осужденных Синодом "имяславцев", что впоследствии нашло свое косвенное отражение в его ставшей классической работе "Философия Имени" (Москва, 1927 г., Издание автора. — Хитрость, к которой прибегали нэповские издательства тех лет, дабы, в случае чего, отвести от себя гнев советской цензуры). Основной в этой книге

является мысль о том, что знание имени тождественно знанию сущности; имя Божие энергийно (в духе Григория Паламы).

Принимал Лосев живейшее участие и в софиологических дискуссиях того времени. Есть все основания полагать, что софиологическая проблематика волнует Лосева и сегодня, и что у него есть своя глубоко разработанная софиологическая система, кое в чем близкая, а кое в чем разнящаяся от системы о. Сергия Булгакова — прежде всего, в сторону большей стройности и аргументированности.

В 1916 г. А. Ф. Лосев опубликовал три статьи: "Эрос у Платона", "Два мироощущения" и "О музыкальном ощущении любви и природы" ("Музыка-Космос-Дом-Бог").

Затем наступила революция и за ней небывалый погром русской культурно-национальной и религиозной жизни. Лосев крайне болезненно переживал это время, в особенности — непрекращающиеся гонения на православную церковь. В молодости он, по его собственному свидетельству, вдохновлялся статьями В. О. Ключевского "Грусть", "Добрые люди Древней Руси", совершал многочисленные паломничества по православным монастырям, даже подумывал о монашестве. (Как-то встретил в Чудовом монастыре в Кремле впечатлившего его монаха, попросил: "Ты за меня помолись, пожалуйста". — "И ты за меня молись, Алексей, — ответил монах. — Вот погоди, будешь у нас архиереем". Лосев вспоминает эту встречу, придавая ей ясный ему одному профетический смысл).

Наступили 1918-1923 годы — время расстрелов духовенства, разгона монастырей, поругания русских церковных святынь, хотя далеко и не всегда производившегося руками самого русского народа—"богоносца", — но при его равнодушном попустительстве. С тех пор А. Ф. Лосев внутренне ожесточился на мир дольний, видя кругом, по его собственным словам, "только аморализм и зверство". — "А нынче я, — говорит Лосев, — как Чичиков, трясусь по мостовой цивилизации со всеми ее человеческими отбросами. А потом пойдет природная, земная колея". Однако, веры своей и стремления к горнему он не оставил, но укрепил, обратясь в своих работах, глубоко православных по духу, к той самой *reservatio mentalis*, в которой он некогда упрекал Сергея Михайловича Соловьева. В 1918-1922 го-

дах Лосев простился со многими своими друзьями по философско-религиозным собраниям. Кто умер, а другие ушли в эмиграцию. Прощаясь, говорили: "Так что, до Рождества!" С тех пор минуло шесть десятков Рождественских дней. "А какие теперь надежды? — спрашивает Лосев. — На Страшный Суд только!"

В начале 20-х годов особенной известностью и уважением среди московской интеллигенции пользовался отец Алексей Мечев из церкви Николы на Маросейке. В числе прихожан этой церкви и духовных детей о. Алексея можно назвать Н. Бердяева, чету Мансуровых, брата и сестру Чулковых, гр. Сергея Львовича Толстого (сына писателя), о. Павла Флоренского, С. Н. Дурылина (одно время священника), художников Тарабукина и М. В. Нестерова, логика И. В. Попова (брата художницы Любови Поповой и мужа Анны Ильиничны Толстой). Был среди них и А. Ф. Лосев, который и до сегодняшнего дня остался благоговейным почитателем памяти о. Алексея Мечева. Был Лосев знаком и с последними великими Оптиными старцами Нектарием и Анатолием, и духовно окормляем ими.

Смерть о. Алексея Мечева, закрытие Оптиной пустыни, процесс над патриархом Тихоном и его последующее тайное убийство, интриги и отвратительная роль митрополита Сергия (бывш. Финляндского, будущего патриарха), уговорившего местоблюстителя Петра отправиться в ссылку — все эти и многие другие печальные события тех лет, не говоря уже о непрекращающейся угрозе преследования за церковную деятельность, поселили в Лосеве определенный гражданский пессимизм и недоверие — если не сказать больше — к оставшимся на свободе и разрешенным к служению представителям церковной иерархии. К концу 20-х годов относится знаменитая ссора Лосева с отцом Павлом Мансуровым (некогда его товарищем по университету) и Марией Федоровной Мансуровой (ур. Самариной) на почве признания духовного авторитета легально разрешенного советскими властями духовенства. С тех самых пор нога Лосева в советский церковный двор не ступала. Лосев вспоминает о несломленной церкви 20-30 годов: "Это была великая церковь, ее мученики сейчас молятся за нас, ими мы пока живы". Но в истинно аввакумовском или казацком духе Лосев остался убежденным противником официально разрешенной властями

церкви. Его внутренняя религиозная жизнь продолжала развиваться уже "катакомбно", а внешне это был профессор латыни и греческого языка в одном из советских педагогических институтов. Вместе со своей первой женой, Валентиной Михайловной, он устроил у себя дома истинное подобие монастыря со строгой службой и постами, много и глубоко размышляя над богословскими проблемами, над трудом, мысль о котором, по собственным словам А. Ф. Лосева, "меня гвоздит вот уже 60 лет".

"Бог, — по словам В. Лосского, — не предмет науки, и богословие радикальным образом отличается от философского мышления — богослов не ищет Бога... но Бог сам овладевает богословом". Это как раз то, что произошло с А. Ф. Лосевым. Хотя он пока еще и не написал своей "Summae Theologiae" (кто знает, может быть, еще и напишет), во всех его исследованиях чувствуется пронизанность Божьим присутствием, Бог, поистине, овладел философом Лосевым.

В своем методологическом подходе Лосев был и остался приверженцем гегелевской диалектики, ее утверждения, что "дух только в том и состоит, чтобы в противоположном бесконечно постигать себя". Лосев повторяет, вслед за Гегелем: "Истина — это такая сила, что она наличествует и в ложном". Поэтому неслучаен интерес Лосева к "эллинским мудрецам", к Платону с его учением о примате идеи над материей, к очищенному от школьной схоластики Аристотелю, к Филону Александрийскому, Проклу и Плотину, подготовившим и во многом питавшим христианскую богословскую мысль.

Платон и Аристотель, говорит Лосев, "водворили на свое прежнее место чувственно воспринимаемый космос. Их философия — не философия материального развития человеческой истории, но диалектика внутри-космического *душепереселения* и *душевоплощения*" (курсив Лосева, Античная философия истории, М., 1977, стр. 199). Когда Лосев пишет: "Под материей мы вообще понимаем *принцип реальности мира, внешний* по отношению к сознанию и независимый от него", — под этим утверждением могли бы подписаться и Фома Аквинский, и Гегель, добавив — "Который есть Бог".

Вот — Лосевский отзыв о позднем эллинизме: "Посмотрите, что мы находим у Плотина, Прокла и в Ареопагитиках. Эта

одушевленность Вселенной, это одухотворение всякого малейшего проявления космической жизни, в том числе и всеобщее благословение всему человеческому и всему живому, достигает здесь своей наиболее зрелой разработки, открывает неведомые до того пути человеческого спасения" (Эстетика Возрождения, стр. 35).

А вот что Лосев пишет в связи со вкладом Сократа, Платона и Аристотеля: "Их особенность — фиксация объективного сознания, сознания как *вне-человеческой* и *до-человеческой данности*, фиксация космического Ума и Сознания. Трактую о субъекте, эти мыслители, в конце концов, выставляют именно космическое происхождение его ума, а не индивидуальное" (ИАЭ, Ранний эллинизм, М., 1979, стр. 36).

"Субъективность, — говорит Гегель, — есть произвол и сознание своей абсолютной власти, сознание того, что *она* порождает объективность, добро и дает этому добру содержание". И далее: "История человека — конкретная человеческая история, начинающаяся с природной воли, которая *не такова*, какою она должна быть". В противостоянии объективизма и субъективизма Лосев неизменно остается объективным идеалистом, горячим приверженцем гегелевской диалектики.

Есть основания думать, что Лосев отождествляет гегелевский мировой дух с Софией. София у Лосева — обращенное к миру лицо Божие, тело Божие, самораскрытие Бога в мире, протекающее диалектически. Это — мироустрояющая и регулирующая воля Божия, о которой догадывался Гегель, называя ее "мировым духом".

Богоматерь Лосев рассматривает как проявление Софии, просветление тварного образа человеческого. *В* и *благодаря* Богоматери просветляется, становится "софийным", облагораживается весь Космос. "Недаром Софию у нас в православной церкви празднуют на Успенье, 28/15 августа" (Лосев). В статье о Вагнере Лосев упоминает об "исконном и первоначальном основании жизни и бытия, которое один великий художник назвал "вечно женственным". Что до нас, грешных, то "человек, оставаясь тварью, и человеком, но никак не Богом, в то же самое время наполняется Божественной Благодатью. Люди могли быть богами только *по Благодати*, но никак не *по природе*"

(Лосев, Эстетика Возрождения, стр. 25).

Размышляя о таинстве смерти, о человеческом конце, Лосев твердо верит в бессмертие, горячо поддерживая следующее высказывание Гегеля: "Кажущийся конец — этот переход живой диалектики в мертвый покой результата, — сам по себе лишь *начало* этой новой живой диалектики".

"Душа, — говорит Лосев, — состоит из физического и ментального тел. Ментальное тело — тоже *тело*, но совсем другое, чем прах. И у Бога есть *тело* — София. И Воскресение произойдет — *в теле*", — на этом слове Лосев делает особенное ударение. — "Ад также имеет место. В молодости я шеголял: Ад — это акт Божьей любви". А в "Раннем эллинизме" Лосев пишет: "Религия предпочитает смерти *плохую вечность* (ад) (стр. 307).

В прямой связи с объективным идеализмом и православием Лосева стоит его неприязнь к имманентно-субъективистскому духу Возрождения, антропоцентризму Ренессанса, с мотто "Человек — мера всех вещей", определившим последние пять-шесть веков развития западной цивилизации. В "Эстетике Возрождения" у Лосева красной нитью проходит мысль "о слабости и ничтожности человеческой личности, на которой Ренессанс мечтал базировать свое мировоззрение" (стр. 425). — "Эстетика Ренессанса дошла до таких пределов субъективистического развития, когда субъект уже начинает ощущать свою ограниченность и свою связанность *своей же собственной* изоляцией" (стр. 60).

Лосев подвергает суровому разбору "сомнительный титанизм Микеланджело", механицизм Леонардо да Винчи. Вот что он пишет, например, о знаменитой улыбке Джоконды: "Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и с отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть и в которой, кроме слабости, она рассчитывает еще на бессилие перед овладевшим ею скверным чувством... *Мелкокорыстная*, но тем не менее бесовская улыбочка выводит эту картину *далеко за пределы* Ренессанса, хотя и здесь общевозрожденческая личностно-материальная направленность все же остается непоколебимой" (стр. 427).

Жажда "абсолютного самоутверждения" глубоко чужда православному уму Лосева. Именно в этом ключе он разбирает "Кольцо Нибелунгов" Р. Вагнера, как профетическое для судеб современного сознания, как сигнал "гибели всей индивидуалистической культуры вообще".

"У героев Вагнера не только каждая обобщенная идея, но и каждое чувственное ощущение, каждый малейший его элемент пронизаны *нервным*, можно сказать, *почти истерическим самоутверждением*". В своей характеристике вагнеровского Вотана Лосев достигает подлинных не только философских, но и поэтических высот.

"Бездна вся трепещет и живет противоречием. И отдельный герой живет противоречием — между творческим экстазом и тем пределом, который ему положен его *отъединенным бытием*. Так и в душе Вотана — вся история человечества, мечущаяся от экстаза к закону и норме, от нормы и закона — к экстазу, вечно ищущая в порядке — нестройную бурю и страсть, а в самой страсти и преступлении вопиющая о норме и блаженном покое. Колебания и неустойчивость Вотана — это мы, обитатели земли. И это наша — то великая и грозная, то мелкая и жалкая — история человечества" (Проблема Вагнера в прошлом и настоящем — "Вопросы Эстетики", № 8, М., 1968, стр. 181).

В "Очерках Античного символизма и мифологии" (1931) Лосев писал: "Идеи Шпенглера [Заката Европы] я открыл до Шпенглера, но ограничивался тем, что делился ими с друзьями". К 70-м годам Лосев по-прежнему делится с друзьями: "Помню, будучи в молодости в Крыму, я купил банку меда и оставил ее открытой на террасе. Наутро посмотрел — а она так и кишит пчелами, муравьями. Мертвыми. Подошел мой хозяин-татарин, посмотрел, философски изрек: "Это он сладкий любит. Так и умирай". — Так и человечество погибнет от стремления полнее удовлетворить свое сладострастие, умрет от него. Вот и бабочка летит на огонь, и умирает, сгорает от своего сладострастия... Да, цивилизации, как и всякому страданию, приходит конец".

Заканчивая, хотелось бы привести характеристику Гегеля из "Философии религии", относящуюся к эпохе заката Римской Империи и его времени, но вполне подходящую к нашим дням: "Говорить о смерти, значило бы кончить диссонансом. Но что

делать? В нашей действительности этот диссонанс налицо. Как и в эпоху Римской Империи, когда в религии исчезло всеобщее единство, божественное было профанировано, и, затем, всеобщая политическая жизнь зашла в тупик, так что к ней было утрачено всякое доверие, разум же бежал в убежище частного права. в себе и для себя сущее распалось и целью оказалось особенное благополучие, — так и теперь, когда моральное воззрение, собственное мнение и убеждение стали значимыми без объективной истины, а *требованием дня стали жажда частного права и наслаждения*; когда исполнились времена, и оправдание посредством понятия стало потребностью, — тогда в непосредственном сознании, в действительности, уже нет единства внутреннего и внешнего, и ничто не получает оправдания в вере.

Здесь уже не действует ни строгость объективного приказа, ни внешнее усилие, ни власть государственная, — упадок зашел слишком далеко. Если бедным уже не проповедуется Евангелие, если соль потеряла свой вкус, и молчаливо уничтожены все цитадели, то народ, чей негибкий разум может воспринять истину только в представлении, уже не в состоянии удовлетворять стремления своего внутреннего мира. Он ближе всего стоит к бесконечной боли, но так как любовь к любви и наслаждению безо всякой боли является извращенной, он чувствует себя покинутым своими учителями. Последние, впрочем, помогают себе рефлексией и находят удовлетворение в конечности, в субъективности и ее виртуозностях, а тем самым — в суетности; но субстанциональное ядро народа в этом не может найти себе удовлетворения”.

К счастью, мы не покинуты совсем нашими учителями, и один из них — Алексей Федорович Лосев — большой и самобытный православный мыслитель. Многая ему лета!

Д. Скалон

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Глубокоуважаемый Роман Борисович!

В 148-й книге "Нового журнала" напечатана статья профессора Темиры Пахмус о поэте и переводчике, моем верном друге и патриоте (он был офицером Эстонской армии) Борисе Нарциссове. И так как о Нарциссове, поэте недостаточно еще оцененном, очень мало написано, я этой статье обрадовался. Однако две детали меня несколько озадачили. На стр. 131 г-жа Пахмус пишет: "Алексис Раннит, утверждает, что даже Игорь Северянин оказал определенное влияние на поэзию Нарциссова, но последний это отрицает". Мой покойный друг Нарциссов был так-таки прав: никакого влияния Северянина на него не оказал, и я этого *никогда и нигде не утверждал*. Профессор Пахмус слишком высоко оценивает оригинальность моей критической мысли: ведь до такой сногшибательной искрометности я все же еще не дошел. Нарциссов для меня — поэт-неосимволист и неосюрреалист и стилистически у него нет ровно ничего общего с Северяниным. (Северянин повлиял на Брюсова, Маяковского, Асеева, Пастернака, Георгия Иванова и некоторых других русских поэтов, а также оказал влияние на польского поэта Вьезинского, шведского — Седергран и эстонских поэтов Виснапуу и Адамса, но *никак не на Нарциссова*).

На 135-й странице профессор Пахмус правильно утверждает, что "Нарциссов известен также прекрасными переводами эстонских поэтов", и добавляет: "например, Алексиса Раннита и А. Таммсааре" ... Антон Ханзен Таммсааре (1878-1940) — замечательный, полугениальный прозаик (пятитомный роман его — "Правда и справедливость" переведен на русский и другие языки, как и целый ряд других его романов, новелл, рассказов и драм) *никогда стихов не писал*. Поэтому остается загадкой, как мог Борис Нарциссов переводить его несуществующую в природе поэзию.

Конечно, как говорил Поль Валери, "мыслить значит преувеличивать", и мы все поэтому обречены на какие-то ошибки.

Алексис Раннит

ОТВЕТ Т. А. ПАХМУСС

Многоуважаемый Роман Борисович!

По поводу моей статьи о ныне покойном Б. А. Нарциссове в № 148 "Нового журнала", о чем сообщает Dr. A. Rannit.

Текст моей статьи был написан по личной просьбе Б. А. Нарциссова, на основании данных им самим сведений. Готовая статья была послана на просмотр Нарциссову перед отправлением ее Вам для "Нового журнала" — именно для избежания возможных неточностей в тексте. Статья была просмотрена и одобрена Нарциссовым. Эта одобренная копия статьи находится, с его поправками, в переданном им мне его личном архиве. Очень сожалею, если Борис Анатольевич ошибся в некоторых деталях, но не мне судить о правильности данных им мне сведений.

Уважающая Вас Темира Пахмусс

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловойская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

БИБЛИОГРАФИЯ

Bibliographie des oeuvres de Boris Zaïtsev. Etablie par René Guerra. Introduction de Wladimir Weidlé. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves, tome LXIII. Série: Écrivains russes en France) Paris, 1982. 167 p., ill.

Книга эта, изданная под ред. Т. А. Осоргиной Парижским Институтом славяноведения при Сорбонне, выходит далеко за пределы своего скромного названия. Она дает не только чрезвычайно тщательно разработанную библиографию всех произведений писателя, появившихся как в России, так и за рубежом, но и ярко воссоздает внешний и внутренний облик Бориса Зайцева.

Несомненно, молодому профессору Ренэ Герра, блестяще знающему русский язык, удалось составить эту интересную и весьма ценную книгу с такой предельной точностью и достоверностью не только в результате упорной и кропотливой исследовательской работы, но и многолетнего личного и близкого общения с самим Борисом Константиновичем Зайцевым, охотно делившимся разными сведениями со своим молодым другом. Именно этот личный контакт придает книге ее особое значение.

Всю работу Р. Герра можно разделить на четыре основных части, а именно: предисловие Владимира Вейдле, переведенное Герра на французский язык, обширную вступительную статью самого Р. Герра, название которой можно перевести как "Б. К. Зайцев, или Странничество русской души"; хронологию жизни и творчества писателя; и, наконец, полную библиографию всего написанного и напечатанного до и после революции в России и на Западе. Позволю себе остановиться на обзоре всех этих составных частей книги, оживленной к тому же рядом портретов и фотографий писателя, относящихся к разным периодам его жизни — наиболее раннее изображение Б. К. Зайцева здесь 1924 года, с дарственной надписью Тэффи, наиболее поздняя фотография 1971 года, где писатель изображен вместе с автором рассматриваемого здесь труда. Все портреты Зайцева, украшающие книгу, так же как его письмо и первая страница по-

вести "Анна" воспроизведены из собрания Ренэ Герра.

В своем теплом вступительном очерке "Памяти Бориса Зайцева" (1881-1972), покойный Владимир Васильевич Вейдле (1895-1979) сразу же приближает Зайцева к тем, кто берет эту книгу в руки. Как любовно рисует он скромное жилище Зайцевых, изображенное и самим писателем в рассказе "Звезда над Булонью", — там Вейдле бывал у них в течение каких-нибудь тридцати лет, — как несколькими фразами воссоздает он облик тяжело больной Веры Зайцевой, всю обстановку жизни этой преданной друг другу четы, как радуется тому, что в писателе он мог искренно любить и человека!

Говоря о Зайцеве-писателе, Вейдле считает, что он, как и Бунин, достиг настоящей художественной зрелости только во второй половине своей долгой жизни, уже вне России, отказавшись от излишней "красивости" и заменив розово-голубые тона своей творческой палитры сдержанными коричневато-серыми красками. Наиболее сильным произведением Зайцева Вейдле находит нелюбимую самим автором "Анну", называя ее "одной из лучших повестей во всей русской литературе".

В своей обширной, очень содержательной и хорошо аргументированной статье, предваряющей библиографию, Р. Герра разделяет все творчество писателя на три больших этапа, а именно: с 1901 г. (года написания первого рассказа Зайцева "В дороге", напечатанного в московском "Курьере") до 1917 г.; с 1917 по 1922 г. (т. е. до того времени, как писатель отправился в добровольное изгнание); с 1922 по 1964 г. (год написания последнего значительного произведения "Река времен").

Говоря о первом периоде творчества Зайцева, Р. Герра указывает, что в нем писатель нашел свой стиль — еще новый для России импрессионизм. Литературный успех приходит к Зайцеву быстро, его рассказы вызывают интерес у читателей и одобрение критики, их называют "акварелями". Молодой писатель становится постоянным посетителем телешовских "сред" — литературного кружка, где он встречается с видными писателями тогдашней России. Ренэ Герра весьма наглядно и подробно разбирает особенности стиля Зайцева в этот период его творчества, указывая, что на мировоззрение писателя сильное влияние оказал поэт и философ В. Соловьев, и что тема России уже занимает важное место у раннего Зайцева, хотя он отнюдь не идеализирует "избывную Русь".

В поисках прекрасного писатель отправляется в 1904 г. в первый раз в Италию, которая сразу же его покоряет. Постепенно он превращается

в глубокого знатока и ценителя этой страны, ставшей для него непреходящим источником вдохновения.

Неоднократное пребывание Зайцева в Италии, его упоенность этим краем, щедро изображенным в его произведениях, повели к тому, что именно ему посвятил П. Муратов свои знаменитые "Образы Италии".

Р. Герра убедительно показывает, как понемногу, уже в произведениях первого периода, у Зайцева происходит некоторая эволюция — исчезают "бессюжетные" рассказы, помимо изображения природы в них входит и человек. Однако в своих произведениях Зайцев выводит беззащитных, пассивных людей, не имеющих сил противиться ходу истории, зачастую принадлежащих к классу помещиков, закат которого уже предвидит писатель.

Во время Первой мировой войны Зайцев обращается к прозаическому переводу "Ада" Данте и работает над ним несколько лет. Интересно, что в годы Второй мировой войны, уже во Франции, писатель возвращается к этой работе и находит в ней утешение. По мнению Герра и самого Зайцева, наилучшим произведением предреволюционных лет является повесть "Голубая звезда", позже так полюбившаяся Константину Паустовскому.

Ренэ Герра интересно освещает место звезд, отведенное им Зайцевым в своем творчестве, и указывает, что в повести голубая звезда Вега — это символ вечно женственного. Этот культ, по мнению автора статьи, является одним из важных и своеобразных аспектов мистического и поэтического восприятия вселенной Борисом Зайцевым.

Революция повела к тому, что послеоктябрьское творчество Зайцева пошло, как указывает Герра, по двум совершенно различным направлениям — созданию цикла из пяти рассказов "Улица Св. Николая", преисполненного мистицизма и острого внутреннего напряжения, и полному отходу от окружающей действительности (Рафаэль, Карл Пятый, Дон Жуан, Души чистилища). В своей автобиографии Зайцев подчеркивает, что в этих рассказах нет ничего русского, тогда как "Улица Св. Николая" является картинами Арбата (на котором стояли три церкви Святителя) в разные эпохи русской истории. В изображении этой улицы до, во время и после революции, Зайцев достиг совершенства и редкой отточенности стиля. В этом цикле он впервые проводит свою основную мысль — все, происшедшее с Россией, крах империи, гибель прежнего порядка и общества — это плата за грехи многих поколений.

Революция толкает Зайцева к религии в ней спасение, уход от кровавого хаоса, царящего вокруг, принятие Божьей воли.

В июне 1922 г., понимая, что на родине он не может больше свободно писать, Борис Константинович Зайцев навсегда покидает Россию.

После года, проведенного в Берлине, и краткого путешествия по Италии, Зайцев оседает в Париже, где, в добавление к семи томам своих изданных в Москве сочинений, он обогатил русскую литературу еще пятнадцатью произведениями.

Ренэ Герра считает, что всем, написанным в эмиграции, Борис Зайцев старался вновь "обрести" Россию в различных ее выражениях. Так, описывая жизнь преподобного Сергия Радонежского, он стремился дать русским людям в Зарубежье вдохновенный портрет величайшего русского подвижника. В том же 1925 году написаны "Сердце Авраамия" (этот рассказ печатался и под названием "Богородица Умиленных Сердец") и "Алексей Божий человек".

Во второй половине двадцатых годов написаны три повести, как бы образующие "советский цикл" — "Странное путешествие", "Авдотья смерть" и "Анна".

Писатель живет в эмиграции своей "внутренней Россией". В его творчестве тема России и тема православной веры становятся главными, взаимопроникая и создавая образ вечной, непреходящей России. Вместе с тем Зайцев стремится найти нечто от России ушедшей, страны своего детства. Отсюда его поездки в русские монастыри — на Афон (1927) и на Валаам (1935).

Проф. Герра находит, что Борис Зайцев взялся за тему о жизни Тургенева в значительной степени потому, что в этом произведении он мог вернуться к видениям центральной России, т. к. для него, рожденного в Орле, Калужская, Тульская и Орловская губернии были любимыми местами, "русской Тосканой". К тому же в Тургеневе он видел свой любимый образ барина, остающегося, по сути, русским скитальцем. Продолжая воссоздавать свою "внутреннюю Россию", Зайцев пишет книгу "Жуковский", считая, что этот поэт ему очень близок духовно, а позже и литературную биографию "Чехов". В молодости он лично знал Антона Павловича и всегда очень ценил его как писателя.

После "Дома в Пасси", одного из немногих романов, посвященных ежедневной жизни русских эмигрантов, Зайцев взялся за автобиографическую тетraloгию "Путешествие Глеба", в названии которой под-

черкнута концепция писателя, что жизнь это только путешествие, странствование.

Сам Зайцев считал, что "Голубая звезда" как бы завершает период его творчества на родине, тогда как "Путешествие Глеба" — это заключительный этап его литературной работы в Зарубежье, хотя им была еще написана "Звезда над Булонью" — в парижском предместье для него снова засияла голубая звезда его молодости, любви и поэзии, как бы потерянная в небе эмигрантского Парижа. И наконец в 1964 г. он написал и свое последнее произведение "Река времен", обратясь за названием к стихотворению Державина, чтоб показать неумолимое движение времени, обрекающее все на забвение.

В заключение своей отлично написанной статьи Ренэ Герра высказывает уверенность, что Борис Зайцев предстанет перед грядущими поколениями прежде всего как прекрасный стилист, мастер лирической прозы, и христианский гуманист. Только при помощи искусства старался он подняться над невзгодами мира и повести за собой читателей к мистическому идеалу.

Помещенная за этой вступительной статьей "Хронология жизни и творчества Бориса Зайцева" построена таким образом, что она в значительной мере является как бы летописью жизни литературного Парижа, так долго бывшего столицей русского Зарубежья. Отмечая события в жизни писателя и в его литературной деятельности, Р. Герра дает их на фоне общения писателя с другими представителями русской культуры и литературы, их совместных начинаний и выступлений. Таким образом, в этой тщательно разработанной по годам, зачастую даже с указанием месяцев и чисел, хронологической сводке можно очень наглядно проследить литературные и дружеские связи Зайцева, представить себе тот круг людей, в общении с которыми проходила его жизнь.

Вообще, говоря о работе Ренэ Герра, приходится неоднократно подчеркивать ее чрезвычайную тщательность, добросовестность, научный подход к теме и прекрасную разработку материала. Этот труд — незаменимое орудие для изучения творчества Зайцева, произведения которого не издавались с 1925 г. в Советском Союзе.

Правда, в своих "Предварительных замечаниях" автор книги указывает, что все материалы, касающиеся 1901-1922 годов, собраны им лично в 1969 году в советских библиотеках, а также дополнены его московскими друзьями, но основой документации послужили заметки самого Б. К. Зайцева, а также сообщения, сделанные писателем на

протяжении многих встреч со своим молодым другом в 1967-71 гг.

Библиография в 226 гнезд (еще два добавочных внесены уже когда книга была сдана в печать) разделена на три части: 1) Книги и брошюры; 2) Предисловия; статьи и рассказы, появившиеся в сборниках и альманахах; редактирование; переводы; неизданные произведения; автобиографии; письма, интервью; 3) Рассказы, статьи, очерки, рецензии, появившиеся в различных периодических изданиях.

Пользоваться библиографическими данными чрезвычайно легко благодаря хорошо разработанным различным указателям. Так, книга включает указатель названий произведений Зайцева, указатель переводов их по языкам (на французский, немецкий, английский, болгарский, испанский, венгерский, итальянский, японский, голландский, сербо-хорватский и чешский), именной указатель для всех лиц, упоминающихся в этой работе, указатель сборников и альманахов, указатель периодических изданий, как русских (преимущественно эмигрантских), так и иностранных, где были помещены произведения Бориса Зайцева (в оригинале или в переводах), а также список библиографических источников.

Из письма проф. Герра мне известно, что готова и вторая книга — обзор всего того, что когда-либо и где-либо было написано о жизни и творчестве Бориса Зайцева с 1905 по 1981 год (т. е. год столетия со дня рождения писателя). Эта вторая книга подготовлена как аннотированная библиография, то есть с комментариями, примечаниями и оценкой материала, данной составителем. Вероятно и этот труд выполнен так же любовно и с таким же умением, как и отчетная книга. Можно надеяться, что эта исследовательская работа, несомненно потребовавшая большого напряжения, будет в ближайшие годы издана тем же Институтом славяноведения и навсегда сохранит ценные сведения о творчестве выдающегося представителя серебряного века в русском зарубежье. Пока же следует пожелать, чтобы литературоведы достойным образом оценили уже вышедшую из печати работу Ренэ Герра.

Татьяна Фесенко

Три юбилея Андрея Седых. Альманах. Ред. Л. Ржевский. Обложка Сергея Голлербаха. 1982, 211 стр.

Подзаголовок: 1902-1982. Восьмидесятилетие. Андрей Седых — журналист. В парижских "Последних Новостях" писал отчеты о дискуссиях во французском парламенте. Но явно — литература ему ближе политики, а самое для него близкое — повседневная жизнь, быт, в особенности южно-русский или константинопольский, но и эмигрантский, преимущественно маленьких людей. Г. В. Адамович сравнил короткие рассказы А. С. с мопассановскими. Замечательны очерки А. С., которого так высоко оценил Н. Е. Андреев (в посмертной статье). Он имел в виду яркие путевые записки о Прибалтике, Испании, Италии, Израиле. Особую ценность представляют литературные воспоминания А. С. в книге "Далекие и близкие". Прозаики ему понятнее поэтов, и он изумительно зарисовал портреты Бунина, Ремизова, Куприна, Алданова и др., как впрочем и политика П. Н. Милюкова. Но удались ему и зарисовки поэтов Волошина, Бальмонта или "монпарнасские тени" Бориса Поплавского и Довида Кнута. А в наше время многих стихолюбов заинтересуют юношеские воспоминания А. С. об Осипе Мандельштаме, которого он приютил у себя в Феодосии.

Замечательно, что в альманахе его имя объединило все три эмиграции. Так, первая эмиграция представлена Н. Андреевым, Лидией Алексеевой, Ириной Одоевцевой, Игорем Чинновым, Александром Бахрахом, Романом Гулем, Глебом Струве, вторая — Валентиной Синкевич, Леонидом Ржевским, Татьяной Фесенко, Борисом Филипповым. А т.н. "третья волна" — Дорой Штурман, Василием Аксеновым, Юзом Алешковским, Владимиром Войновичем, Владимиром Максимовым, Михаилом Моргулисом, Дмитрием Бобышевым, Лией Владимировой, и др.

Дора Штурман очень верно оценила умение А. С. судить о людях по их талантам и *человечности* независимо от политических воззрений. Ему могут быть близки, пишет она, и эсеры и монархисты, и кадеты и консерваторы, западники и почвенники, сионисты и космополиты и т.д. Но есть вещи, которые А. С. органически не приемлет: это большевизм.

По имеющимся у меня сведениям некоторым и, при этом, даже довольно многочисленным москвичам больше всего понравились в альманахе записи Р. Б. Гуля — тексты его давних бесед с капитаном гвардейского экипажа Н. П. Саблиным.

Саблин плавал на яхте "Штандарт", был близок ко всей царской семье, в особенности к императрице, которая пожелала, чтобы он познакомился с Распутиным. Саблин не скрыл от царицы своего резко-отрицательного отношения к роковому для России "старцу". Александра Федоровна поверила докладу верного Саблина о недостойном поведении Распутина, но разрыдалась. Она сказала Саблину: "Это Господь Бог посылает испытания нам, проверить — признаем ли мы его даже таким". Это опровергает общепринятое мнение: государыня видела своего "старца" в розовом свете. Нет, знала его *черноту*, и все-таки считала его пусть грешником, но и праведником. Возможно ли это? Для Александры Федоровны это было возможно: пусть и грешит, но ведь исцеляет наследника (что верно) и будто бы дает "мудрые" советы (что, конечно, неверно). Саблина она не удалила, как других анти-распутинцев. Это, несомненно, интересное свидетельство.

Не имею возможности разобрать весь материал сборника. Выделю талантливый рассказ самого юбиляра "Звездочеты с Босфора" (о беженской жизни в Константинополе). А немало у него и замечательных грустных рассказов... Еще кое-что кратко отмечу. Праведен гнев максимовского героя Влада из романа "Чаша ярости". Здорово отделал он встретившегося ему в Риге латыша-националиста, служащего в органах. Тот кричал: "Русские свиньи и на чужой земле напиваются, как у себя в московском свинарнике!" Пугают современные мастера беспросветного гротеска в Сов. Союзе: Василий Аксенов и Юз Алешковский. Михаил Моргулис показал — есть еще среди людей в Сов. Союзе обыкновенная человечность. Владимир Войнович воспроизводит вымышленный сон Набокова, который неожиданно просыпается в сочинской гостинице. Оказывается — он не ловил бабочек в Вайоминге, не писал "Лолиты"... Впрочем, этот его занятный сон, как и все вообще сны, можно истолковывать по-разному. Л. Ржевский: его "Задумчивый старикан" (из второй эмиграции) встречается с молодежью из "третьих" и рассказывает о тех горестях, которых уже не знала третья эмиграция.

Все стихи на уровне. В своих как-будто скромно-незаметных стихах Лидия Алексеева всегда умеет лирически "уколоть" читателя (такие "уколы" очень ценил Г. В. Адамович). В стихах Ирины Одоевцевой и Игоря Чиннова обычное их мастерство. Свежая струя лирического воздуха присутствует в стихотворении Дмитрия Бобышева. Он не авангардист, он прост, певуч и находит старые, совсем не заумные слова для

выражения нового трепета (*frisson nouveau*). Ладные стихи в пьесе Ивана Елагина, но она едва ли сценична (что, впрочем, говорится не в укор).

Г. П. Струве вспоминает о кружке и журнале молодых поэтов в Берлине 20-х гг. Б. А. Филиппов — о Петрограде той же эпохи. А. В. Бахрах пишет об Италии. В Риме ему приоткрылся один из малоизвестных уголков Вечного города — Черепашья площадь. Отмечу — она уже была воспета в римском сонете Вяч. Иванова (и мной).

В сборнике несколько снимков. Портрет А. С. работы М. Клионского. Он же с Буниным в Стокгольме, он же на приеме у президента Форда, статс-секретаря Хэйга. Хорошо воспроизведена картина Сергея Голлербаха "Встречи". Он же прекрасно сделал обложку альманаха.

Ю. Иваск

В. С. Варшавский, "Родословная большевизма", Имка-Пресс, 1982, 208 стр.

Вопреки исторической очевидности на Западе бытует мнение, пропагандируемое русофобами, что советский коммунизм — чисто русское явление. Опровержению этого мнения посвящена эта посмертно изданная книга В. С. Варшавского. Книга состоит из четырех частей-статей, озаглавленных: "Коммунизм у нас будет другой", "Татарское иго и Великий инквизитор", "Чевенгур" и "Новый Град". Последняя глава тематически стоит несколько особо и трактует о настроениях и воззрениях тех представителей русской интеллигенции в эмиграции, которые известны под названием "новоградцев".

С большой убедительностью автор показывает, что все основные коммунистические идеи не только зародились на Западе, но и были осуществляемы там неоднократно в прошлых столетиях. Само слово "большевизм" — русское, но метафизика этого понятия, если можно так выразиться, имеет общечеловеческий характер. В фундаментальном исследовании И. Р. Шафаревича "Социализм как явление мировой истории" хорошо показано, что большевизм, под личиной "хилиастического социализма", имеет за собой более чем двухтысячелетнюю историю: он существовал в древнем Китае, Египте, Греции..., а в Месопотамии процветал уже целых четыре тысячи лет тому назад!

В. С. Варшавский теме "родословной большевизма" посвятил много внимания: об этом свидетельствуют его статьи, напечатанные в "Новом Журнале" в разное время. Большевицкие инстинкты не всегда атеистичны, иногда они проявляются и среди самых высоких представителей христианства. Варшавский приводит пример папы Иннокентия III (1161-1216), основавшего теократический тоталитарный режим, в котором институт Инквизиции в своей жестокости и методах не уступал ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ; масштабы, правда, были несколько помельче... Религиозными были истоки и тех еретических, сектантских движений, принявших позднее социально-революционный характер, которые известны под названиями богомилов, катаров, таборитов, гуситов, альбигойцев и др. Религиозные войны, долголетние и кровопролитные, были проявлением того же духа, которыми были обуреваемы впоследствии социально-политические революции. Якобинцы — это западные большевики. "Тут прямая родословная линия, — пишет Варшавский, — большевицкий террор — ублюдок Святой Гильотины, которая сама была ублюдком Святой Инквизиции".

Смешно утверждать, что Ленин был таким, а не иным, потому что был последователем Ткачева. А кем был сам Ткачев? Нет, "святцы" большевизма начинаются на Западе и пестрят именами и религиозных вождей, и философов, и писателей-утопистов, и политиков, и экономистов, и социологов, и попросту революционеров разного толка и ранга. Ну, а в прямом влиянии Маркса и иже с ним на Ленина сомневаться не приходится. Стоит только почитать (у кого найдется охота!) сочинения Ленина, чтобы убедиться в безмерном количестве ссылок его на западных "учителей" с Марксом во главе! Ленин, по существу, ничего нового не придумал: он иногда по-своему формулировал идеи своих идеологических предков на Западе... но зато он был беспощадным *осуществителем* этих идей в огромном масштабе.

Е. Валин

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ
и
Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1983 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1983 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 30 франков

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N Y 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
